



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

ЧЛУГ·ХЕМ

16

КЫЗЫЛ · 1977



СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ТУВИНСКОЙ АССР



ЧЛГУГ·ХІЕМ



16

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЫЗЫЛ — 1977

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*Кудажи К.-Э. К. (и. о. главного редактора), Козлов
С. В., Калзан А. К., Күүлар Д. С., Сердо-
бов Н. А., Сюрюн-оол С. С., Хадахано М. А.*

РС Улуг-Хем № 16. Литературно-художественный
У47 альманах. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1977.

260 с., тираж 2000 экз., цена 1 руб. 23 коп.

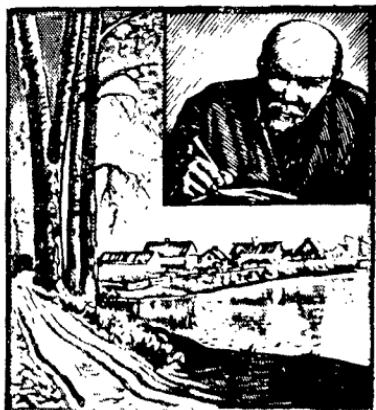
В альманахе «Улуг-Хем», издания Союза писателей Тувинской АССР, публикуются новые стихи, рассказы, отрывки из повестей.

Первая часть сборника посвящена шестидесятилетию Великого Октября.

0—7—3—3
0—7—4—3

121—170+03+М133

Шестидесятилетию Великого Октября навстречу



Олег СУВАКПИТ

СЛАВЛЮ

Одним горжусь по праву:
я — хозяин
страны моей,
рожденной Октябрем.
Мети, мой стих,
слон пространств пронзая,
огнем ракетных взлетов
озарен.
Да, я из тех,
кто обуздал Историю,
как дикого степного скакуна,
я — рядовой
в строю людей, которыми
судьба веков грядущих
решена.
Зерно свободы
не исосеешь в поле —
но в поле битвы
прорастет оно.
А счастья плод —
ценою трудов и боли
взрастить его
народам суждено.
Я всем,
кто цепи гнета разрубает,
помочь готов —
сильна моя рука.
Счет новой жизни —
без царей, без баев —

веду я
от октябряских баррикад.
Во имя дружбы,
мира и расцвета
я твердо на посту своем
стою --
и славлю я тебя,
Страна Советов,
Октябрь Великий
славлю и пою!

Степан САРЫГ-ООЛ,
народный писатель Тувинской АССР

ЗАВЕТ

В ясный полдень старик Сессер
сына в юрту позвал — Севээна.
Что ж, зовут — неплохо совсем:
значит, доброго жди совета.
Как орел, над степью взлетев,
взор бросает волны травы ее,
глядя сыну в глаза отец,
будто видел его впервые.
О плечо оперся рукой —
крепок парень, не колебнется!
Не на ветер завет дается:
что ни слово — узел тугой.
— Вижу, сын, что взрослым ты стал.
И силен, и разумен — знаю.
Будь хозяин земли и стад,
а еще — прими это знамя! —
так промолвил сыну Сессер
и продолжил главным заветом:
— Счастье братьев твоих и сестер,
счастье внуков — в знамени этом!
Властино солнце над зыбкой мглой
льет лучей золотые нити —
полстолетия над землей
это знамя стоит в зените.
Было время — в крови, в огне
попыхало оно над нами:
смерть в глаза заглянула мне —
я из рук не выпустил знамя.
Кто, скажи, наделил тебя
силой рук, могуществом знанья?
Нет, не бог, не слепая судьба —
все оно, священное знамя!

Ты — как кедр посреди тайги,
как скала в высоких Саянах:
кто один — тот зачах, погиб,
в силе дружбы жизнь воссияла!
...Многословье сыну — к чему?
Мудрость слов отца признавая,
сын ответил:
— С честью приму!
Не занятое будет знамя!

Виктор САГААН-ООЛ

ДОРОГА

«По пыльной дороге телега
несется,
в ней по бокам два жандарма
сидят...»
(Старинная революционная песня)

По шоссе на Шушенское мчится
наш автобус. Легкий ветерок
веет в окна. Дух сосновый чистый
тянется от бора вдоль дорог.

Я рожден высокими горами,
колыбель качала мне тайга...
Странно видеть ровные, как в раме,
нивы да широкие луга.

Ты какой была, дорога, прежде,—
восемьдесят лет тому назад?
Тропкою вилась в степи безбрежной?
Змейкой, еле видимой глазам?

Из Симбирска, от великой Волги
в типь да глуши сибирского села
от тревожной юности недолгой
ты ли в зрелость Ильича вела?

...Матери тоска и гибель брата,
университеты казематов,
дымяных фабрик медленный рассвет —
мог ли путь себе другой избрать он?
Только этот путь — иного нет!

Шла телега пыльною дорогой
мимо сосен, поля да берез...
До сих пор — прислушайся немного —
слышен мерный стук ее колес.

Под жандармским неусыпным оком
шла телега в Шушепскую глушь...
След ее — за облака, высоко,
как ракета, прорезает мглу.

Владимир СЕРЕН-ООЛ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

Был каменист
и труден путь рабочих масс.
Вел коммунист,
а указал дорогу Марке.
Гнев баррикад,
Коммуны пламений набат,
восстаний шквал
единство партии ковал.

Призрак бродил,
шугал банкиров и царей...
Ныне — гляди
в глаза немеркнущей заре!
Это она
Октябрьским взрывом рождена,
бессмертно в ней
сиянье Ленинских идей.

В реку — ручьи
текут. А партии народ
силы свои,
любовь и доблесть отдает.
Как исполин,
она стоит — такая есть! —
для всей Земли
надежда, совесть, ум и честь.

Вот, оглянись:
во всех свершениях видны
век-коммунист
и века славные сыны.
В недрах тюрьмы
не скрыть их каменным валам —
клянемся: мы
с тобой, товарищ Корвалан!

Слышите? Гул
растет, достигнув дальних звезд.
Страшно врагу,

а друг встает, ликуя, в рост.
Радости весть
в победном гуле нам слышна:
партийный съезд
поет «Интернационал».

Валерий ТУТАЧИКОВ
СОЛДАТЫ РЕВОЛЮЦИИ

На колокольнице колокол
вызыванивал коленца:
входили на окопицу
села красногвардейцы.

Народ навстречу кубарем,
поет и плачет:
— Наши!
Гоните всяких унгернов
до чертовой мамаши!

Проходят маршем улицей,—
упрямо губы сжаты,—
солдаты революции —
железные солдаты,
суровы, как отлитые,
идут не красоваться...

— Куда же вы, небритые?..

Небритому — шестнадцать.
Но сыну улыбается
отец, дает советы:
— Возьмем-ка ту красавицу,
сыночек, на примету:
как только нечисть разную
спровадим за ограду,
просватаем, отпразднуем
вам свадебку, как надо!..

В воротах беспокоится
мужик: мол, все опасны —
к «зеленым», к «синим» клонится,
а красные — так к красным...
Косись, косись, да кланяйся,
но думай, темнота ты,
что срок придет — останутся
лишь красные солдаты!

...Идут весенней улицей,
упрямо губы сжаты,
солдаты революции,
железные солдаты.
Одеты не с иголочки —
шинель всему награда...
Но есть зато винтовочки
для беленького гада.

Порой перебиваются
без хлеба на водице —
но песня ввысь взвивается,
летит над ними птицей!
Порою пули шалые
проходят под сердцами —
но ярче флаги алые
полощутся ветрами!

...Ушли, но след оставили.
И зацвела не зря
за красными заставами
крестьянская земля.

Зоя НАМЗЫРАЙ **РОДНОЙ ЗЕМЛЕ**

Высокогорная моя Тува!
Степная да просторная Тува!
Речная да озерная Тува!
Рабочая, упорная Тува!
Октябрьским солнцем ты озарена,
советским знаменем осенена,
душою русскою окрылена —
и песня радости твоей звучна!
Дивлюсь сегодня я Туве моей,
труду и крепости ее людей,
ее сокровищам, Саян древней,
из недр поднявшимся для новых дней!
Гляжу восторженно на Енисей —
как звонок смех над ним моих детей!
Как птицы вольные, они легки —
летят привольные для них денъки...
В сверканье сказочном там, из-за туч,
над темной зеленью, над снегом круч
лестит — не чудо ли? — нет, самолет!
И песню удали мотор поет.
А там, где горная тропа крута,

где людям пропасти грозили,— там,
над высью синею, упрямей гор,
машину сильную ведет шофер.
Дивлюсь я юности — а старики,
точь-в-точь прилежные ученики,
науку нового стремясь познать,
вслед детям с вицуками идут опять.
Не надивлюсь тебе, моя Тува!
Не надышусь тобой, моя Тува!
Трудом и радостью всегда нрава,
как я горжусь тобой, моя Тува!

Александр РУССКИЙ

НАЧАЛО

Повесть¹

Есть в наших днях такая точность,
что мальчики иных веков,
наверно, будут плакать ночью
о времени большевиков.

П. Коган.

ГЛАВА 1

Утром Сергей вышел из домика топтуна, с наслаждением вдохнул пьяный, густой, как мед, воздух. Чистейший горный снег запел под валенками. Мокнатые вершины вдали жадными волчатами присосались к набухшим тучам. Старик-топтун —смотритель тракта — уже ушел куда-то по своим делам, а солдаты, ночевавшие у него, только подымались.

— Кочетов, гляди сюда,— услышал Сергей хрипловатый голос Семена Галкина, долговязого, глазастого солдата в прожженной мешковатой шинели.— Знатную я метку оставил деду.— На масляной желтизне подкарнизного бревна углем было выведено: «СЛАБОДА».

— Молодец,— сказал Сергей,— только не «слабода», а «свобода».

— Не важно. Главное — вся власть Советам!

Солдаты тронулись в путь. Шли в ногу, грелись песнями. Семен Галкин знал их великое множество, и все мелодии распевал на маршевый лад, чтоб легче было шагать. Но, ко всему сожалению, в его репертуаре не было ни одной революционной песни.

У девичий у ленок
повадился паренек,—

¹ Журнальный вариант.

хрипловато заводил Семка. И три простуженных глотки яро подхватывали припев:

люли, люли, паренек,
люли, люли, паренек.

Весь он белый лен примял,
головочки посыпал,
люли, люли, посыпал,
люли, люли, посыпал.

Головочки посыпал,
в Дунай-речку побросал,
люли, люли, побросал,
люли, люли, побросал.

Песня толкалась в крутые бока гор, катилась вниз по сахарным снегам. В душе солдат-фронтовиков расправляла крылья радость. Для них окончилась ненавистная война, а главное — в Петрограде больше не было ни царя Николашки, ни болтуна Алексашки Керенского. Солдаты шли домой. Неведомая новь сутила нечто необычное, желанное.

— Братцы, — забегал вперед Прокоп Ковалев, не по летам шустрый, в подшитых громадных валенках, — мне вот чего антиресно. Мы, к примеру, кровь проливали и в революции участвовали. А каки нам за это поблажки выйдут?

— Ты Кочетова спроси, — советовал Галкин. — Я дезертир, я ниче не знаю. А Кочетов в комитете был.

— Помещиков нет — раз, — сотрясал кулаками Кочетов, — полиции нет — два, — это тебе не поблажки? Свобода, брат! Живи, как тебе любо! — Он шагал легко и широко, раскрытая грудь парила, от широких плеч, спокойного улыбчивого лица веяло силой.

— У нас в Урянхае это и раньше было, — вставлял немногословный угрюмый бородач Ерошкин. — Взять, по Малому Енисею: каждый берет землю и на ей свой результат ищет. Чем не слобода?

— Это ты брось, дядя, — петушился Галкин. — Знаем мы ваше дело. На Малом и под хребтом старожильские да самоверы урвали себе лучшие куски, а нам, приезжим, хоть матушку-репку пой.

— А потому как лодыри вы, присезжие, — спокойно возражал Ерошкин. — Трутни и лежни. У нас в Бояровке таких пруд пруди.

— Это я лодырь? — искренне удивлялся Галкин, — и дед мой, и отец, и я сам — вечные рабочие.

— Все вы, кои без земли да без штанов по свету маетесь — лодыри, — стоял на своем бородач. — Человек должен всю жизнь одно место обживать.

Такая решительная позиция заставила на минуту замолчать всех четверых. А потом Кочетов сказал грозно и внушительно:

— Дурак ты, Ерошкин.

— А все ж нам, фронтовикам, должны быть поблажки,— вздыхал артиллерист.— Мне, к примеру, край надо избу новую ставить: ребятишки подрастают. А одному не под силу.

— Вот для этого и создали большевики Советы,— загорячился Кочетов.— Чтобы во всем народный интерес соблюдать. Покосилась у тебя изба. Ага, говорят в Совете, артиллеристу Ковалеву надо новый дом ставить. Смекают и помочь устраивают. Деньгами или там живой силой. Руби, товарищ Ковалев, дом, потому как ты находишься с малыми ребятниками и вообще хилый человек.

— Он-то хилый? — заржал Галкин.— Гля, он в окопе какой фургон наел. Щас, небось, бабу свою на нет заездит.

— Бабу-то? — Ковалев блаженно прижмурился.— Баба у меня, братцы, святая. Троих робят подняла без меня, покеда я с немцем стрелялся.

При упоминании о женщинах все оживились. А Кочетов ушел в себя, задумался. Вспомнилась оставшаяся позади Григорьевка, деревня, где когда-то жила тихая и пригожая Устюпичка Кузнецова, с которой обвенчался он перед уходом на фронт. Не суждено было солдату увидеть ее вновь. Возвратившись в деревню, узнал: умерла Устюпичка год тому назад. К родителям ее Сергей заходить не стал. Не любили богатые кержаки веселого полуницкого зятя. Да и он не питал к ним особенных чувств.

Разбивая валенками пуховую насыпь на твердой дороге, Сергей думал о своей прошлой и будущей жизни. Радость и сожаление, тоска и надежда переплетались в этих думах. Но впереди светила революция. К ней Сергей стремился с открытым сердцем, она наполняла его жизнь болезненным, тревожащим смыслом. Сергей искренне хотел все понять в этой буре. И ему не надо было принуждать себя искать в ней выгодные, привлекательные для себя черты, она была его родным, кровным делом. С души словно слетел стягивавший ее все годы обруч, и она, усталая уже от обид и несправедливостей, властно потребовала отмщения.

Только теперь, когда за всю многовековую историю России рабочие люди вздохнули полной грудью, заговорили в полный голос, держали в своих руках власть, Сергей Кочетов, как и миллионы его братьев по классу, понял всю бездну бесправия, забитости и нищеты, которая довлела над его прадедами и дедами и была уготована его сыновьям и внукам. Природный ум, тонкая, одаренная натура дали ему возможность рано понять, как обидна и темна жизнь его семьи. Отец, трудящийся человек, плотник, бывший царский солдат, хоть и работал день и

ночь, вечно нуждался в деньгах; мать, кухарка, тоже свету не видела от тяжелой черной работы. Но семья часто голодала.

Минусинские деревни, где еще малыцом в поисках заработка вдоволь поскитался Сергей вместе с отцом, были оплотом зажиточных казачьих династий. На всю жизнь возненавидел молодой Кочетов высокие заборы их кондовых домов-крепостей, бдительно охраняемых цепными волкодавами. Однажды, когда Кочетовых панимал богатый казак с серыгой в ухе, такой кобель сорвался и с лютой злобы насыпал на отца. Кузьма успел поймать огромного зверя за шкуру на загривке, но смрадная пасть, роняя пену, приближалась к глотке. А хозяин собаки, заинтересованный поединком, как будто и не собирался помогать бродячему плотнику. Тогда Сергей, выхватив из своего ящичка стальную выдергу, огрел ею пса по хребту. Тот взвизгнул, оставил свою жертву и нырнул в конуру.

— Ты что мне, собаку увечить! — заорал казачина и крепко схватил Сергея за шиворот.

— Не трожь мальца, — сказал отец, вытирая окровавленную руку, распоротую клыками пса, — совесть поимей.

— Ого, да они мне еще и грозить! Вон отсюда, голь перекатная! — выпутил сизые глаза несостоявшийся хозяин Кочетовых.

Много обидных картин, подобных этой, вынес из детства сын плотника. И в первые месяцы революции оттаивала его душа от закрутевшей ненависти к сильным мира сего. Видел он, как празднует народ по городам и селам обретенную волю. И в Иркутске, участвуя в подавлении юнкерского и казачьего мятежа, и в Красноярске, где прошло его скучное детство, в деревнях, по которым пробирался домой в Урянхай, видел молодой солдат красные флаги, просветленные лица бедно одетых людей и с восторгом размышилял о сбывающихся думах Степана Разина и Емельяна Пугачева. Отец не раз рассказывал, что прадед Сергея был пугачевцем, за что его и выслали на вечное поселение в Сибирь. Услышала бунтарская прадедовская кровь в жилах Сергея о новых восстаниях и смутах на Руси. Кочетов, волнуясь, вбирал в себя все, что рассказывали и писали о вожде революции — Ленине и его железной гвардии — большевиках.

От дум его отвлек треск валежника. Из тайги на тракт выбралась тощая лошаденка, запряженная в плохонькие сани. Рядом, встряхивая вожжами, шел низкорослый крепкоплечий мужик в вислоухой драной шапке. Увидев солдат, он придержал лошадь и сказал, наверное, просто для того, чтобы не разминуться молча:

— Здорово, служивые! Табачку на закрутку не уделите?

— Здоров, отец, сами лапу сосем, — ответствовал Семка.

— Ну да тогда я вас могу угостить. — Он не спеша сел

на санную слегу, достал из-за пазухи неимоверно большой, туго набитый кисет, который сильно понравился солдатам.

— Откуль будешь, папаша? — спросил Семка, черпая добрую горсть самосада.

— Усинские мы, кум на заимке проживает, вот проведать ездил. — Мужику, видно, очень хотелось поговорить с солдатами, все же люди служивые, бывалые, много повидавшие. — Навоевались, сердечные, патерпелись страдалиев, — взглядался он в их лица.

— Всего было, — с достоинством покивал Галкин. — К примеру, вот этот вот солдатик, не гляди, что вроде как с февральком в голове с виду, а медальку имеет, самим Керенским подаренную, — Семка похлопал по плечу бородача Ерошкина.

— Сгинь, сатана, — отвернулся тот. Но все-таки его вроде хвалили за медаль, и это было приятно. До этого всю дорогу солдаты издевались над ним по поводу злополучной медали. Ведь повесил ее на грудь Ерошкину действительно сам Керенский, приезжавший на фронт. По этому случаю весь потрапанный пехотный полк, где служил Ерошкин, наградили разными медалями, хотя солдаты и сами не знали, за что. Ведь как раз перед этим они верст двадцать знатно драчали от немцев.

— Ишь ты, — удивился мужик. — А кто же такой будет энтов Керенский?

— Ох и темнота же ты, папаша, — покрутил головой Семка. — Тот, который после Николушки на трон взобрался.

— А вот позволь спросить, любезпай, — вытянул шею артиллерист Ковалев, — какие власти нонче у вас в Усинском сидят?

— Совет у нас, мил человек, — осторожно ответил крестьянин, ле зная, как отнесутся к этому солдаты.

— Молодцы. А в Урянхае как? — живо заинтересовался Кочетов.

— Слышишь, и там буржуи отъели пашеничку. Надысь два урянха к нам в Усинское верхи прибегали, спрашивают, кто, мол, такой есть Ленин. А мы и сами, едят тя мухи с комарами, толком не знаем.

— Ленин, папаша, — еще пуще заважничал Семка, присаживаясь на сани, — это вроде командира над всей революцией.

— А ты его видал?

— Как тебя, — не моргнув глазом, соврал Галкин.

— Расскажи, милок, какой он обличьем?

Семка оглядел своих попутчиков и мотнул головой:

— Не, середь нас такого нету. К примеру, кулак у него, папаша, с твою голову будет. Но чтобы драться с кем — ни-ни, все речами уговаривает. Это тебе не Керенский, да-а, — Семка поднял палец. — Вся, грит, власть Советам, земля — крестьянам, мир — хижинам, а дворцам — война и разрушение.

— Я слыхал, он напих краев?

— Точно, шушенский,— кивнул Семка.— У нас в полку один солдат был, с ем, грит, вместях сено кашивал. Сроду, грит, не угнаться. Работник!

— Ну, едят тя мухи!— обрадовался мужик.— А наш батюшка Василий обратно говорил, будто его из германской земли прислали православных мутить.

— Вре-ет ваш Василий.

— Ну спасибо, служивые. Вот теперь расскажу своим.

Во второй половине дня солдаты вышли на ровную, как скатерть, опущенную снегом луговину. Остановились, пораженные чистым сиянием слегов и неба. Как будто и не стыли за их плечами черные могилы войны, не дымилась кровь, не было оглушенных взрывами дней. Впереди спала доверчивая, мирная, обетованная земля — Урянхай.

— Беловодье,— выдохнул Ерошкин.

Чуть пониже, у дальнего леса, темнел избами большой поселок, мерцала над его крышами луковка церкви.

— Туран,— указал Кочетов.— Там у меня дружок живет, полчанин, переночуем у него и завтра тропем на Белоцарск.

У въезда в поселок фронтовиков остановил казачий разъезд. Десяток толстомордых казаков на сытых конях преградили дорогу. Сердце у Сергея почуяло недоброе: не были похожи эти люди на красных конников. Он тиснул в кармане пинели револьвер, прихваченный еще в Иркутске у одного разоруженного юнкера.

— Хто такие?— властно спросил черный с орлиным носом урядник, поигрывая плетью.

— Не видишь, солдаты,— сказал было Семка осевшим голосом.

— А вы кто такие?— отстранив его плечом, вышел вперед Кочетов.

— Не твоего ума дело!— гаркнул урядник.— Дезертиры, так вашу мать, бросили Расею на поругание немцам!

— Ах ты гад,— почти прошептал Сергей. Щеки ему оплеснуло бледностью, глаза недобро сверкнули из-под бровей.— Наел рыло за нашими спинами и на пас же голос завышашь?!

— Малча-ать!— изо всех сил заорал казак и взмахнул плетью. Но рука его зависла в воздухе. Кочетов молниеносно выхватил револьвер.

— Попробуй, сука,— сдерживая ярость, тихо сказал он. Урядник, как завороженный, впился взглядом в черный глязок револьверного ствола, направленного прямо ему в лицо.

— Ладно,— прохрипел он,— опосля встретимся,— опустил плеть, вздыбил коня, и казаки ускакали в глубину поселка. Некоторое время солдаты стояли молча. Потом Ерошкин двое-перстно перекрестился и сказал:

— Наживешь с тобой, Кочетов, беды, уж больно ты не в меру горяч. Неровен час вернутся.

— Ловко ты отбрел казачишеков,— хахакнул Семка.— Даже я б так, пожалуй, не смог...

— Вот как нас здесь стречают,— задумчиво и грустно покачал головой артиллерист Ковалев.

ГЛАВА 2

Приказ комиссара по делам Урянхайского края коменданту города Белоцарска
10 декабря 1917 года

Вследствие ясно выраженного... призыва к захвату власти со стороны лиц, состоящих на государственной службе, — Крюкова, Крючкова и Терентьева, приказываю в силу распоряжения Временного правительства применить против лиц, призывающих к захвату власти, все законные меры: вышеуказанных лиц арестовать и выслать из пределов Урянхайского края в течение 48 часов без права въезда обратно в Урянхай впредь до особого распоряжения.

Комиссар А. Турчанинов, получил корнет Местергази.

Алексей Александрович Турчанинов молился. Он стоял на коленях перед небольшим, тускло отливающим серебром походным алтарем, и его сутуловатая спина время от времени сгибалась в поклонах. Обращения к богу были давней привычкой Турчанинова, закрепившейся еще с детства. В набожной семье крупного царского чиновника, действительного статского советника, что в то время соответствовало званию генерал-майора, божье слово было в большой чести. Но сегодня молитвенные стихи лишь машинально выпептывались сухими губами владыки Урянхая. Мысли его были здесь, на земле. Уже много дней его жгла неотступная дума: как выбраться из создавшегося положения. В его родном Петрограде уже не существует больше ни монарха, ни Временного правительства. У власти большевики во главе с Лениным. Вот уже три месяца он сам, его комиссариат, переселенческое управление со всеми отделами, суд, казачья часть, милиция и прочие органы, стоящие на страже старого порядка в крае, как бы висели над бездной. Они распоряжались, судили, казнили именем правительства, которого не существовало. Глава этого, поистине временного, кабинета министров краснобай и позор Керенский глядел из далекого Парижа уже не в сторону своей Родины, а за океан, выбирая теплое, спокойное местечко для существования. И Турчанинов понимал, что по теперешним временам вся его урянхайская администрация находится вне закона.

В дверь осторожно стукнули. Турчанинов недовольно обернулся.

— Ваше превосходительство,— сказал, заглядывая, денщик,— их благородия господа офицеры просят принять.

— Зови,— устало разрешил комиссар, но вставать не спешил. Сделал он это лишь когда за спиной зазвякали шпоры офицеров, которым не мешало видеть, что комиссар тверд в своих прежних привычках. Медленно поднимаясь с колен, он оглядел вошедших. Есаул Магомаев, корнет Местергази, поручик Русских, корнет Скорняков, сзади пыхтел толстый князь инородцев Бадорху.

Есаул, тронув черный стрельчатый ус, спросил:

— Вызывали?

— Садитесь, господа.

Комиссар крутился на носках легких офицерских сапог и, заложив руки за спину, принял энергично ходить из угла в угол. Офицеры молча наблюдали. Красивое кавказское лицо старшего из них, Магомаева, слегка тронула ироническая усмешка: он знал слабость комиссара изображать из себя великого человека.

— Господа,— отрывисто начал Турчанинов.— Положение наше не из легких. Дальше скрывать перемены, происшедшие в Петрограде, невозможно. Но я глубоко убежден в том, что большевики продержатся каких-нибудь два-три месяца. Поэтому нам с вами необходимо сохранить в крае законный порядок. С урянхами легче, они пока ничего не подозревают. Поэтому наша с вами первейшая задача,— комиссар поднял глаза на сверкающего голубым шелковым халатом князя,— оградить инородцев от влияния русских смутьянов. Увы, такие случаи есть. На Хемчике банда инородцев совместно с русскими подстрекателями грабит фактории купцов, недавно убит милиционер. А вы, уважаемый князь, не можете или не хотите с ними бороться. Учтите, что я вынужден буду призвать на помощь другого князя, более расторопного, Ажыкай, например,— Турчанинов замолчал, дожидаясь, пока вислоносый чиновник-переводчик Самойлов переведет его слова князю.

— Халак,— мрачно буркнул князь и вжал голову в плечи, когда Самойлов закончил. Жирные щеки его побагровели, глаза совсем как будто исчезли в складках

— Что вы на это скажете?— повысил голос Турчанинов.

Бадорху несколько секунд сидел неподвижно, ему не нравилось, как с ним разговаривал русский начальник. Потом он, очевидно, овладев собой, сжал руки на груди, довольно сносно заговорил по-русски:

— Не сердись, дарга, скоро пойду на Хемчик, всех красивых шакалов отошлю за солью¹.

¹ Отослать за солью — убить.

— Я вам должен дать совет, господа,— продолжал Турчанинов,— сейчас действовать надо решительно, но без лишней огласки. Надо изолировать большевиков, гнать их из Урянхая. Как настроение сотни?

— Казаки поговаривают о доме,— снова тронув ус, доложил Магомаев,— в Забайкалье у каждого семья...

— Что значит семья?— неожиданно выкрикнул Турчанинов. Его бледное лицо вмиг побагровело, глаза забегали.— Кто дал им право забывать о присяге? Родина в опасности, а они— семья...

— Алексей Александрович,— поднялся молодой тонкий Местергази,— людей мутят кучка неблагонадежных. Издайте приказ, и мы их ушлем. В основном сотня верна командирам и присяге, вполне боеспособна.

Турчанинов взглянул на говорившего, подошел. Краска медленно сходила с его лица.

— Благодарю вас, корнет,— он пожал руку зардевшемуся Местергази и добавил тише:— Я надеюсь на вас, господа.

Магомаев снова едва заметно усмехнулся.

— Плохие новости,— сказал он.— В Сосновке, Атамановке, Байнколе зашевелились дезертиры. Требуют создания Советов. Предлагаю взять взвод казаков и совершить рейд по этим селам. Не мешало бы всыпать плетюганов советчикам.

— Нет, нет,— запротестовал Турчанинов,— не те времена, дорогой есаул. Пусть поговорят мужички. Никакой силы они не представляют, пока у них нет оружия. Вернется твердая власть в центре, тогда... А сейчас еще одна важная наша задача — не дать им оружия. Особо хочу вас об этом предупредить. По моим данным,— комиссар самоуверенно взглянул на офицеров: знайте, мол, наших, у меня есть собственные агенты,— эти самые дезертиры обратились с просьбой к усинским бандитам, и те, конечно, попытаются переправить в Урянхай винтовки и патроны. Поэтому,— он заговорил медленней, увеличивая вес каждого слова,— необходимо тщательно проверять всех и каждого, кто едет из-за Саян через Белоцарск.

— Ну, с этим, слава богу, мы пока еще можем управиться,— проговорил Магомаев.

ГЛАВА 3

Сменились власти, износились люди, изумрудной паутиной покрылись памятники.

А бумага — вот она, цела и невредима. Передо мною архивные документы. К пожелтевшим листам прикасались те, кого давно нет в живых.

Первый паспорт Сергея Кочетова. Запись: «Повенчан 4 мая 1914 года Минусинским причтом Спасского собора с 17-летней крестьянской

дочерью Устиней Симовой Кузнецовой». Полицейский штамп: «Прописан 9 мая 1914 года в гор. Красноярске. Вахмистр Иванов».

Не мог подозревать вахмистр Иванов, что имением мастерового паренька, в паспорте которого он поставил свою заковыристую подпись, назовут люди одну из центральных улиц красивого будущего города на берегу Енисея, а также большое село в бывшем Урянхайском крае.

— Сын! — старая Агафья рванулась вперед, замерла на груди у Сергея. Ноги ее ослабли, из глаз покатились слезы.

— Маманя, здравствуй! — Сергей едва успел подхватить ее, осторожно прижал к себе.

— Господи, вернулся! — мать неотрывно, словно не веря глазам, глядела на него, жадно, как слепая, ощупывала его голову, лицо. Заметила морщинку между бровей, не было ее раньше, губы отвердели, строжеглядят глаза, совсем мужик стал. А и всего-то ребенку двадцать третий годок прошел. — Сколько ночей не спала, молила заступницу, чтоб не сгубили супостат. Дошли молитвы...

— Живой я, мама, а вы-то как?

— Да господи, что мы... Живы-здоровы, шевелимся помаленьку.

— Где же отец?

— Елку пошел вырубать. Новый год ведь на дворе.

В первые минуты Сергей разглядывал жилище родителей с интересом и почти испугом. После всех своих скитаний по большим и малым городам, дорогам и тропам эта избенка поразила его ветхостью и простотой. Он гладил мать по спине, и острые жалости к ней, к отцу, ко всем обитателям этой заброшенной на край света деревни заполняли грудь. Серые бревенчатые стены, низкий потолок, печь, маленькие, забытые метелями окна. Пол скрывают застиранные половички, в переднем углу теплится лампадка под образом. И все это из года в год давит теснотой, серостью. «Эта изба, как вся наша жизнь», — подумал Сергей, — и не было бы из нее выхода, если б не революция. Теперь мы разрушим ко всем чертям убогий быт, будем строить новый красивый мир, чтобы хоть дети наши увидели настоящий свет!»

Тяжелая дверь распахнулась, и в избу, чертыхаясь, ввалился отец с вырубленной елкой.

— Сергей?! — от удивления старик выронил пушистое деревце. — Вернулся, солдат!

Они обнялись.

— Стал быть, с окончанием царевой службы тебя!

— Нету теперь, батя, того царя.

— Ну все равно ты стал бравый гренадер, совсем как я в пятом году, когда на японца ходили. Не ранили?

- Обошлось...
- Гляди,— хихикнул Кузьма,— старая-то ополоумела, слезы в три ручья льет.
- Радуюсь я, дурень,— мать приникла к крутым плечам сына и, спохватившись, стала расстегивать его шинель.
- Ну, как немец? — поинтересовался Кузьма.
- Жидковат против нас.
- И мы японца бивали в пятом году...
- Щас старый мерин начнет брехать, как он японца бил,— ввернула мать.
- Ленина, слuchаем, не видел? — продолжал допрос отец.
- Не приходилось, — с сожалением покрутил головой Сергей.— А вот гвардейцев его, большевиков,— сколько хощь.
- Разное у пас про них болтают...
- Плохому не верь, отец. Эти ребята ради трудового народа на смерть идут.
- Ну а Ленин — вроде, значит, Разина или Пугача будет?
- В тыщу раз умнее и сильнее.
- Уж это ты, однако, загнул. Дед сказывал, Пугача ни одна пуля не брала.
- Насчет пули — не знаю, а вот буржуев он скрутил в Питере — Пугачу и не снি�лось...
- Дай-то бог. Ну, давай-ка, Серега, к столу.

Праздник толкался в тесные стены кочетовской избенки. Из трубы полетели в вечернее небо искры: в печи жарилось и парилось, горница засияла в свете новой привезенной Сергеем семишинейной керосиновой лампы. Кузьма попшел по дворам приглашать гостей...

Уже смеркалось, когда шедшие по улице купец Часов и караульный казак Золотов услышали доносиившиеся из избы Кочетовых смех, звон стаканов, веселое пенье.

Рекрута-рекрутки
ломали в поле пруттики,
ломали да оставили,
тосковать заставили,—

выдавала молодой женский голос, и ему переливчато вторила гармошка.

Купец остановился, выставил из-под шапки ухо.

— Во,— ткнул он в бок казака,— стариk Кочетов сына с Фронта встречает. Ты гляди за пим в оба. Парень — смутьян, я его по Григорьевке знаю...

— Приструним,— басом ответил казак, и они стали вслушиваться в доносиившиеся из окон избы голоса.

* * *

Хорошо после дальних дорог вволю отоснаться в отчём доме. Через неделю Сергей стал гладким и круглоголовым. Мать не могла наглядеться на него.

Сергей с грустью отметил, что хозяйство отца еле дышало. У старого плотника уже не было прежних сил, когда он мог один, без посторонней помощи, связать сруб. Жили старики скотиной и птицей, с утра до ночи копаясь во дворе.

— Ежели сравнивать с Красноярском, то здесь, сынок, житье получше,— кашляя в рукавицу, говорил Кузьма.— Только жалко, силенок пет. Сенца вот не сумел запасти, да и в батраки идти — кто меня возьмет? Поэтому и продали мы с матерью коровенку нашу куницу Вавилу за бесценок.

Приглядываясь к жизни крестьян Атамановки, Сергей прикидывал расстановку сил. Подавляющее большинство здесь было — бедняки и слабые середняки, а то и совсем исимущие переселенцы. Они бежали сюда из разных сибирских и даже российских городов и сел от преследований полиции, неимоверных царских поборов, помещичьих загребущих рук, заводской неволи. Эти люди были рады и тому, что здесь их меньше тревожили власти. Бедные и безграмотные, они были все же в большей мере, чем крестьяне средней полосы России, независимы и смелы. «Этих поднять будет проще», — думал Сергей.

Богачи-колонизаторы чувствовали себя здесь пока в безопасности, под крыльшком турчаниновских казаков. Яростно, не стесняясь в средствах, они наживались на почти даровом труде мужиков-переселенцев, простодушных аратов.

По вечерам, когда таежный хребет над селом накальвал на вершины елей медный шар луны и тоненькие струи метели запевали по селу свои колдовские песни, Сергею делалось тоскливо. Даляр, такая даль отделяла его теперь от фронтовых товарищей, от горячих революционных событий, от всего, чем жила взбудораженная Октябрьем Россия! Здесь, похоже, надо было все начинать заново.

Как-то мать робко поинтересовалась, не думает ли Сергей жениться.

— В Мипусинске есть одна девушка, мама, — ответил он.— Другой мне не надо.

— Барышня она какая или работает где?

— Сестра милосердия. Встретились мы с ней случайно, а вот теперь неизвестно, когда еще увидимся.

Сергей задумался. Мать зпала о первой несчастной любви сына и больше ни о чем не стала расспрашивать. Сергей был в сельской сборне, у соседей, ходил с молодежью па посиделки, в деревне его узнавали как веселого дружелюбного парня. Заходил он и в юрты к аратам, живущим на окраине Атамаповки.

Как-то вечером он накинул шинель и, сказав матери, что скоро вернется, вышел за ворота. Атамановка дружными дымами из труб подпирала низкое невеселое небо без звезд. Сер-

гей решил навестить избу Варьки Мироновой, вдовой солдатки, где часто собирались молодежь. Окна ее слеповатой, не знавшей, куда упасть, избенки уже горели бесовским ярким огнем: керосину Варька не жалела. Сергей, сбив снег с валенок, постучал и открыл двери. В горнице было, как всегда, шумно, тесно, густо пакурено. Атамановские девки и вдовы молодицы давили широкую лавку, парились в шубейках и поддевках, бойко шелушили семечки. Сергей поздоровался.

— Здоров, фронтовичок! — пропела медовым голосом хозяйка, стреляя на девок подведенными глазами. — А мы уж думали, что вы гребете нами: везде бываете, а к нам глаз не кажете...

— Его мамка не пускала, — прыснула в платок красивая казачка Спиридонова. Сергей за руку поздоровался со знакомыми парнями. Здесь было несколько недавно возвратившихся фронтовиков.

— Эх, девки, — вздохнул сидящий в торце стола видный цыгановатый парень в городском пиджаке, показавшийся Сергею знакомым, — грубые вы люди. Человек, может, в окопах отсырел, стеснение к вашему полу имеет, а вы так на него пляйтесь. Глядите лучше на меня, пока он пообвыкнет.

Пришел гармонист, веселый и фасонистый в высоких хромовых сапогах парень. Девки сразу оживились, окружили его.

— Ну что же, Варюша, — встал от стола цыгановатый. — В честь фронтовиков угощаю всю честную компанию...

— Ого, Василь Евсеич, — зашевелились парни. — Сразу видно человека незрячного. Недурно по чеплашке пропустить.

— Васька Часов, — шепнул Сергею кадыастый, тощий солдат Антон Лутанин. — Сыпок здешнего купца. Сорит деньгами. Говорят, в Иркутске в казаках был.

При этих словах Сергей пристально поглядел на Часова и вспомнил, где его видел. Правильно, это было в Иркутске во время юнкерского мятежа. Сергей тогда в составе крупного красногвардейского отряда принимал участие в ликвидации одной из казачьих семеновских сотен, прорвавшихся на окраину города. Казакам отsekли путь к отступлению, огнем пулеметов загнали их во двор какого-то кумаческого заезжего дома. Семеновцы были в плотном мешке. Во избежание кровопролития направили к ним парламентеров с белыми флагами. И вот в этот момент, пользуясь тем, что красногвардейцы лишины были возможности стрелять, из распахнувшихся ворот дома вылетели на бешеных конях десятка три казаков. Как выяснилось после, окруженные разделились на две группы. Большинство приготовилось сложить оружие, а эти тридцать отчаянных головорезов, которым, наверное, было чего бояться, решили уходить. Сергей тогда хорошо разглядел: впереди этой лихой банды летел, размахивая саблей и оскалив острые бе-

лые зубы, смуглый плотный казачина в черной смушковой шапке. Смяв троих парламентеров, они свернули в узкий переулок, разметали засевший здесь взвод красногвардейцев, в котором был и Сергей, и, взвадривая себя дикими воплями, растаяли в перелеске, подступающем к пригороду. «Вот он, оказывается, где вынырнул, лихой рубака», — злорадно думал Сергей, исподволь оглядывая ладпную фигуру семеновца.

Что-что, а самогонка у Варьки водилась всегда отменная. Через пять минут на столе оказались огурцы, хлеб, сало, две плечистых бутыли. Парни и девки с шумом и смехом разместились по обе стороны стола на лавках. Забулькал в стаканы чистейший первач.

— Так, значит, выпьем за фронтовиков, которые отвоевались, — поднял стакан Часов. Все последовали его примеру. Но не успел никто из присутствующих пригубить стаканы, как Кочетов, усаженный как раз напротив учредителя попойки, резко встал и громко, чтобы слышали все, сказал:

— Уж коли здесь предлагают почтить фронтовиков, то давайте выпьем за советскую власть. Щас за нее все фронтовики стоят.

— Ого, — поднял брови Часов, — мы так не договаривались.

— А чем тебе этот тост не нравится? — в упор взглянул на него Сергей и поставил стакан.

— Жидовская твоя власть и продажная, — четко сказал Часов и стукнул сжатым кулаком по столешнице. Стол затих.

— Сегодня я не буду тебя бить за такие слова, — спокойно сказал Сергей, — ради девок. Но запомни: даром они тебе не пройдут.

— А может, спробуешь? — Часов нагло улыбался. — Видно, мало тебе, парень, в окопах вложили.

Упоминание об окопах лишило Сергея последней выдержки.

— А пу, выйдем, контра семеновская, — рванулся он из-за стола. Все враз зашумели. Стол сдвинули, упала и разбилась бутыль. Сергей, Часов, за ними вся компания выкатились во двор Варькиной халупы.

— Не вмешиваться никому, — крутился Часов, ощеривая белые зубы. «В тсчности, как тогда», — мелькнуло в голове у Сергея. Часов был на голову выше и гораздо шире своего противника. Атамановцы знали его как редкого кулачного бойца, поэтому Сергею не завидовали. Часов присогнулся, хищно вытянул толстую шею и, избоченясь, медленно пошел на Сергея, твердо ступая по снегу хорошо начищенными хромовыми сапогами. Цедил медленно: «Ну, иди сюда, стерва». Сергей мысленно порадовался, что обулся в валенки: они не скользили по снегу. Наконец, Часов резко, с разворотом, бросил свое

мощное тело вперед. Сергей на секунду сумел опередить и нырнул под его кулак. Одновременно он, не размахиваясь, как учили его зарубленный казаками прокутский большевик Вальков, сильно стукнул врага в подбородок. Громко лязгнули зубы, Часов как-то удивленно разогнулся, затанцевал по снегу, но второй, еще более сильный удар в переносицу вырвал из-под его кованых каблуков певерию землю. Он лежал в снегу. Толпа изумлению ахнула.

— Вот это поднес! — вырвалось у кого-то.

— Братцы, напих бью-ут! — завопил вдруг один из друзей Часова, и Сергей почувствовал, как он, Лутанин и еще двое-трое фронтовиков оказались в тесном кругу кулацких сынов. Где-то затрещали выламываемые из забора коляя.

— А вот так мы действительно не договаривались, — громко сказал Сергей и, сунув руку в карман, резко добавил:

— Первому, кто двинется с места, продырявлю башку...

Парни отпрынули.

— Погуляли, — сказала Варька. Сергей взял у нее шинель и, уводя за собой солдат, подумал, что зря не захватил из дома револьвер.

ГЛАВА 4

Петр Петрович Соболев всю жизнь хотел стать титулярным советником. Оттого он и приехал из Томска в эту «тьмутарань», как любил называть город Белоцарск. Здесь ему предложили занять пост начальника почты. И хотя почта была маленьким домиком из трех комнат, в двух из которых помещалась семья Петра Петровича, он вот уже третий год исправно служил в Белоцарске. Подчиненных у него было не густо: телеграфист-пропойца пятидесятилетний холостяк Мартын Уваров да конюх Егор. Теперь продвижение Соболева по службе целиком и полностью зависело от комиссара края Турчанинова, и Соболев, как мог, старался ему понравиться. Но совершенно неожиданно для Петра Петровича настали черные времена. Царь Николай Романов арестован. Ужас! Больше того, Временное правительство низвергнуто. Петр Петрович со страхом и трепетом встречал каждый почтовый возок, каждое известие телеграфа.

Вот и сейчас он держал в руке странный пакет из грубой мешочной бумаги. На нем было коряво выведено: «Н-НИ-КОЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ, БЕЛОЦАРСК». А обратный адрес гласил: «УСИНСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ». Последние три слова испугали Петра Петровича. И он, взял пакет двумя пальцами, словно боясь обжечься, на цыпочках прошел в смежные жилые комнаты. Завернув зачем-то пакет в чистую тряпичку, он сел на табуретку и стал ждать. Комиссар не любил, когда Соболев приходил днем.

В густеющих осенних сумерках мерцал холодный дождь. И хотя в комнате потрескивала печь, начальник почты зябко ежился. Душа его не зря все эти дни томилась предчувствием больших неудач и опасностей. Он понимал, что огромную Россию, будто удар молнии, расколола страшная, неведомая сила. Он читал все телеграммы из центра, Миусинска, Красноярска. Везде у власти были Советы, и Петр Петрович представлял их себе кучкой пьяных щетинистых мужиков в грязных сапогах, каждый из которых походил на бродягу, недавно наившегося колоть дрова для почтовой конторы. Петр Петрович мало видел хорошего при царе, жалованьяника едва хватало, чтобы сводить концы с концами, но незвестного, нового он боялся пуще заразы.

Когда плотно затемнело, он натянул форменный плащ с капюшоном, поспешил к темному дому комиссариата. У ворот, где горел скособоченный фонарь, его остановил караульный казак, один из двенадцати телохранителей комиссара. Узнав Соболева, молча посторонился.

Турчанинов встретил осведомителя мрачно.

— Ну что у тебя? — спросил, беря пакет и поднося его к яркому свету керосиновой лампы. В глаза ему, как и Соболеву, кинулись проклятые слова «...Совет депутатов», и сердце грозного комиссара охватил темный страх. Он с треском разодрал конверт и, забыв про Соболева, принялся быстро читать.

— А? — поднял он голову через минуту, — как вам это нравится? — и начал цитировать.

«Товарищи крестьяне и рабочие Урянхая! Мы, ваши соседи, именем Российского рабоче-крестьянского правительства призываем вас встать за защиту свободы и на борьбу со стаей хищников-эксплуататоров, которые свили себе прочное гнездо в Урянхае... Вас тысячи, а насильников только небольшая кучка... Неужели вы не выбросите их от себя вон... Организуйте по всем поселкам Советы... боевые дружины на защиту народа и революции». — Турчанинов достал платок, вытер выступивший на лбу пот, откинулся в кресле. Соболев затаился у порога.

* * *

Атамановский старовер Иона Потылицын, угреватый ключкобородый мужик лет тридцати пяти, гостил в Белоцарске. В скобяной лавке у купца Стрельникова он купил три фунта гвоздей, несколько бочковых обручей, приглядывался к двухручной стальной пиле. Но приказчик запросил дорого, и Иона, обругав купца антихристом, уехал на своих розвальных из лавки. В Атамановке Потылицын считался крепким старовером, но, исчезая с глаз односельчан, позволял себе разговеть-

ся самогонкой, а то и иными соблазнами. Вот и вчера он со своим хорошим знакомцем, писарем комиссариата Лукой Ефимкиным, изрядно потешил беса. Помнится, даже подрались. Все получилось из-за того, что соседка Луки, приглашенная на застолье, тридцатилетняя, словно подвяленная, но еще весьма соблазнительная бабенка Стюрка, глядя на осовевшего Луку, вдруг вскочила и, приплясывая перед мужиками, спела такую частушку:

Полюбила писаря,
старого да лысого,
ему некогда писать —
только лысипу чесать...

Иона понравилась и Стюрка, и ее частушка, и он закатился частым тоненьким смешком. Луку же, как видно, эта острая сатира пронзила пасквиль, и он, недолго думая, столкнул веселящегося старовера со стула.

— За что? — удивился Иона и, поднявшись, звезданул писаря в ухо. Приятели свалились на пол, кусали, царапали и лягали друг друга у подрагивающих от смеха Стюркиных ног.

...С похмелья у Потылицына побаливала голова, тряслись руки, ныл подбитый глаз, но он не опохмелялся: ему предстоял важный разговор с самим комиссаром. Он и в Белоцарск-то приехал потому, что подошел срок для доклада, да и было о чем рассказать. В комиссариат Потылицын наведывался уже несколько раз с тех пор, как командир казачьей сотни есаул Магомаев уговорил его «совместно бороться с врагами Христа». За эту борьбу Иона уже дважды получал по десять червонцев серебром — деньги немалые, которые сильно удивили мужика-старовера. «Было бы за что,— с тайным восторгом думал он,— всего и делов-то — докладать, кто и чем дышит в деревне». Но все же в душе его жил какой-то неосознанный страх за эти легкие деньги.

Вечером, когда мрачные горы особенно страшно нависли над Белоцарском, а дождь усилился, Иона пошел к комиссару. По зову караульного встречать его вышел Самойлов. В кабинете, куда провели Иону, с ним приветливо поздоровался Турчанинов. Подали водки. Старовер перекрестил стопку, выпил и с хрустом закусил луковицей, извлеченной откуда-то из недр бесчисленных поддевок.

— Послушай, любезный,— начал Турчанинов, едва скрывая брезгливую гримасу.— Как там ведут себя фронтовики у вас в Атамановке?

Иона моргнул белыми телячьими ресницами.

— Никудышино ведут, ваше благородие.

— Ваше превосходительство,— поправил Самойлов.

В груди у Ионы потеплело, голова опросталась от вчерашней тяжести, захотелось говорить.

— Вот есть у нас, для примеру, один фронтовик по фамилии Кочетов. Это, я вам скажу, не мужик, а черт с рогами. Намедни он так отдал сына нашего купца Ваську Часова, что хоть святых выноси... А Васька, я вам скажу, первыйший боец во всем Подхребте. А еще, ваше благородие...

— Ваше превосходительство, дурак,— снова поправил его переводчик.

— А еще, значит, подбивает этот Кочетов мужиков и вели в Красину твардину и в Совет записываться. Оружию ищут.

— Ну, а мужики как? — быстро спросил Турчанинов.

— Так ить по-разиому, баламутов-то рази мало...

— А вы бы его вздули как следует, — посоветовал комиссар.

— Он сам кого хочь вздует, — замахал руками Иона.

— Тогда вот что, — жестко и властно сказал комиссар. — Поручается тебе. Потылицын, задание особой государственной важности. — Он для большей убедительности помолчал. От таких слов Иона вытаращил глаза и, чтобы не пропустить чего, ладонью оттопырил ухо.

— Этого Кочетова необходимо убрать.

— Куда убрать? — не понял Иона.

— На тот свет, — объяснил Самойлов. — Пулю в лоб и в прорубь, например.

— Осподи, — мигом взопрел старовер и начал мелко креститься, — грех-то какой.

Самойлов подошел к перепуганному мужику, положил руку на его плечо.

— Я знаю, Иона, ты и сам отличный стрелок, и друзья у тебя охотники. Ты должен понять: на земле идет страшный бой с антихристом. Если вы не уберете этого главаря красных бандитов, завтра он порушит и опоганит все ваши божьи гнезда и в Подхребте, и на Малом Енисее.

— Ваше благородие, не губите душу, — взмолился Иона, — может, другой кто сможет...

— К нам на подкрепление идет большое войско, — соврал Турчанинов. — Не сегодня-завтра с большевиками будет покончено. Мы не забудем тогда своих людей. Купишь лавку, станешь торговать...

— Он согласен, — сказал Самойлов и уже тоном приказа добавил: — Приедешь домой, обмозгуй это дело со своими. Можете поручить верному инородцу. Потом вернешься — получишь триста червонцев. — Он налил еще одну стопку, поднес к носу Потылицына. Тот покорно выпил, дохрустел остатком луковицы. Минуту посидел, подумал. Собственная лавка — это не фунт изюма.

— Согласен послужить государю и отечеству! — гаркнул он вдруг так, что Турчанинов испуганно вздрогнул.

* * *

Потылицын не знал, что «задания особой государственной важности» комиссар давал в эти дни многим своим людям. В поселках края готовилась целая череда кровавых расправ над вожаками русских крестьян и тувинских аратов, призывающих к организации Советов и красногвардейских отрядов.

Этой же почью у Турчанинова тайно собирались преданные ему чиновники комиссариата, переселенческого управления, офицеры казачьей сотни, несколько тувинских князей. Окна комиссариата были плотно зашторены, вокруг выставлены усиленные пикеты казаков.

— Настало время прекратить позорное двоевластие в Урянхае,— взвинчиваясь, говорил Турчанинов собравшимся.— Мы обязаны превратить край в надежный оплот борьбы с большевизмом. Стыдно, господа, слышать, что в некоторых поселках уже созданы Советы. Я объявляю решительный бой советчикам и большевикам. Мы должны брать пример с атамана Семенова, чьи войска развивают успешные действия в Забайкалье. Рад познакомить вас с представителями атамана — поручиками Неклюдовым и Дмитруком, прибывшими к нам с личным поручением господина Семенова.

Одетые в простое платье семеновцы встали, наклонили головы.

— В России зреют грозные силы,— продолжал комиссар,— которые не сегодня-завтра сбросят ярмо большевиков. Народ нас поддерживает. Если говорить об Урянхае, то крепче всего наши позиции в Туране и в Малоенисейском районе. Оттуда и надо начинать наш крестовый поход по краю. Помочь вооружить сочувствующих законной власти крестьян, собрать офицеров. Господа семеновцы помогут нам, они завтра же выезжают в Туран. Никакой жалости к большевикам — выжигать заразу огнем и железом.

ГЛАВА 5

В Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов города Минусинска.

Мы, граждане поселка Байккол, препровождаем с выбранным нами делегатом Исадулом Кумировым предписания комиссара Урянхайского края. И просим разобрать эти предписания в смысле угрозы нам в случае непризнания его власти в крае, а также помочь нам в борьбе с комиссаром и его контрреволюционными прихлебниками-буржуями, под давлением которых стонет весь край. И просим для этой цели выслать нам винтовок и патронов к пим для здешней Красной гвардии в числе 40 штук...

Староста неграмотный.
Писарь, 1918 года, февраля 4 дня.

На высоком яру, откуда начинался спуск к Енисею, остановились два небольших возка с сеном. Кочетов, кутаясь в тулуп от свежего, по-весеннему пахучего уже ветра, задумчиво глядел в долину, где едва теплились вечерние огни Белоцарска.

— Слыши, Артем,— сказал он подошедшему плотному чернобородому мужику,— тебя никогда к стенке не ставили?

— Пока ишо нет,— вытаращил глаза озадаченный мужик. Сергей хлопнул его по плечу.

— Сегодня, парень, могут поставить.

Артем ответил таким же веским хлояком по плечу товарища:

— А ежели я не хочу?

— Тебя и не спросят. Пощупают белоцарские казачки твой возок, а у тебя там под сеном что?

— Знамо, винтовки.

— А зачем, скажут, ты, Калинкин, везешь это добро в свою Атамановку? Уж не в нас ли стрелять? Давай-ка становись лучше сам к стенке. Мы тебя за такие дела в распыл пущать будем.

— В распыл — дело нехитрое,— подумав, согласился Калинкин.— Только, Кузьмич, как говорят, вместе воровали, вместе и пузыри пускать станем.

— Шалишь, брат Артем,— продолжал в шутливом тоне Кочетов,— я с ними, может, даже водку пить буду. Кстати, дай-ка сюда бутылку.— Ничего не понимающий Артем сходил к своему возку, принес бутыль самогону, стакан и, облизнувшись, подал Кочетову.

— По махонькой для храбости?— полуспросил он.

— Я те дам по махонькой,— шутливо замахнулся Сергей и спрятал бутыль за пояс.

— Что ты мне мозги туманишь,— рассердился такому обороту дела Калинкин.— То к стенке, то самогон отобран. Думаешь, он у тебя целее будет?

— Слушай, Артем, есть одна мысль,— уже серьезно сказал Кочетов.— Слушай внимательно.

Через некоторое время жители Белоцарска услышали громкую песню. Ее из всех сил горланили два подвыпивших мужика, устроившихся на возах с сеном.

Круго-ом на небе
обложи-и-ло,
и дождик
 капает чуть-чуть! —

орали они, обращая на себя внимание редких прохожих. Начальник казачьего патруля, кругоплечий хорунжий в белом полушубке, туго перехваченном портупеями, привстал на стременах, вслушался и повернул коня на голоса. Заnim по-

рысили все шестеро патрульных. Но, увидев, что возки остановились у караульного помещения казачьих казарм, хорунжий потерял к ним интерес.

— Кто такие? — из караулки вышел заспанный долгоносый урядник, подозрительно оглядывая странный обоз. — Почему орете?

— Здравия желаю, ваше благородие! — вытянулся перед ним бравый писепник, живо соскочив с воза. — Демобилизованный рядовой Гатчинского гренадерского полка. Следую домой с германского фронту. — Казак несколько опеснил оттакого бойкого доклада, а солдат, не давая ему опомниться, шагнул ближе и понизил голос:

— Ваше благородие, личная просьба, уважьте нас с братаном, выпейте за возвращение. — А сам уже наливал из бутылки в стакан.

— Ну, ежели так, — не выдержал патиска урядник и, оглынувшись, взял стакан, быстро опрокинул в рот.

— Ваше благородие, — опять зачастил солдат, — будьте так добры, пустите переночевать. У нас в этом городе — никого знакомых. А кони приморились, не дотянут до места.

— Эт можна, — сказал урядник, косясь на бутыль и нюхая рукав полушибука. — Для фронтовика. Эй, Баскаков, — гаркнул он, — а ну отворяй вороты! Да пошевеливайся, черт. Отведешь людей в казарму, укажешь, где спать. После распрягешь лошадей, задашь корма...

Сергей быстро сунул бутыль за пазуху урядника. Тот сделал вид, что ничего не заметил.

...Утром следующего дня по дороге на Атамановку катились два небольших возка с 50 винтовками и несколькими тысячами патронов для бойцов будущего отряда Красной гвардии — дар Усинского Совета. Тонко запевала поземка, а сердца возчиков зайцами прыгали от радости.

ГЛАВА 6

Объявление Урянхайского краевого Совдепа.

27 марта 1918 г.

...Урянхайский краевой Совет рабочих и крестьянских депутатов вступил в исполнение своих обязанностей 10 марта 1918 года и заявляет о себе населению как о высшем органе управления в крае.

Председатель исполкома С. Беспалов.

С утра по улицам Белоцарска ходили возбужденные люди в солдатских шинелях, драных полушибуках, армяках и поддевках. Среди них немало было аратов, тоже в основном из бедноты. Никогда еще святое, по тувинским преданиям, место,

которое старики называли Хем-Белдир — слияние рек, не видало такого множества народу и возбуждения людских страсти. Копыта многочисленных коней под седлами, впряженных в сани и телеги, превратили подъезды и подходы к городу с разных сторон в месиво битого льда, песка вперемешку со снегом. Кое-кто из приезжих украсил дуги своих повозок красными тряпичками, самые отчаянные накалывали лоскутья красного кумача на шапки. Словно свежий весенний ветер привнес эти искры из революционного Петрограда и свободно носил по улицам захолустного городка Белоцарска, бывшей опоры империи в Засиянье. И хотя холодный мартовский день выглядел серым и неприветливым, внутри всей этой погодной скуки властно светился людской праздник. В столице края проходил — вот уже второй день — съезд русского населения.

Особенно густ был людской муравейник вокруг двухэтажного, из свежих сосновых бревен, дома переселенческого управления. Здесь заседал только что созданный краевой Совдеп.

Самое непонятное для обывателей было то, что в маленьком городке одновременно существовали комиссариат Временного правительства во главе с яростным монархистом Турчаниновым, казачья сотня и явно большевистский Совет. Многие понимали, что продолжаться долго так не могло.

Турчанинов, бледный, с синевой под глазами, смотрел из окна своего особняка на безобразное, как ему казалось, скопище мужичья и ипородцев на площади. Бессильная злоба клубилась в его сердце. Утром он обнаружил, что караулка, где помещались его телохранители, пуста: казаки позорно сбежали ночью. Но на них он особенно и не обижался, потому что предполагал это. Казаки в команде были молодые, набранные в Красноярске, они как-то сразу невзлюбили его, он их и сам побаивался. Другое дело — регулярная сотня. Забайкальцы! Испытанные в многочисленных схватках со смутьянами. Чего же они-то медлят! Ведь все идет к черту. Комиссар в десятый раз хватался за ручку своего телефона, но он с утра не работал, видно, каналы перерезали провода. «Магомаев, сволочь усатая,— комиссар в сердцах ударил небольшим кулаком по подоконнику,— хитер подлец, решил мной от советчиков откупиться. И эти крысы, чиновники, попрятались в щели...»

По комнате бесшумной тенью двигалась жена Турчанинова, блеклая немолодая женщина. Он почему-то ни разу не вспомнил о ней, как будто ее никогда и не было.

Его внимание на площади привлекла группа оборванных подростков — детей рабочих. Они тесным кольцом окружили какого-то высокого человека. Вглядевшись, Турчанинов узнал сына своего помощника Федорова, болезненного красноярского студента Арефия, приехавшего к отцу пересидеть безвремен-

пье. Наверное, он своей форменной шинелью и воротничком не понравился парням, и они, кажется, собирались его побить. «Так тебе и надо, дурак,— злорадно подумал комиссар,— нечего торчать на площади». Он увидел, как студенту дали по шее и погнали под свист и гогот куда-то к реке. А один подросток с чумазым лицом, пробегая мимо зарешеченных окон особняка, схватил камень и запустил им в окно. Комиссар отпрянул. К счастью, камень все же не попал в окно. «Боже мой»,— Турчанинов заметался по кабинету, обхватил голову ладонями, упал на диван. Потом быстро вскочил, сбежал по лестнице в нижние комнаты, закрыл обе двери — парадную и запасную — на крепкие запоры. Вернувшись, открыл стол, сунул пистолет в карман, начал жечь бумаги. Их было много, некоторые он перечитывал. На глаза попалась первая телеграмма о свержении Временного правительства, полученная почти полгода назад. «Идиот,— пронеслось в голове,— какой идиот, надо было давно уйти к Семенову. С такими деньгами он бы меня принял...»

С площади в окно неожиданно просыпался копытный докот. Турчанинов осторожно выглянул. Брови его удивленно поползли вверх. К дому во главе взвода казаков подъезжал есаул Магомаев. «Наконец-то,— испуг начал таять в душе комиссара.— С казаками большевики не посмеют меня тронуть». Он бросился открывать запоры, чтобы не показаться Магомаеву трусом. Когда есаул, брякнув шашкой, ввалился в кабинет, комиссар с деловым видом сидел за столом.

— Здравия желаю, господин комиссар,— сказал Магомаев, по привычке трогая ус.

— Доигрались!— резко вскочил Турчанинов, со стуком отбросив кресло.— Либералы чертовы, а еще — казаки! Где вербованные террористы, которым я платил деньги? Почему вся эта сволочь съехалась сюда живой и невредимой? Я вас под трибунал...

— Цыц!— вдруг рявкнул есаул и даже присел от напряжения.— Я вам пришел заявить, что сотня складывает с себя всякую ответственность за дальнейшие события и за вашу безопасность. Мы вас больше знать не хотим!

— Что?!— наклонился вперед комиссар и вдруг, согнувшись, быстро запарил в столе, бормоча:— Сейчас я тебя, Иуда, пристрелю, как собаку.— Потом, вспомнив, сунул руку в карман.

— Не советую,— побелел есаул.— Казаки разорвут вас на части...

Со слезами на глазах глядел комиссар вслед уезжавшему взводу.

Вечером случилось то, чего больше всего боялся Турчанинов. Смелые голоса раздались под окном, с шумом во двор входили люди. Он выхватил пистолет, осторожно глянул из-за

занавесок. Улицу перед домом запрудили рабочие Белоцарска, присяжные крестьяне.

— Выходи, комиссар,— орал здоровенный мужик с винтовкой за плечами.— Доброму просим.— В дверь беспечно затарабанили. Турчанинов не отвечал.

— А может, петушка подпустить ему, братцы?— выскоцил из толпы кудрявый парень без шапки с красным бантом на груди.

— Молчи, дура,— осадил его ножилой красногвардеец.— Или мы бандиты? Надо сгонять за председателем.

Через некоторое время Турчанинов услышал, как в дверь спокойно и требовательно постучали, и твердый баритон произнес:

— Господин комиссар, откройте, я Бесналов, председатель Совдепа.

Готовый к самому худшему, комиссар открыл дворь. Неподалеком стоял высокий интеллигентного вида молодой человек в хорошо сшитом пальто.

— Именем революции вы арестованы!— громко, чтобы слышали все на улице, сказал он.

ГЛАВА 7

«Строя новую армию, мы должны брать командиров только из народа. Только красивые офицеры будут иметь среди солдат авторитет и сумеют упрочить в нашей армии социализм».

В. И. Лепин.

— Граждане атамановские мужики,— начал Лутанин и оглядел тесноватый зал сельской сборни. Атамановицы густо усыпали лавки, сидели на полу, стояли вдоль стен. Сизые крылья дыма висли над обнаженными головами.— Как вы мне всем обществом доверили и я, значит, был делегат в Белоцарске, то все вам щас должен рассказать, как там происходило.

Сергей, сидя на табурете вполоборота к залу, думал о своем. Хорошо, что дела только что выбранного Совета интересуют мужиков. На собрание пришло много тех, кого не приглашали. Были здесь и богатеи. Вои у стены смиренно прикрыл глазки хитролицый купчишка Часов. «Нарочно, змей, надел драпый тулутик, чтобы не выделяться среди бедноты»,— отметил Сергей. У двери стоял беловолосый старовер Потылицын. Глядя на него, многие удивлялись: староверы держались в селе особняком, ни в какие общественные дела не вникали. Сергей заметил еще и то, что в зале было десятка два тувинцев. Они сидели молча, старательно вбирая все, о чем говорили вокруг.

— Перво-наперво хочу сообщить,— выпалил Лутанин и поднял тяжелые, как кувалды, кулаки.— Турчанинова, комиссар

сара, стряхнули, и теперь у нас в Урянхае, как и по всей России, правит Совет!

Дружное «ура» потрясло бревенчатые стены сборни.

— Давно пора!

— К стенке его, контру! — слышалось сквозь общее ликование. Кочетова удивило, что старовер Потылицын, спрятавшись за косяк, выглядывал из дверного проема. Лутанин еще некоторое время помахал перед собранием своими кулаками и объявил:

— А теперь пусть останутся те, которые желают записаться в Красную гвардию. С имя будем вести разговор, не кающихся остальных граждан.

Прошло несколько минут, но никто не уходил.

— Товарищи бабы, — встал секретарь собрания Лапшин, — просьба от Совета покинуть насиженные места.

— А мы чо, не люди? — выкрикнула Варька Миронова. — Совецка власть равноправию объявила.

— Варька, набирай свою войску, — заржал молодой рыжий парень, по прозвищу Ухват, — ни один буржуй не устоит.

— А вот не уйдем, и все тут, — затрещали другие бабы, явно оскорбленные тем, что хотят обойтись без них.

— Товарищи, а что это мы гоним наших дорогих женщин, — поднялся Сергей. — Они нам вот как в отряде понадобятся...

Бабы остались.

— Допрежь всего, — снова поднялся Лутанин, — нам надо выбрать атамана, тоись — командира. Тут, конечно, нужен мужик с головой, непитущий и понимающий военный масштаб.

— Что это за мужик, который непитущий, — крикнула Варька, но на нее не обратили внимания.

— Кого пазовете, мужики?

— Кочетова, — подал голос Артем Калинкин. Он встал и взмахнул шапчонкой. — Я думаю, этот парень, Кочетов Сергей, всем известный. И мозга у него есть, и кулак немаловажный, и статью па атамана вышел. А слыхали бы вы, как мы с им казачишков объегорили... — сказав это, Артем понял, что сболтнул лишнего. О том, что из Усипского доставили винтовки, знали очень немногие. Совет решил хранить это в тайне. — Однем словом, агитирую за Кочетова, — махнул рукой Артем.

— А каких это вы казачишек объегорили? — привстал Часов. — Обскажи людям.

— Не твоего ума дело, — вдруг озлился Артем, — что ты, Часов, ко мне привязался. Объегорили и все...

— Мое мнение такое, — поднялся широкий и угловатый, как утес, кузнец Мордвинов. — Кочетов — подходящий человек. И отца его мы все знаем, Кузьма сам был бравый солдат.

— Кочетов ишо молодой, — сказал Часов, — надо бы кого постарше. Сколь тебе годов, Кочетов?

— Двадцать четыре,— почему-то краснея, ответил Сергей.

— А ты, гражданин Часов, здря здесь присутствуешь — купецкое звание в Красную гвардию не берем,— загудел Лутанин.

— Брешешь ты, Лутанин,— пробовал было защититься Часов, но на него наслел Артем Калинкин.

— До прежь чем оскорблять нашего делегата товарища Лутанина, ты бы лучше объяснил, дед, где твой сын Васыка-каратель иопче скрывается?

— Это ты у его пытай,— ощерился стариик, встал и начал пробираться к выходу.

— Бабы тоже за Кочетова,— не стерпела Варыка.— Не атаман будет, а картина.

— Ежели других предложениев нет,— объявил Лутанин,— голосуем. Кто за Кочетова, подымай руки.

Дружно колыхнулся неровный частокол рук. Старательно выставил свою и старовер Иона.

— Поздравляем тебя командиром атамановской Красной гвардии, Сергей Кузьмич,— торжественно произнес Лутанин.

Кочетов встал, низко поклонился. Щеки его пылали.

— Спасибо за доверие, мужики. Но чур не обижаться, дисциплина будет крепкая, это я вам обещаю. А сейчас прошу записываться у товарища Мальцева.

Сборня загудела, колыхнулся спертый воздух, мужики пробирались к столу президиума.

— Пиши меня первого,— басил кузнец Мордвинов.

Сергей обратил внимание на молодых тувинцев, кучкой двинувшихся к дверям. Они о чем-то спорили.

— А вы куда же, товарищи? — громко позвал их Сергей.— Бильчир, веди сюда своих парней.

— Нам можно разве? — рослый широкоплечий арат растерянно улыбался.

— Обязательно можно. Мальцев, запиши аратов.

С Бильчиrom он познакомился нескользкими днями раньше, когда тот приходил к старикам одолжить соли. Парень понравился ему. И он решил подружиться с ним. Теперь случай представился...

* * *

Этой же ночью штаб отряда постановил провести первую важную операцию. Для всех шестидесяти новописеченных красногвардейцев усинских винтовок не хватало. Зато их насчитывалось по две-три в любом доме кулака или купца. Надо было срочно изъять оружие и арестовать некоторых особо яростных контрреволюционеров.

Ровно в полночь в заранее намеченные дома нагрянули «гости» — вооруженные красногвардейцы и предложили хозяе-

вам сдать оружие. Тех, кто не подчинялся добровольно, обыскивали.

Сергей с Артемом Калинкиным подошли к высокому под крутой крышей пятистеннику купца Часова. На цепи загремел бегающий по проволоке громадный кобель. Кочетов, перемахнув через высоченный забор, пробрался к окошку, стукнул.

— Кого носит? — донеслось из-за стекла.

— Евсей Филиппыч, открай, мил человек. В гости к тебе пришел.

Купец сердито что-то забормотал, но, узнав Кочетова, пошел открывать. Он загнал кобеля в конуру, пригласил войти.

— Евсей Филиппыч, у тебя в горенике винтовочка висела. пожалуй ее отряду, — без предисловий сказал Кочетов.

— Оружия нету, — крутнул белой головой старик.

— Где же оно?

— Монгольцам, вишь, продал, а главное, — за бесценку.

— Не темни, дядя Евсей, — посоветовал Артем, поигрывая винтовкой.

— Крест святой, — побожился купец.

— А может, оно в подполье?

— Глядите.

— А ну, отвори.

От работницы Часова Насти Усковой Артем давно проводил, что винтовки и патроны купец хранит в подполье в специальном ящике.

Евсей, кряхтя, прыгающей рукой нашарил на полу стальное кольцо люка, откинул его.

— Посвети-ка, — Сергей нагнулся, стараясь разглядеть лестницу. В этот момент в горнице что-то легко стукнуло, и Сергей, не успев поднять головы, получил страшный удар в ухо.

— Васька-каратель! — заорал Артем, но от такого же по силе удара отлетел к стенке.

Васька черной молнией пролетел к двери и уже из сеней дважды выстрелил. Пуля опалила Сергею висок. Через минуту, сквозь тяжелый звон в ушах, он услышал под окном цокот копыт.

— Ушел, гад, — простонал Кочетов и, держась за голову, сделал пьяный шаг от темного зева подполья.

ГЛАВА 8

Крепкий атамановский мужик Егор Горбунов приехал с четырьмя работниками на широкую луговину под самым хребтом. Луговина была ровная, как стол, бешеные февральские ветры с вершин бросали на нее многослойное одеяло снегов. К весне долина обильно напитывалась талыми водами, зеленеть начинала рано и до позднейших холодов оставалась цветущей, радowała глаз буйнотравьем. Оттого здесь все лето и паслись мелкие отары скота окрестных аратов.

Закончив промерку и довольно ухмыляясь в пепельную бороду, Горбунов, стегнув хлыстом по густо сдобреным дегтем голенищам, крикнул работникам:

— Столби-и, ребяты, где указал.

«Конечно, придется нюхраниять годка два,— думал он, окидывая взглядом милое сердцу пространство,— потом обвыкнется, а земелька хороша, и главное, камней нету».

Работники уже вкопали по северной открытой меже несколько свежеотесанных столбов, когда из-за увала выехали два всадника. Они остановились и, видно, догадавшись, что здесь происходит, подсыпали к работникам.

— Эки, Горбунов-дарга! — поздоровался тот, что помоложе.

— Здоров будешь, Бильчирка, — солидно ответил Горбунов.

— Чего делаешь?

— Землицу эту ноне поднять падумал, да вот застолбить надыть.

— А где же мой отец, — Бильчир указал на старика-чопутчика, — и все здешние араты своих овец пасти будут?

— Об том у меня печали нету, — Горбунов упер большие кулаки в бока. — Земля божья, эвон под хребтом ее сколь! А своим аратишкам накажи, чтоб сюда скотишко большие не гоняли. День и почь стеречь буду. Застану — подстрелю. Слово мое твердое, сам знаешь.

— Халак, плохо, — покачал головой отец Бильчира.

— Мы жаловаться будем в Белоцарск, — сказал Бильчир.

— Ноне жаловаться некому, — хохотнул Горбунов. — В Белоцарске сидят шаромыжники и трепачи, кои раньше в каталяжках сидели. А возвратятся старые власти, они нас рассудят... И потом за эту землю я уже заплатил вашему князю Ажыкаю.

Расстроенный Бильчир в этот же вечер с отцом и еще двумя аратами прискакал к Кочетову и рассказал ему обо всем.

— Так, — заходил Сергей по комнате. — Давно у меня зуб горит на этого мироеда. Пондеревни, сволочь, самогонкой опили, оружия не выдал, а теперь еще... А ну, пошли.

Горбунов, только что вернувшийся с поля, ужинал с работниками. На столе властвовала полуведерная бутыль самогонса.

— Приятно ужинать, — сказал Сергей.

— Садитесь с нами, — пригласил хозяин, по, увидев вошедшего Бильчира и еще троих аратов, изменился в лице.

— Вот что, Горбунов, — отрезал Сергей, — завтра ты пойдешь в Совет и составишь просьбу на землю, которую ты занял самовластно.

Горбунов отложил ложку, сказал осипшим голосом:

— Лба не крешишь, как басурман, так хучь шапку в чужом доме сымай.

— Ты слышал меня?

— И слушать не хочу. Хто ты супротив меня? Так, шаромыжник, бродяжка. У те штаны вон и то казенные. А я мужик, я хлеб произвожу, меня любая власть поддержит.

— Ты гад и мироед,— взорвался Сергей.— Ты кровь вот из этих людей высасываешь,— указал на батраков.

Горбунов покачал головой.

— Митрий,— толкнул он локтем жилистого плотного мужика,— скажи, высасываю?

— Нисколь,— шмяно повертел носом Митрий.

— Я их кормлю,— перенес в наступление Горбунов.— А ты, Кочетов, ишо сопляк, чтоб такие веци понимать и говорить мне. Ступай отсель подобру и не трожь ни меня, ни мово поля.

«Ситуация сложилась пехорошая,— подумал Сергей.— Горбунов позорит и поносит не только меня, Кочетова, он чихает на все общество и на советскую власть. Уступить никак нельзя».

— Ну вот что, папаша,— собрав всю выдержанку, почти миролюбиво сказал он,— ты почему не сдал сружие?

Горбунов уловил помягчение в голосе Кочетова и принял это как знак слабости.

— Ну, ты, я вижу, наглец,— медленно поднялся он.— Митрий, придется вывести этих граждан, если сами не хотят уходить.

Митрий живо вышагнул из-за лавки, подскочил к Кочетову и, толкая его в грудь, забормотал:

— Слыши, удались от греха.

Сергей подал работника на себя, резко отвел плечо, и Митрий неожиданно вылетел в сепи, раскрыв лбом дверь.

— Прочь холуйские руки,— Сергей вынул наган.— Кулак Горбунов, ты арестован. Бильчир, посмотри за этим,— он указал на дверь, за которой ворочался незадачливый Митрий.

Притихшего Горбунова отвели в сельскую кутузку. А Кочетов, взяв Бильчира и еще двух бойцов из отряда, в ночь выехал в Белоцарск.

ГЛАВА 9

Когда долго думаешь о прошлом, то оно за-владевает тобой даже в снах. Мне, например, часто снится маленький убогий городок в пятьдесят домишек на берегу великой синей реки. В нем живут странные люди. Они и одеваются и думают совсем по-иному, чем мои современники. Они ничего не знают о Великой Отечественной войне, о Гагарине, о комбинате «Туваасбест». Они не могут этого знать, потому что живут в 1918 году.

Сегодня ночью проснулся, подошел к окошку и подумал: боже мой, откуда здесь этот город в огнях, с гирляндой ярких фонарей через мост?.. Ах да, его построили потомки!

* * *

Весна восемнадцатого была яркой и неожиданной. С пивьев Енисея хулигански загуливав нынешний ветер, раскачивая алый флаг на крыше бывшего комиссариата. Всю играло солнце. И вдруг все это сменилось хмуростью неба и гор, праздничными снегопадами.

В эту весну молодой Урянхайский Совет впервые по-настоящему взял власть в крае в свои руки.

С утра до вечера у подъезда светлого соснового дома гуртились люди, а в окнах его частенько почи напролет горел свет.

Степан Беспалов, двадцатидвухлетний председатель Совета, за эти дни до срока повзрослел на несколько лет. Скулы его и глазницы слегка обуглило тяжкими часами недосыпания, глаза стали колючими и жесткими. В муках и спорах рождались истины новой власти, подолгу бились члены комиссий Совета над каждым словом простого приказа или предписания. Никто из них раньше такими делами не занимался. А дел навалилось столько, что, казалось, не перелопатить их и за сто лет. Обнаружилось, что администрация Турчанинова в своем слепом стремлении во что бы то ни стало удержать власть не занималась и не хотела заниматься хозяйственными вопросами. Во всем огромном крае не было ни одной больницы, ни одной школы. Близились весенние полевые работы. Предстояла национализация собственности крупных предпринимателей, создание Советов на местах, вооружение отрядов Красной гвардии...

Прибыв в Белоцарск, Кочетов отоспал бойцов отдохнуть, сам, слегка умывшись, принялся ждать Беспала. Было еще рано. Сергей начал уже подремывать на широкой лавке, когда по лестнице, ведущей на второй этаж, заскрипели шаги, и из дверного проема в зал вошел тонкий худощавый юноша в черном френче, сапогах. В руке у него белела алюминиевая кружка. Увидав Кочетова, он остановился и спросил просто:

— Ну что, холодно?

— Есть маленько,— Кочетов поежился под шинелью.

— Печка ослабла,— объяснил странный ночной обитатель Совета и прошел к обитой крашеной жестью круглой печке с маленькой плитой. Громыхнув дверцей, он швырнулся в топку несколько поленьев, потрогал чайник.

— Ты что, истопником здесь?— спросил Сергей.

— Да нет, не совсем,— усмехнулся парень,— я в этом деле слабо разбираюсь.

— Сторожишь, значит?

— Вот это ближе к истине. Пойдем со мной чай пить, там и поговорим.

— Это можно. У меня шаньги есть,— согласился Сергей, вытаскивая из кармана заботливо собранный матерью сверток.

— Сто лет шанец не ел.

Они вошли в одну из комнат наверху. На столе в разжигаемом свете раннего марта утра как-то сиротливо, словно предчувствия торжество наступающего дня, мигал огонек керосиновой лампы.

Парень поставил чайник и кружку, протянул руку.

— Беспалов.

— Председатель?! — удивился Сергей.

— Председатель.

— Да не может быть! — Сергей слышал, что председатель молод, но чтобы так...

— Все может быть, друг,— засмеялся Беспалов.— Ты сам-то кто будешь?

— Кочетов я, из Атамановки.

— Слышал,— Беспалов с удовольствием оглядел ладную фигуру Кочетова.— Таким тебя и представляя.

— Так чего вы здесь без охраны? — загорячился Сергей. Он вдруг почувствовал такую открытость и незащищенность этого человека, что на мгновение ему стало не по себе.

— Ну, много чести для налетчиков,— отмахнулся председатель.

— Непорядок это,— непреклонно сказал Сергей.

— Сразу и сердиться, давай лучше чай пить.

До начала рабочего дня в Совете Кочетов выложил председателю все мучившие его вопросы и на каждый получил обстоятельный, ясный ответ. К концу беседы Сергей подумал, что чувствует себя перед Беспаловым школьником.

— Слушай, ты на фронте был? — спросил он.

— Не пришлось.

— А откуда все знаешь?

— Коммунист обязан много знать. Вот ты, к примеру, сейчас что читаешь?

— Я?

— Да, ты.

Сергея этот вопрос застал врасплох, и он почувствовал, что краснеет.

— Честно признаться, ничего.

— А читал что? — неумолимо допрашивал председатель.

— Ну, листовки кой-какие, брошюрки некоторые...

— Вот это плохо. Нам надо, дорогой Сергей, учиться, чтобы учить других. Давай-ка мы с тобой для начала прочтем вот что,— он снял с полки несколько книг, подал Сергею. «Манифест Коммунистической партии», — прочел Сергей на обложке

тонкой книжицы в плотном переплете. А на другой — «Государство и революция».

— Договоримся так. Ты выпишешь в тетрадку слова, которые тебе будут непонятны, а в следующий твой приезд мы постараемся их вместе раскусить.

По лестнице загрохали шаги, в комнату вошли двое мужчин. Вглядевшись, один из них, высокий, молодцеватый, шагнул к Кочетову.

— Здоров, Сергей!

— Семка? Дезертир?

— Он самый. Только я теперь не дезертир, а член крайсовета Семен Галкин. Так-то, парень.

— А это мой заместитель Михаил Терентьев, — представил Беспалов второго. Грузный лысеющий человек как-то нечаянно улыбнулся Кочетову и осторожно пожал его жесткую, словно деревянную, ладонь.

Сергей, беседуя с разными людьми, пробыл в Совете почти весь день. И под конец зашел к Беспалову еще раз — попрощаться.

— Все, что ты до этого делал в своей Атамановке, — напутствовал его новый друг, — в основном правильно. Только крепко запомни вот что: кулак и наган — еще не все. Мы должны действовать и убеждением...

Словно напившись живой воды из тайного родника, не чувствуя усталости, окрыленный, возвращался Сергей со своими товарищами в Атамановку. И, вспоминая напутственные слова Беспалова, усмехался и крутил головой: в том, что наган еще не все, ты, кажется, неправ, председатель, и я тебе это докажу при следующей встрече.

Не ведал Сергей, что следующей встречи не будет, что всего через несколько дней пули мятежников оборвут жизнь юного руководителя первого краевого Совета Тувы Степана Беспалова.

ГЛАВА 10

Из манифеста военного диктатора.

«Всероссийское временное правительство распалось. Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу Александру Колчаку.

Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности: главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка...

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал Колчак.
18 ноября 1918 г.»

Высокие двери темного дуба с царскими гербами растворились. Молодой лошеный подполковник сделал два танцующих шага по ковру, и пропел тренированным голосом:

— Господин Турчанинов, адмирал ждет вас!

Турчанинов вскочил, стараясь стереть с лица тревогу. Ноги у него вмиг сделались деревянными, а душа ухнула куда-то впиз. В приемной бывшего генерал-губернаторского дворца было полно военных, сидели даже два генерала, какие-то разнаряженные дамы. И то, что его, Турчанинова, незврачного господина в несвежем штатском костюме, вызвали первым, заставило присутствующих посмотреть на него с интересом. Он напряженно улыбнулся и, как в воду, шагнул в кабинет. То, что его прямо из вонючей камеры минусинской тюрьмы, где он ожидал революционного суда за свои дела в Урняхе, привезли в Омск, и радовало, и пугало. Радовало потому, что с Советами, как он и предвидел, было покончено и никакого суда, конечно, не могло быть, а пугало тем, что адмирал мог спросить, почему не удержали власть в Урняхе в марте.

Колчак писал за огромным на львиных лапах столом и не обратил на вошедшего ни малейшего внимания. Турчанинов, робко встав у двери, жадно взглядывался в этого человека, объявившего себя спасителем России. Высокий костиистый лоб, породистый нос, золотые дубовые листья в петлицах черного кителя произвели сильное впечатление. «Этот сможет», — с трепетом подумал Турчанинов. Наконец, адмирал оторвался от бумаг, поднял узкое лицо. Серые глаза смотрели тяжело и устало. Турчанинову сделалось не по себе.

— Господин Турчанинов из Урняхайского края, — заглянув в папку, напомнил адъютант.

— Да, да, — кивнул адмирал и, неожиданно легко поднявшись, протянул руку. — Действительный статский советник Александр Павлович Турчанинов — не ваш родственник?

— Отец, господин адмирал.

— Знавал родителя вашего, настоящий русский дворянин, достойнейший человек... — Колчак выпел из-за стола, Турчанинов почувствовал слабое пожатие его большой пухлой руки. — Думаю, теперь, в час тяжких испытаний, выпавших на долю русских людей, он непременно был бы с нами.

Перед глазами Турчанинова всплыл образ отца, столичного барина, рьяного деятеля союза Михаила Архангела, люто ненавидевшего революционеров всех мастей.

— Так точно, ваше превосходительство, — радостно ответил он.

— Я вас потревожил, господин Турчанинов, чтобы просить принять часть того тяжелого бремени, которое взвалило на меня Отечество. В святом деле освобождения России от большевистской заразы важно иметь хорошо обеспеченные тылы... — Адмирал усадил собеседника в кресло, сел сам. От такого начала Турчанинов успокоился.

— С брожением и беззаконием покончено, по крайней мере, у нас в Сибири. Сейчас нужна твердая власть в центре и на местах. В вас я вижу человека, который может стать моим наместником в Урянхаяе, этом важном пограничном районе, — адмирал подопнул к карте и ткнул длинным пальцем в светлокоричневое пятно Урянхая.

— Смогу ли, ваше ...ство, — одеревеневшими губами проговорил Турчанинов и тут же испугался своих слов. «Смогу, смогу», — хотелось крикнуть ему во весь голос.

— У Керенского могли, а у меня почему же? — остро глянул адмирал. — Мне докладывали, — заглянул он в папку, усердливо подставленную адъютантом, — что вы учились в Берлинской королевской академии, пытались вести научную работу. Это похвально. Я ведь и сам, знаете ли, мечтал посвятить себя науке. Но увы, судьба распорядилась по-иному. — Он усмехнулся. — И все-таки одним из первых мероприятий моего правительства явилось воссоздание Российской Академии наук. Я уверен, что мы с вами еще заслужим в ней звания почетных академиков. Но для этого нам надо уничтожить советскую чуму, которую раздул этот симбирский адвокат Ульянов или как там его...

Турчанинов почувствовал, как тугая волна легко подхватила его и понесла над землей. Он смотрит вниз, — там бегают, суетятся маленькие людишки, мелкими огоньками мерцают их никчемные души, любую из которых он может раздавить сапогом. Там, внизу, — Урянхай. В недрах его лесов ждут неслыханные золотые запасы, соболь, белка, нарядные бока Саян укрыты шерстяными одеялами овечьих отар. Уж теперь-то Турчанинов не упустит власти. Вот перед его взором уже не только Урянхай, но и вся Сибирь. Губернаторское кресло, награды, золото, шикарные дамы, тосты. Его возносит выше, туда, где престольными огнями сияют вечные столицы России — Москва, Петроград...

— Наша главная задача, — донесся до него голос Колчака, — задушить большевизм. Для этого все средства хороши, я особо подчеркиваю это. Нам гарантирована поддержка союзников, великие державы с нами. Кстати, — обратился он к человеку, неподвижно сидевшему в глубине кабинета, которого Турчанинов сразу и не заметил, — прибыл ли французский посол, господин Могра?

— Прибыл, Александр Васильевич, сегодня вы с ним встретитесь...

— Итак, я вас облекаю чрезвычайными полномочиями, господин Турчанинов. Вам будет придано воинское подразделение. От вас требуется любыми, еще раз подчеркиваю, любыми средствами обеспечить порядок и спокойствие в крае, не прекращать, а увеличить добычу золота, мехов. С деталями познакомит председатель совета министров господин Вологодский, которого я вам и представляю. С богом!

Сидевший в глубине кабинета человек встал, важно кивнул большой головой и предложил Турчанинову пройти с ним...

Все это и другие омские впечатления, как сладкий сон, Турчанинов вспоминал, коротая длинную дорогу в Белоцарск. Особенно дивно было вспоминать, как сразу же после беседы с Вологодским и управляющим делами колчаковского совета министров Гинсом, которые снабдили его деньгами и инструкциями, он прочитал подписанный Колчаком приказ о своем производстве в генерал-майоры. Принимая поздравления министров, он щипал себя за мочки уха: не сон ли? В такие чудесные превращения после тюрьмы и страха было действительно трудно поверить, до тех пор, пока два казака не внесли в номер гостиницы, где он жил, большие узлы с обмундированием. Здесь были и щегольские, спищие как на заказ сапоги тончайшего хрома с высокими каблуками, и бриджи с генеральскими лампасами, и папаха с красным верхом. Вечером, натянув все это на себя, новоиспеченный генерал прошел в ресторан. От взглядов, которые бросали на него встречные дамы, приятно томилось сердце, он становился прямее, сам себе казался стройным и ловким. В зале ресторана, переполненном до отказа офицерами, на него тоже обратили внимание. Офицант, еще вчера равнодушно проходивший мимо, стремглав бросился к его столику, согнулся в услужливом поклоне.

— Чего изволите-с, ваше превосходительство?

— Попал вон, болван,— с наслаждением сказал Турчанинов, мстя ему за вчерашнее равнодушие.

— Как прикажете-с.

— Впрочем, принеси-ка... — И генерал заказал бутылку своего любимого французского шампанского, крепче которого вин не признавал.

* * *

Тихим осенним вечером жители Белоцарска с удивлением таращились на невиданную процессию. С парома на главную улицу медленно въехал отряд казаков на рослых нездешних конях. Впереди, красиво избоченясь, отбросив полу длинной шинели с красным подкладом, покачивался в седле узкоплечий человек. Чуть приотставая от него, как влитые в седла, двигались два угрюмых забайкальца. В середине отряда стучали колесами по камням несколько тяжело груженых телег.

В редкой толпе любопытных горожан выделялся стройный белокурый юноша в форменном кигеле русского географического общества.

— Алексей Александрович! — вдруг радостно закричал он, узнав в генерале своего бывшего сослуживца Турчанинова, и бросился навстречу. — Боже мой, вы ли это? С возвращением!.. — Юноша махал длинными руками, пытаясь ухватить всадника за полу шинели. Но генерал даже не повернул лицо в его сторону.

— Господин Турчанинов, да что же вы, — наконец удивленно завопил юноша, и голос его сорвался на мальчишеский фальцет, — это же я, Ермолов...

Но и на этот раз призыв его не был услышан. Тогда плоскоголовый мощный забайкалец проворно перегнулся с седла и огrel назойливого парня плетью. Это произошло настолько быстро и неожиданно, что жители Белоцарска с раскрытыми ртами испуганно попятались от дороги. Теперь многие узнали Турчанинова. А сотня колчаковцев невозмутимо и деловито проследовала дальше, туда, где стоял особняк бывшего комиссара Временного правительства.

Так осенью 1918 года в Урянхай пришла «твердая» власть «верховного правителя».

ГЛАВА 11

Постановление 11 июня 1919 года

Рассмотрев протокол опроса по делу большевистских действий, совершенных Порфирием Степановичем Тараном и принимая во внимание невозможность препроводить преступника и охранять его долго на месте ввиду происходящих событий, Порфирия Степановича Тарана подвергнуть расстрелу, о чем и донести немедленно по телеграфу министру внутренних дел.

Управляющий Урянхайским краем
А. Турчанинов.

Из угла в угол камеры, сунув руки в карманы, как мяч, катался грязноволосый шумный толстяк. В коротких пузыряющихся штанах, желтых штиблетах, черном галстуке-бабочке, он походил на разжалованного артиста. Это был красноярский спекулянт Налимыч, взятый колчаковцами по подозрению. Он веселил камеру.

«Ах ты, милочка моя,
душечка любезная,
по тебе не раз ходила
тросточка железная», —

пел он очередную частушку и выделявал своими штиблетами немыслимые кренделя. В углу на полу играли в самодельные карты подобные Налимычу «страдальцы» миусинской тюрьмы — воры, барыги, налетчики. Большинство из них чувствовали себя здесь вольготно: колчаковцы были слишком заняты большевиками, чтобы всерьез обращать внимание на уголовников.

— Нутром чую, братцы,— ликовал Налимыч,— стот Колчак — свой парень. Уж больно он ловко советчиков рассчитал. Вот увидите, жисть наладится, онять частный капитал взыграет, и будем мы иметь дело с состоятельным клиентом... Эх, умру за идею! — он поднимал руки вверх и снова шел по кругу, подергивая плечами, и слова пел на мотив «Цыганочки»:

«Моя милочка красива,
шибко ласковая,
все червоицы из кармана
повытаскивала».

Лежка на нарах, положив подбородок на кулаки, на этого шута глядел плотный молодой парень. Черная косоворотка туго облегала плечи, серые глаза смотрели открыто и улыбчиво. Но в красивом тонкого письма лице без труда угадывались задумчивость и тоска. В камере его знали как «работягу», плотника, попавшего в тюрьму случайно, по глупости. Уже третий месяц он сидел вместе с уголовниками, о себе особо не распространялся, да никому это и не было интересно. Но допрашивали его чаще других.

— Ну, расскажи нам, Кочетов, еще раз,— говорил тощий редкозубый следователь тюрьмы эсер Добрицкий,— как тебя арестовали?

— Прихожу я, значит, в Григорьевку,— заученно начинал Сергей, стараясь как можно глупее улыбаться.— Там, сказывали, ваши власти острог будут рубить, вот думаю, работа. Переночевал, значит, у знакомца своего Дмитрия Лешева, а тут ваши нагрянули, заарестовали меня как опасного бандита. А я вам говорю, ваше благородие, что это поклеп бывшего тестя моего Кузнецова, старовера тамошнего.

— Это мы уже слышали,— говорил Добрицкий, улыбаясь. Ему почти нравился этот обаятельный парень. И если бы не сильное подозрение, что раньше он вел советскую работу в Уриахе, он бы его давно отпустил.— Ты мне скажи, голубчик, откуда ты взялся в Григорьевке?

— Пришел из Красноярска.

— А еще раньше где был?

— Служил в Псковском гренадерском полку! — отsekанил по-солдатски Сергей.

— Слушай, Кочетов, не валяй ваньку. Вот показания тво-

его бывшего тестя Кузнецова о том, что ты после демобилизации жил в Урянхае и создавал там Советы.

— Гражданин следователь, он же мне мстит за то, что я его дочь когда-то убегом от него увел. А в Урянхае я гостила у родителей, какие там Советы!

— А где твои документы?

— Говорил же вам, что ваши казачки все начисто отмели, встретили на дороге и пустили чуть не голого.

— Ох и подлец же ты,— крутил головой следователь.— Жихарев,— кричал он в смежную комнату,— а пу помоги...

— Мозги освежить?— доносилось оттуда, и неправдоодобно здоровенный детина подходил к заключенному. Был он умело, но однажды не успел ударить Кочетова, Сергей опередил и изо всех сил двинул здоровьяка в солнечное сплетение. Ничего подобного здесь никогда не происходило, и палац с удивленным видом стал приседать на пол, держась за живот. Добрицкий вскочил, выхватил пистолет и выстрелил в потолок. Тотчас же в комнату влетели трое солдат. Сергею завернули руки так, что у него потемнело в глазах, избили до потери сознания, бросили в камеру. Но, несмотря на страдания, он упорно продолжал играть роль простодушного плотника. Он понимал, что твердых улик у колчаковцев нет, иначе они давно расстреляли бы его, как это случилось со многими большевиками. Но и в камере скоро почувствовали его настоящий характер и руку.

Мешочниками и ворами в камере верховодил огромный рыжий уголовник по кличке Утюг. Ему беспрепятственно отдавали лучшую часть передач с воли, он никогда не посыпал паразиши. Его покой, как верные псы, охраняли два развязных вора «в законе» Цыган и Филя. Этим троим никто в камере не смел перечить. Кочетов не раз наблюдал, как они издевались над соседями. Как-то под вечер в камеру втолкнули худенького, в старом пиджачке и сплошных сапогах паренька. Он встал на виду у всех, потирая ушибленный надзирателем бок.

— Ты кто?— спросили его картежники.

— Василий я, Рыбаков.

Ответ развеселил уголовников.

— Судя по твоей постной вывеске,— поднялся ему навстречу жирный Цыган,— ты или мелкий щипачишка или... плотник, как вот этот,— он указал на Сергея, по обыкновению лежащего на нарах, положив голову на кулаки. Цыган, сплюнув в сторону, оглядел повенчаного с головы до ног, покачал бритой головой.— И взять-то с тебя нечего... Ну, лады, будешь парашу таскать заместо его,— он показал на Утюга.

— Поди сюда,— в свою очередь приказал пареньку Утюг.— Погодите, братцы,— оживился вдруг уголовник,— я ж эту гниду в Союзе молодежи видел,— с винтовкой маршировал...

Все с интересом посмотрели на новичка. Заключенные знали, что членов Мицусинского Союза молодежи колчаковцы расстреливали без суда, и не сомневались, что парень начнет отказываться. Но он вдруг решительно подошел к Утюгу и сказал абсолютно спокойно:

— Ты Союз не марай своим поганым языком, испана.

Утюг опешил, и камера зловеще затихла.

— Цыган,— наконец процедил главарь,— втолкуй этому пикелету, с кем он имеет дело и что здесь не коммуня. Да сильно не бей, сдохнет испароком...

Цыган, закатив глаза, вихляя задом, двинулся к жертве. И тогда, переключая на себя внимание арестантов, с пар раздался пегромкий голос:

— Оставьте парня в покое...

Утюг повернул голову и сказал с усмешкой:

— Филя, что это фраера сегодня раскинутились? Хто это вякнул?

— Я!— Кочетов, всегда молчаливый и сумрачный, мягко спрыгнул с пар, и все обратили внимание, какие у него мощные плечи и грудь.

— Да тебе что, жить...— начал было Утюг, но не договорил. Страшный молниеносный удар в лицо отбросил его голову к стене, и многопудовая туша медленно поползла с привинченного стула на пол. На выручку атаману метнулись Цыган и Филя, но плотник резким движением выдернул из-за голенища клинок и прыгнул им навстречу. Цыган вмиг изменил направление своего броска и, как на крыльях, взлетел на пары. Филя тоже остановился, а потом, подбежав к двери, что было мочи забарабанил в ее кованую обшивку, заорал:

— Режу-ут, убива-ают! А-а!

Почти сразу же громыхнул запор, дверь открылась, дюжий надзиратель пырнул в камеру.

— У него перо, нож!— трясущейся рукой показывал Филя на стоявшего посреди камеры Кочетова.— Чуть меня не пришил...

— Врет, гад,— спокойно возразил Сергей.

Надзиратель без лишних слов лапнул заключенного по карманам, из одного сразу же извлек узкую костяную... расческу, повертел ее в руках.

— Подарок, гражданин надзиратель,— Кочетов мягко отнял вещицу.

— Не воспрещается,— сказал надзиратель.— А ты чего орешь, дубина,— и Филя получил звонкую затрещину. Камера дрогнула от дружного хохота.

Когда надзиратель вышел, Сергей набрал в рот воды и брызнул в лицо лежащему на полу Утюгу. Тот медленно открыл глаза.

— Ты меня слышишь? — жестко спросил Сергей.

— Ох, падло,— простонал Утюг, держась за голову. Лопнувшая кожа меж бровей кровоточила, глазницы зацветали фиолетовой темнотой.

— Этого парня ты больше не тронешь и при мне и без меня. Иначе... — Сергей пошел к нарам. Вслед ему почти с уважением глядели Цыган и Филя.

О парне Сергей сказал потому, что вскоре не смог бы его защищать. Миусинские товарищи сообщили: завтра Кочетова повезут на работы в город, охранщик будет свой.

А еще через день Сергей, одетый в теплые стеганые брюки и фуфайку, глухими тропами уходил в таежные Саяны, откуда грозным шквалом катилась на колчаковский Минусинск партизанская армия Щетинкина и Кравченко. Впереди его ждали новые испытания и бои во имя революции.

* * *

Не раз уже было замечено, что на кладбище легко думается. Идешь среди маленьких неизвестных надгробий со звездочками, крестами, венками, представляешь живыми людей, похороненных здесь. Торопились, дружили, враждовали... Вот этот под основательным, напоминающим русскую печь обелиском, наверное, копил деньги. Похоже, часть из них благодарные наследники выделили на памятник. Тот, под высоким рубленым крестом, молился и постовал. Два молодых пилота, с пропеллерами на могилах, любили своих женщин и радовались на зеленую землю с высоты.

Идешь по старому Кызылскому кладбищу, и сладкая тревога осторожно трогает сердце: ты жив, тебе дано право оценивать следы ушедших. Ну а сам-то ты какие следы оставил идущим за тобой?.. Как делаешь свое главное дело?

Человек, на могилу которого я хожу, делал свое Дело беззаветно и преданно. Люди вспоминают его с благодарностью. Я не видел его живым, знаю только по архивным документам, рассказам близких и не очень близких ему людей. И оттого его жизнь останется для меня не только высоким примером, но тайной, которую я буду разгадывать всегда.

Вот, кажется, мы и пришли. Серая «тумбочка» с красной звездой на вершинке. И на ней — всего одно слово: К О Ч Е Т О В:

Анатолий ЕМЕЛЬЯНОВ

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Из повести в стихах

«Взвейся, знамя коммунизма,
над землей рабочих масс!
Нет, ни боги, ни святые
не спасут нас в этот час,
только красные герои,
только красные орлы.
Строй за строем, цепь за цепью,
пролетарский полк идет...»

Никак не удалось установить мне,
кто эту песню сочинил.

Впервые
мальчишкой лет пяти ее я слышал
в пардоме — так в деревне называли
в те годы сельский клуб.

Сплотившись в круг,
ее задорно комсомольцы пели.
Я как сейчас их вижу — комсомольцев
тех лет: девчата в косынках красных,
в белых блузках,
в коротких юбках —
и парней, по-разному одетых,
кто в рубахе,
кто в гимнастерке —
но не это
их отличало от других людей.

В их яростных и звонких голосах,
в их строгой и подтянутой осанке,
в глазах, задумчивых и даже
как будто отрешенных от всего,
что помешать могло их песне,
была такая собранность и сила,
такая непреклонная решимость,
что в зале все затихло —
только песня
лилась неудержимо и свободно.

С восторгом я смотрел на комсомольцев,
и чем особенно был потрясен —
их абсолютным отрицанием бога.
У нас в дому еще была икона.
С нее старик, косматый, с бородой,
с лицом худощущим, узким, длинным, скучным,

большими неподвижными глазами,
смотрел на всех в упор
и, неизвестно кому,
грозил костлявым, длинным, узким пальцем.
С жутью смотрел я на него,
а больше
старался не смотреть.
Но бабка утверждала,
что он все видит и все знает,
и накажет за баловство.
Оставшись как-то дома
один, я попытался отцепиться
от строгого назойливого взгляда,
в упор направленного на меня.
Но тщетно:
куда бы я ни шел и что бы ни делал,
бог, даже не ворочая глазами
и головой,
все время цепко и неотступно
следил за мной.
И все грозил мне пальцем.
В страхе
залез я под кровать,
забился в угол,
но, выглянув оттуда, ужаснулся:
бог на меня смотрел еще суровей
и все грозил своим костлявым пальцем.
«Да, видно, бабка права,— подумал я,—
и�ь какглядит! Возьмет да и накажет
за что попало...»
Затаившись,
боясь пошевельнуться,
так и просидел
в углу я, под кроватью,
покуда мать с работы не пришла.
Она ругала бабку и хотела
икону снять, но бабка не дала.
А бог смотрел, и злился, и грозил,
должно быть, матери костлявым пальцем.
«Еще накажет мать!»— подумал я.

А вскоре мать повесила в простенке,
над окнами,
едва не рядом с богом,
другой портрет. Изображен на нем
был человек
почти что без волос, но с бородой,
с прищуренными добрыми глазами.

Мать называла Лениным его
и объяснила мне,
что он сильнее бога
и что теперь не должен я бояться:
Ленин
не даст меня в обиду.
Я поверил,
но долго, все-таки еще с опаской,
поглядывал на темную икону.

«Вот если бы я комсомольцем был —
стоял бы с ними вместе
теперь в кругу, и пел,
и ничего на свете не боялся!» —
пришло мне в голову.

А комсомольцы,
недолго пощупив и посмеявшись,
запели песню новую.

Она
была протяжной
и одновременно
торжественной, и гордой, и печальной:

«Надел шинель, кольчугу серую,
на голове его шишак...
Его глаза — орлино-смелые,
а сердце — твердое, как сталь.
Он выкован в горнистой кузнице,
он — знамя вольного труда...
Его глаза — орлино-смелые,
а сердце твердое, как сталь.»

Немало времени с тех пор прошло,
немало песен довелось мне слышать,
веселых, грустных, строевых, застольных,
и разные певцы их исполняли,
но, кажется, не слышал ничего я
прекраснее.

Быть может, потому,
что сильное волненье охватило
поющих.

Это было видно
по их глазам, горящим, возбужденным,
по тому,
как пели они ее, — всей грудью,
отдавая песне
весь жар души.

И это их волненье
передалось всем тем, кто песню слушал.

Деревня
еще болела незатихшей болью
совсем недавних, незаживших ран.
Еще немало мучилось людей
тоской по сыновьям, отцам и братьям,
в деревню не вернувшимся,
погибшим
от колчаковских и кулацких пуль.

Мир даже для меня
уже тогда, в моем сознанье детском,
раскололся,
отчетливо и прочно, навсегда,
на красных (мы, мальчишки,
их называли — «наши»)
и на белых — «не наших».

Из окна нардома
был виден темный холмик
с пирамидой
и с красною фанерною звездой.
Под ним лежали наши...
В гимнастерках,
в шинелях серых,
в краснозвездных шлемах,
с тяжелыми винтовками в руках.
Лежат и слупшают,
как комсомольцы о них поют,—
так думал я тогда.
Их знала вся деревня.
И мать рассказывала мне о них:
узнали наши,
что Колчак разбитый
пройдет через деревню,
и решили
дать колчаковцам бой.
Отряд собрали — человек семнадцать.
Одеты — кто в чем,
вооружены — кто чем:
дробовики, берданки,
кое у кого винтовки были.
Недалеко,
в большом селе торговом,
воспрянувшее духом кулачье
встречало колчаковцев хлебом-солью,
а в нашей деревушке бедняки
решили встретить пулями да дробью.

Устроили засаду у ворот
поскотинь, на самом въезде —
затянули и ждут:
вот-вот появится Колчак разбитый.

И появился...

Среди снегов, склоняющих белизной
и чистотой нетронутой
и безмятежно
блескивших под пеярким солнцем,
черная змея
ползла,
извиваясь,
по дороге:
сначала чуть заметной, тонкой ниткой,
потом все больше набухала и росла.
И вот уж можно было различить
коней, едва передвигавших ноги,
понурыми мотавших головами,
занедевших и покрытых паром;
людей, обвисло
болтающихся в седлах
и пешком бредущих,
волочащих кое-как
оружие:
винтовки, пулеметы
и даже пушки...

Был ли смысл какой-то
для горстки храбрецов
ввязаться в бой,
предвидя неизбежность пораженья?
Должно быть, был, раз начали они,
с ожесточением,
бить по колчаковцам.

С какою верой надо в бой идти,
чтоб счастье безумство мудрости достойным!
Как надо презирать, как ненавидеть
врага,
чтоб смерть в бою неравном, безнадежном,
считать достойней и прекрасней жизни,
пока враг жив и ходит по земле!

Внезапность и напористость удара
хоть небольшой, но все-таки урон

заметный колчаковцам причинила,
а главное — дала понять врагу,
что не хозяин он,
не гость у нас в Сибири.

В бою погибло девять.
Остальные,
рассыпавшись,
укрылись, кто как мог —
в лесах, на нашиях и в самой деревне.

...СгуЩалась ночь за окнами народома
стеной, непроницаемой и черной,
но узкая закатная полоска
еще горела долго за рекой.
А комсомольцы, круг сомкнув теснее,
запели песню о бойце погившем.
Печальная, задумчивая песня
вопла в сердца людей, сидевших в зале,
и жгучей грустью в них отзывалась.
Вот и полоска узкая сгорела,
и стала темнота еще плотнее,
и в тополях возле могилы братской
холодный ветер глухо запчумел.

В тот год в деревне нашей появился
уполномоченный из Красноярска.
В потертой черной кожаной тужурке,
в фуражке, тоже кожаной и черной,
в автомобиле через всю деревню
промчался он, вздымая клубы пыли,
и вскоре на пригорке, возле церкви,
в то время приспособленной под наш
народный дом,
собрался митинг.
Речь держал приезжий,
партийный,
по фамилии Боев:
— Не для того боролись мы, — сказал он
и указал на братскую могилу, —
чтоб жить, как раньше жили —
в одиночку,
в обнимку с нищетой и темнотой.
Теперь пришла пора объединиться
всем беднякам,
чтоб сообща трудиться
в одном хозяйстве.

Мужики сначала
молчали, самокрутками дымили,
прикидывали, что к чему и как.
Потом враз загадели,
кто в поддержку,
а кто и против.
Но Боеv нисколько
не торопил:
— Пусть думают, — сказал.

С неделию прожил он в деревне нашей.
Квартировал у нас,
и я к нему
мальчишним сердцем крепко привязался.
— Что, Колька, хочешь посмотреть Москву? —
смеясь, он спрашивал
и, подхватив меня
большими, твердыми, шершавыми руками,
подбрасывал под самый потолок.
Он был высок.
Мне жутковато было
взлетать над ним под потолок и падать,
и вновь взлетать,
и, напряженно скавшись в комочек,
стиснув зубы, я молчал,
боюсь хоть как-то показать свой страх,
заплакать или вскрикнуть,
и тем самым
упасть в его глазах.
Еще успел он научить меня
отчетливо и с нужным выраженьем
читать стихотворенье наизусть,
должно быть, важное, — но для меня
не все понятно было в нем,
хоть наловчился
я звонко проговаривать слова.
Одна лишь строчка в памяти осталась
от тех стихов — о том, что «красной цепью
мы опояшем наши города».

Тогда ни разу в городе я не был.
Он представлял в моем воображенье
похожим чем-то на деревню нашу,
но с белыми высокими домами,
среди полей бескрайних и лесов,
овхваченных широкой алой лентой.

— Концерт сегодня вечером в пардоме,—
сказал Боев.— С артистами не густо,
придется, Николай, тебе прочесть
стихотворенье — что мы, зря старались?

Боева я ослушаться не мог,
хотя и представлял довольно смутно,
что значит выступление в концерте.

В пардоме сначала оробел:
уж очень много собралось людей,
и среди них немало незнакомых.
Но рядом мать была в косынке красной,
и я, прижавшись к ней и оглядевшись,
переборол волнение, подумав,
что, может быть, Боев и пошутил,
и выступать мне вовсе не придется...

Поднялся занавес. Хор, небольшой
и в основном из местных комсомольцев,
стоял на сцене. Прямо перед ним
и к зрителям спиной, что было необычным
для всех сидевших в зале,
торчал прямой высокий человек.
В руке держал он **что-то**,
похожее на вилку, только рожек
на этой вилке было два.
Все удивлялись,
но смотрели молча,
что будет дальше.
Человек постукал
зачем-то вилкою о кисть руки
и, к уху поднеся ее, послушал,
скосив глаза куда-то вбок,
и что-то чуть слышно промычал.
Затем, повыше подняв ее, уже для хора что-то
сухово и распевно протянул.
И наконец, уверенно, согласно,
виначале тихо и щемяще грустно,
затем отчаянно, непримиримо грозно,
в зал песня полилась о коммунарах,
как они сражались
с наемными врагами, и попали
в жестокую расправу, и копали
глубокую могилу для себя...

Еще звучала песня, а Боев
уже шепнул мне на ухо:

— Пора.
Пошли на сцену!
Я за ним готов был
в огонь и в воду, но порыв горячий
поостудила мать:
— Одет-то он не так,
как надо бы,— и, беспокойно хмурясь,
хотела снять пальтишко, но подним
рубаха и птаны не лучше были...
Подумав, с головы сняла косынку
и ею подпоясала меня,
как кушаком:
«все попарядней будет».
Легонько подтолкнула: ну, иди! —
и я пошел, робея, за Боевым
из зала темного на встречу свету
и песне о героях-коммунарах,
никак в своем сознанье не отметив
прекрасный этот миг рожденья первой
причастности, еще наивной, детской,
к главнейшей сути всех событий мира
и жизни человека на земле.
По залу просто оробевший мальчик,
далекий от высоких идеалов,
шел за надежным, сильным человеком.
Ручонкой детской, как за прочный якорь,
держался он на всякий случай крепко
за материну красную косынку.
Не знал он, что после концерта, сразу,
Боев, довольный очень выступлением,
уедет на соседнюю заимку
и бросит на прощанье, улыбаясь:
— А хочешь, Колька, посмотреть Москву?
Что перед утром вспыхнет за деревней
невиданное зарево —
там, на заимке,
в избушке, окруженней кулаками,
Боев один перванный примет бой.
А утром привезут его в телеге,
и будет он лежать в ней, отчужденный
от Кольки, от всего, что есть на свете,
с лицом, неузнаваемым и страшным,
в ожогах, в копоти, в кровоподтеках
от кованых кулацких каблуков.
И Колька, протиснувшись через толпу
истощно воящих баб и мужиков, молчащих
растерянно, прильнет дрожащим телом
к безжизненно свисающей руке

и крикнет:
— Нет! Неправда! Он жив!
Пощупайте — вот руки,
теплые, живые руки!
Послушайте, как бьется сердце!
Даже через тужурку слышно!
Живое сердце!
Сапоги снимите,
скрее!..
Мужики, переглянувшись,
послушно стянут саноги с Боева,
и Колька,
внимательно ощупав каждый палец,
вновь подтвердит:
— И ноги — живые, теплые.
Он жив!..

И до конца
до самого, до жестянной звезды
над красной деревянной пирамидой,
все будет казаться Кольке,
что Боев очнется,
поднимется и, улыбнувшись, скажет:
— А хочешь, Колька, посмотреть Москву?

...В деревню раз в неделю приезжал
киномеханик, привозил картины.
До вечера тогда возле нардома
крутились мы, заглядывая в окна.
Там, внутри, два-три счастливца,
такие же, как мы, мальчишки,
но неизвестно по каким причинам
попавшие в избранныки, трудились
с весьма серьезным видом.
К одной стене пододвигался стол
и на него торжественно и ловко
киномеханик водружал прибор
загадочный, необычайный —
он нам живым казался существом,
большеголовым, одноглазым, умным,
почти что фантастическим.
А рядом,
на низенькой скамейке, прикреплялась
«динам» —
так деревня величала
в ту пору электрический мотор.
Он приводился в действие вручную
при помощи тяжелой рукоятки.

Затем киномеханик извлекал
из ящика большую простыню.
Она была не очень чистой
и не очень гладкой,
но необходимой
деталью в этом сложном агрегате.
Поэтому и на нее
распространялось наше уваженье.
На противоположной стороне
ее развесивали на стене.
Подчас и нас просил киномеханик
куда-то сбегать, что-то принести
иль подержать, и мы с большой охой,
с готовностью поспешно выполняли
разнообразнейшие порученья.

Вот, наконец, и вечер наступал.
Почти что вся деревня собиралась
в нардом.
Нетерпеливо
в сторонке ждали мы,
когда последний зритель
пройдет, и тут гурьбой бросались к двери,
выстраиваясь друг за другом.
И вновь киномеханик выбирал
счастливцев, добровольцев среди нас
крутить «динаму».
Как залог,
как поручительство работы честной,
вручали мы ему свои шапочки
и, с видом независимым и гордым,
входили в зал.
Конечно, это было нелегко,
не так-то просто — прокрутить полчастка
то правою, то левою рукой,
одновременно вытирая пот,
обильно покрывавший лицо
и застилавший глаза,
и неотрывно вбирать в себя картины,
мгновенно, как по волшебству,
сменявшие одна другую.
В них тоже, честно и непримиримо,
делился мир на «наших» и «не наших».
Там мы, с отцами вместе,
прошли Гражданскую — в пинелях серых,
в краснозвездных шлемах,
с тяжелыми винтовками в руках.

Юрий ВОТЯКОВ
ЮНОСТЬ ВЕКА
И з п о э м ы

СЛОВО ПОГИБШИМ
(Вместо пролога)

Людям — наше доверие.
Людям — наши мечты.
Память созвездием северным
будет в ночи светить.
Нас, что гибли в двадцатых
от сынишка и пуль,
в ваших, семидесятых,
почетный хранит караул.

1

Я не сын твой, степь,— я пришлый.
Я родился в кедрачах.
Я в твои просторы вышел
юность века повстречать.

2

Несутся ветры по равнине
за табуном коней.
Их след слегка горчит полынью
и запахом нагревшихся камней.
Их след ведет за горизонты,
туда, где спят века в курганах
и маки, жгучие, как раны,
с полынью шепчутся о чем-то.
Там, в ковылях седых, легенды
живут, как воины в походе.
Там дым костров сигнальных желтый
висит над степью в жаркий полдень.
И кажется, что это я,
предупреждая о набеге,
дерусь с ордою печенегов,
ни их, ни смерти не боясь.
И вот под сердцем задрожала
стрела с вороньим опереньем,
мелькнуло лезвие кинжала,
лицо в безумном исступленье —
удар последний, последний вздох...
Из тех веков в свой век упал я —
и вижу, как Корчагин Павел

клином врубается в эпоху.
И по равнине ураганом
конноармейское: «Дае-о-шь!..»
Неудержимый бег тачанок
и пулеметов пламенная дрожь.

Град колыт по травам стелется,
скоротечен конный бой.
По убит, лежит Метелица
под амбарною стеной.
Никому еще не ведома
тайна странная Лазо...
Только степь качает вербами.
Росы надают из зорь.

3

Полынь-трава — земная горечь!
В каких веках ты зародилась,
от Дона до степей Приморья
по всей России расселилась?
Полынь, полынь, в тебе издревле
смешались запахи степей:
в себе хранишь ты запах пепла,
и слезы вдов и матерей,
тоску живых, надежду павших,
тепло и боль забытых пашен,
разрывов гаубичных пламя...
Полынь-трава — земная память.
Луна высвечивает полночь.
Ночь коротка. А лунный свет...
Успокоения в нем нет.
Полынь, полынь, степная горечь!..
В нем хранят коней.
В нем звон кандалный,—
порой он злой, порой — прощальный,
бывает даже погребальный.
Мольбы о милости в нем нет.
На гребне древнего кургана
я каждой клеткой его слышу:
в нем скрип колес арбы татарской,
в нем плачи пленных россиянок,
с ним по этапу волей царской
кавказцы, русские, поляки
шли через степь сибирским трактом...
Самодержавием «обласкан»,
стал тракт интернационален
еще с тех пор, когда восстали
полки на площади Сенатской.

...Есть Млечный путь.
Есть путь из терний.
Есть путь безверья и тоски...
А бездорожье — право первых,
лишь только б выдержали нервы,
 лишениям всем вопреки.
Вам все простится,
 кроме слабости.
Вам все простится,
 кроме лжи.
В нас ваши беды, ваши радости
из века в век не перестанут жить.
Из века в век вы — юность наша.
Из века в век вы — наша зрелость,
 вы, целившиеся в монархов,
 вы, что в тифу горели.
И к вам, идущим впереди,
 к вам, что без страха и упрека,—
 к вам обращают взор потомки
 и учатся у вас ЛЮБВИ.

4

Я пришел к тебе, степь, не в гости,
не оплакивать, не скорбеть:
я в твоих тяжелых колосьях
юность века хочу рассмотреть.
Рассмотреть — это значит приблизить,
не глазами, а сердцем увидеть
и душой навсегда понять
те, прошедшие, времена.

Песня — она, как птица:
коль родилась, летит.
...Солнце стоит в зените.
Травы, как малахит.
Август с улыбкой щедротной:
ливнем омыл хлеба.
Сколько труда и пота
вложила в них голытьба!
Кричала она на сходе
до хрюпа, порой до драки...
Тогда о коммуне в народе
ползали разные страхи:
кулацкие подпевалы,
рот прикрывая ладонью,
в мужицкое ухо шептали:
«Там общее все, даже жены,
там общее одеяло,
на всех там одна кровать...»

А сзади нужда стояла.
А... черт с ним — одно умирать!
И вот он, щедротный август.
Хлеба-то, хлеба-то, хлеба!..
И, плечи расправив до хруста,
воспринула голытьба.
Считали: возьмут сам-двадцать,
а то и того поболе...
Э-эх — черт залягай нас, братцы!..
Крестьянству настала воля.
Копей прикупим... плуги...
а может, и трактор осилим...
С мечтой такою косили,
вязали снопы тугие.
И песня — опа, как птица:
коль родилась, летит...
Солнце стоит в зените.
Травы, как малахит.
Да, песня, она — как птица,
и песню убить нельзя:
расстрелянная, она будет биться
как в небе, в мертвых глазах.
...Пылают в ночи амбары.
Хлебушко! Хлеб горит!..
Мечутся коммунары
меж догорающих скирд.
Братцы!
Да как же так? Братцы!
Ну, сволота!.. Найдем!..
Хищно затворами клацнув,
полоснули обрезы свинцом.
Месяц ущербный над яром,
да только какой в нем прок...
Навзничь лежат коммунары.
Зарею багрится восток.
А песня — она, как птица.
Ее не задушит мгла.
Расстрелянная, она будет литься
в небо из мертвых глаз.

5

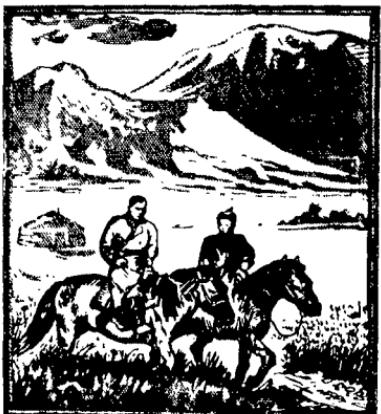
Песня в сердце ударила.
Мир плотнее стал, круче.
В алом утреннем зареве
наши судьбы закручены.
Наши судьбы — от працедов,
от корней, от истоков.

Наше прошлое — рядом,
на орбите с «Востоком»,
время — наш навигатор
на орбите «Союза»:
во вселенское завтра
открываются щлюзы,
быются в дюзах ракетных
торжество наших душ,
залпы первых «катюш»
и салютов победных.
...А войца в мою память
не из книг приходила:
каждый день ее мама
с хлебом в дом приносила.
Сквозняки эшелонов
всю страну просквозили:
санитарные — с фронта,
снарядные — из Сибири...
Историю не тревожа,
нельзя до конца осознать
ответственность, что возложит
на наши плечи страна.
...Утверждая право России,
Петр в берег Балтийский врос —
сквозь стук топоров,
скриц тележных колес
утверждающим фактом силы.
Россия со стоном тащила
тяжелый петровский воз.
Историю не тревожа,
нельзя до конца осознать
высшую Непреложность —
сражающийся Ленинград.
Факты, они упрямые.
В фактах останутся вечно
руки ребенка, зовущего Маму,
и созвершившее пламя
в зеве раскрытом печи...
В истории факты упрямые.
В поэзии факты —
площадка для взлета.
С налубы первых петровских ботов
Россия стартует космическими кораблями.
Казахские степи, уральская парма,
запавшие только коней да оленей,
сегодня знают: советские парни
преодолели Земли притяжение.
Преодолели — факт истории.

А там, где плывет голубая Вега,
действует сила земной поэзии,
и парни грезят
земными зорями,
им так не хватает земного снега.
Им не хватает земли, людей,
хотя она вся, как на ладони.
Нонышний, щемящий запах степей —
это же запах родного дома!..

6

Есть Млечный путь.
Есть путь из терний.
Есть путь безверья и тоски.
А бездорожье — право первых,
лишь только б выдержали нервы,
лищением всем вопреки.
Вам все простится,
кроме слабости.
Вам все простится,
кроме лжи.
В нас ваши беды, ваши радости
из века в век не перестанут жить.
Из века в век
вы — юность наша.
Из века в век
вы — наша зрелость.
Вы — целившиеся в монархов.
Вы, что в тифу горели.
И к вам, пдущим впереди,
к вам, что без страха и упрека, —
к вам обращают взор потомки
и учатся у вас ЛЮБВИ.



Кызыл-Эник КУДАЖИ

УЛУГ-ХЕМ НЕУГОМОННЫЙ

(Из первой книги Красного тома)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Багровая вечерняя заря.

Буян, прислонившись спиной к шершавому стволу лиственницы, что красуется на макушке горы Куу-Даг, долго смотрел на долину Барыка.

Солнце опускалось за вершины. Оно было багрово-красным. И перистые облака над ним тоже были красными. И солнечные лучи, как багровые пальцы, тянулись к горам и долине.

Буян не заметил, как прошла зима. Он жил на хребте Чээнек, иногда по ночам объезжал ближайшие аалы.

Шел 1916 год. Губанов и Жуланов уехали в Россию на какую-то войну. Буян думал: «Очень веселые эти парни — высокий Саша и конопатый Ваня. Когда они вернутся с этой войны? А может, они ранены, как был ранен мой отец в Кобдинском сражении?»

После того, как Анай-Кара разрядила ружье в Мангыра чейзена и прыгнула в мутные волны Улуг-Хема, Буян лишь понаслышик знал о том, что происходит в долине Барыка: рана Мангыра оказалась небольшой и зажила еще в середине зимы. И почему Анай-Кара — такой меткий стрелок — промахнулась? По всей вероятности, она не думала убивать чейзена, а просто-напросто хотела напугать его...

Несмотря на это, Мангыр чейзен притворился тяжело раненным. «Мой отец хромой, и Мангыр чейзен тоже хромой,—

думал Буян.— Но мой отец добр, а чайзен зол и хитр. Он грозился, что убьет меня из винтовки, причем, привяжет к тополю и прежде, чем убить, нарочно промахнется несколько раз».

Об этой угрозе Буяну говорили многие. Мангыр чайзен давно выгнал Хойлаар-оола из своего аала. Отец и мать Буяна, убитые горем, коротают дни в старой юрте.

Любимая исчезла, как камень, упавший в речную пучину, но в душе Буяна Анай-Кара жива. Ее прекрасное лицо сияет ей, как далекая звезда из тьмы, и свет ее доходит до его глаз и сердца, а тепло — нет.

Стоя на вершине горы, Буян с болью вспоминал нелепые и неизвестные случаи, которые мешали им соединить свои судьбы. Раньше он как-то не обращал на них внимания. В детстве, когда они впервые встретились, обоих поразили засохшие вербы. Буяну и Анай-Кара было жалко их. В тот же день пришло чудесное облако, очертания которого походили на беса, закрыло утреннее красное солнце. В другой раз, когда они ночью сидели у двух лиственниц, произошло лунное затмение. Они испугались тогда. Наконец, в день их свадьбы над юртой засияло зимнее утреннее солнце, окруженное черным ореолом...

Да, странные и загадочные природные явления! Они предвещали несчастье, и Буяну снова вспомнилась народная песня, в которой поется о том, что засохшая летом верба зацветет по весне и станет еще красивее. «Конечно же,— думал Буян,— не всегда бывает лунное затмение и солнце в черном ореоле показывается в небе...»

Багровое солнце, как шапка из красной лисицы, село на вершину, затем сползло с нее. Стали сгущаться сумерки. Перед глазами Буяна мелькали желтые фантастические фигурки; внезапно горы и долина покрылись плотным черным одеялом.

Совсем недавно красное солнце казалось Буяну надежным другом. И вот оно ушло за горы, скрылось, видимо, навсегда. И в небе, и на земле — сплошная непроницаемая мгла. Раньше Буяну не раз приходилось ночевать одному в тайге, в степи и горах. Но никогда он не испытывал такого одиночества. Он почувствовал страх. Холодом сковало сердце. «Стынешь тут на горе, как никому не нужный забытый каменный идол», — думал он.

С наступлением темноты на Буяна снова нахлынули воспоминания. Он напрасно старался думать о чем-нибудь другом. Но ему не удавалось отогнать мысли о любимой... Они стремились одна за другой. Ему даже показалось, что стал шевелиться траурно-темный караганник, а взъерошенные кусты грозно наступали, как разгневанные люди, на Буяна. Его охватил ужас. Он хотел убежать от своих мыслей, от всего света. Но куда? Он и сам не знал.

Чтобы прогнать черные мысли и воспоминания, он решил запеть вполголоса. И замурлыкал:

«Улуг-Хем мой благородный,
шумен ты в сиянье дня.
О, любимая! О, милая,
может, вспомнишь про меня?»

Ему не пелось. Кругом стояла тишина, подозрительная, угрожающая. Буян испугался даже своего голоса. Рядом кто-то фыркнул. Буян вздрогнул, ледяные мурашки пробежали по спине. Фыркнул его же конь. Днем Буян, чтобы коня не заметили со стороны, укрыл и привязал его среди густых зарослей. И забыл про него.

Буян привел коня к лиственнице. Теперь ему было не страшно. В трудный час конь оказался его единственным другом, надеждой и опорой. Буян думал не спеша: «Этой ночью надо, наконец, увидеться с отцом, матерью и братом».

В небе ни луны, ни звезд. Тьма, хоть глаз выколи. Буян давно ждал такой ночи. Он хотел, чтобы в аалах скорее погасли огни и успели люди. «В конце концов, вряд ли Мангыр чайзен караулит меня днем и ночью», — подумал он.

Огоньки в аалах начали потухать. Наступила полночь. Буян взял коня за повод и осторожно пошел вниз. Гора Куу-Даг была на редкость крутой, как вбитый в землю кол. Кто-кто, а Буян отлично знал, что на склоне этой горы зимой снег не держится. Подует ветер или промчится зверь — и вниз рухнет снежный обвал. Он опасен и птицам, и скоту, и людям.

Буян спустился в темный лог. Трудно было идти среди колючих кустарников. Но Буян не торопился: хотел, чтобы в аалах все затихло и успокоилось.

Вот он поднялся из лога на невысокую горку и остановился, опеломленный. Его будто молнией ударило: родной аал пыпал!

Всего мгновение назад долина Барыка была окутана мглой. Теперь она озарилась красным пламенем. Сначала Буян подумал, что в долине горят костры: стоит пора полевых работ, и земляки могут сжигать прошлогоднюю солому и вырванные с полей кустарники.

Нет, это, видимо, не костры. Вдруг сердце Буяна сильно сжалось: горел двор его брата Соскара. У Соскара, как у русских, большой бревенчатый дом, забор из досок и другие пристройки.

И озябший Буян вскочил на коня, ожег его кнутом и поскакал к аалу. Конь мчался, перепрыгивая через кусты. У речки Буян на время остановил коня. Дом Соскара был объят огнем, пламя поднималось от крыши в небо красным столбом. Тысячи искр плясали над домом. Так в тувинском сказании вслед за богатырем летит огненный вихрь. Вокруг бегали растерянные люди, раздавались крики, вопли, плач.

Буян снова оскорбил своего коня ударом кнута. Раздумывать было некогда. «Пусть будет, что будет», — решил он.

Примчавшись к горящему дому, Буян ничего не мог вначале разобрать: мужчины и женщины метались из стороны в сторону, словно олени в горящем лесу. Появление Буяна никто не заметил.

Люди таскали воду из реки в ведрах, в чащах, снятых с очага, в туесах. Когда воду лили на огонь, пожар бушевал еще сильнее, вслескивая в небо синие языки пламени. Но люди не хотели примириться с бедой и продолжали носить воду: как еще можно потушить пожар, они не знали. В долине Барыка никто из аратов никогда не видывал, чтоб горела юрта. Правда, ходили слухи, что где-то, в далеких краях, случались пожары. Но здесь... Поэтому тувинцы не знали, как бороться с ними.

Никто не догадался убрать стог сена, что стоял в огороде, у самого дома. И стог вспыхнул, как бочка с порохом. Все поняли, что пожар потушить не удастся, но продолжали суетиться.

— Воды! Воды давай! — кричал Хорек чайzen.

Его голоса никто не рассыпал.

— Надо бы разобрать ограду, — прохрипел Дагыр хунду.

— Огонь может переброситься на скотный двор. Быстрой!

Ограду не жалеть, рубить топорами!

Буян постепенно пришел в себя: здесь его враги — Хорек чайzen и Дагыр хунду. Несколько человек держали за обе руки Соскара, который рвался в пылающий дом. Соскар, пытаясь освободиться, плакал и кричал:

— Отпустите меня! Пусть и я погибну в огне!

— Если ты сейчас сгоришь, с кем останется твой маленький сын? — уговаривали его. — Успокойся!

— Народ не оставит в беде моего единственного сына. — Соскар рвался к огню. — Как я буду жить без жены?! Пустите!

Буян подбежал к Соскару, дернул его за плечо:

— Что случилось, брат?!

Соскар его не слышал.

— Пустите меня!

Буян снова крикнул изо всей силы:

— Брат, я Буян! К тебе приехал! Что тут произошло?

Видимо, слово «Буян» немножко отрезвило Соскара.

— Где твоя невестка, брат? Ее нет! — крикнул он и опять рвался к огню.

— Как это невестки нет?! — поразился Буян. — А где твой сын? И ты где был, когда начался пожар?

Соскар всхлипывал. Окружавшие его люди отворачивались и угрюмо молчали.

Появился Саванды в обгоревшем халате, лицо его было в саже. Он сразу набросился на Буяна:

— Твоя вина! Мужчина, что бы ни случилось, должен

продолжать род отца. А ты?.. Ты бросил аал, своих братьев и старииков-родителей. Все началось с этого. Зачем ты сейчас появился здесь? Уходи туда, откуда пришел. Ты не найдешь своей невестки, если захочешь похоронить ее...

Саванды стал рвать на своей голове волосы, его худенькое тело содрогалось от плача.

Подошла мать. Увидев Буяна, она молча заплакала. Неподалеку стояла кучка женщин. Одна из них произнесла:— Ты, как дитя, Соскар! Видно, черт подсказал, что надо жить тебе в доме. Поставил бы худенькую юрту и жил бы да поживал спокойненько.

Хорек чайзен, услышав эти слова, подлил масла в огонь:

— Все это оттого, что Соскар начал подражать русским. Кто видывал, чтоб тувинец жил в бревенчатом доме? Наши предки испокон веков ставили юрты, и ничего с ними не случалось.

Дагыр хунду поддержал его:

— Да, дом — опасное жилье! От печи бывает угар. В Шагонаре за одну только ночь погибла вся семья: муж, жена и четверо детей. Зачем подражать русским?

Рухнул потолок, и вновь взметнулся в небо столб огня.

— Кто первым увидел пожар? — спросил Буян.

— Я, — ответил Саванды. — Проснулся и вижу, что в аале светло, как днем. Выскочил из юрты. Смотрю: горит дом Соскара. Вот и прибежал сюда.

— Почему не открыл дверь? — нахмурился Буян. — Почему в окно не полез?

— В окно поздно лезть — дом был в огне, — оправдывался Саванды. — А дверь была подперта снаружи бревном.

— Значит, дом кто-то поджег! — закричал Буян. — Кто это сделал?!

Саванды промолчал. И все молчали. Только слышно было, как с треском горели рухнувшие на землю бревна.

К Буяну протиснулись сквозь толпу друзья, Когел и Онзулак.

— Уезжай отсюда скорее! — произнес Когел.

— Почему? — удивился Буян. — Я буду невестку хоронить.

— Без тебя склоним, — произнес Онзулак. — Уезжай, друг!

— Это серьезно?

— Да, — ответил Когел. — Тут творится что-то неладное. Почему-то на пожаре нет Мангыра чайзена и его людей.

Онзулак, оглянувшись по сторонам, тихо добавил:

— Сейчас скрылись незаметно Хорек чайзен с Дагыром хунду. Поторопись, Буян, а то они...

— Умершего не вернешь, — сказал подошедший Сульдем. — Живым надо жить. Уходи, сынок. Послушай старого отца.

Дом продолжал гореть. Иногда с грохотом падали бревна. Едкий дым расстипался по долине Барыка, тревожа скот и людей.

Буян переправился на коне через реку и, поднявшись на невысокую гору, оглянулся. Его родной аал и долина были озарены красным пламенем.

ГЛАВА ДЕВЯТИНАДЦАТАЯ

Поспешное бегство колчаковцев и их приспешников из Кызыл-Мажалыка еще более подняло боевой дух восставших аратов. Они решили быть белых так, чтобы те забыли дорогу в долину Хемчика. Как охотники по следам зверя гнались — и настигли на реке Шеми.

Там жил ставленник царских властей судья Барышев. Задимка Барышева стала местом сбора белогвардейских офицеров и враждебных революции казаков. Араты давно знали об этом. Выехав из Кызыл-Мажалыка, они внезапно напали на засаду Барышева. Перестрелка длилась недолго. Белогвардейцы, оставив несколько убитых офицеров, отступили в сторону Чадана.

Привели пленного русского в гражданской одежде. Под ним был убит конь, и русскому ничего не оставалось, как поднять руки. Хорошо, что араты не пристрелили его на месте.

Кайгал-Тараачы, Хенче-Кара, Балчык говорили аратам, что не всякий русский им враг. Поэтому араты не трогали русских крестьян.

Пленный оказался краснощеким, упитанным, крепким, с рыжей густой бородой. У него не было оружия, и он хорошо говорил по-тувински. Эти обстоятельства расположили к нему аратов. По его словам, он был крестьянином из местечка Усть-Барык, что на берегу Улуг-Хема. Он пояснил также, что приехал сюда осматривать земли — плодородны ли они. Крестьянину нужны хорошие земли, на них легче жить крестьянской семьи. А он давно, мол, слышал, что на Хемчике многое плодородных земель.

— У нас есть парень из Усть-Барыка, — сказал Кайгал-Тараачы. — Признает ли он тебя?

— Позвали Буяна.

Буян улыбнулся, увидев бородатого. Пленный тоже улыбнулся.

— Севээн Лукиш? — удивился Буян. — Какими судьбами?

— Буян?! — обнял его Домогацких. — А тебя какой ветер сюда занес?

Буян не знал, что ответить, и растерянно смотрел на товарищей. Домогацких же, умев не упускать удобный момент, сам начал объяснять:

— Кроме желания сеять да косить, у меня иных целей нет. Так ведь, Буян?

— Он в самом деле крестьяпин? — спросил Хенче-Кара. Домогацких умоляюще смотрел на Буяна. И Буян замешкался с ответом:

— Да... Крестьянин он. Сеял, косил. Я... У него батрачил.

— Хоропю, — строго сказал Балтык. — Значит, он держит батраков? Поди, он купец?

Теперь Домогацких стало ясно, что его судьба полностью зависит от Буяна. А Буян думал: «Да. Севээн Лукиш напоминал меня с братом Соскаром на работу. Но не слишком обижал нас. Теперь ему помочь надо. Кто знает, может, еще когда встретимся...»

И сказал громко:

— Да, он немного купец. Но больше сеет и косит.

— А почему вместе с белыми убегал? — спросил Кайгал-Тараачы у Домогацких.

— Я ничего не понимал, — Домогацких недоуменно развел руками и постарался улыбнуться. — Когда ехал сюда, услышал выстрелы. Испугался. Люди скакали на конях, я помчался за ними. Кто они такие, не знал. Жизнь дорога, хотел скрыться. И вот — на тебе, — он посмотрел на свои ноги, — без коня остался.

— Что с ним делать будем? — спросил Хенче-Кара у аратов.

Они вначале молчали, потом стали совещаться.

— Раз был с белыми, — говорили некоторые, — нечего с ним нянчиться. Пусть ответит по всем правилам.

Буяну было жалко Семена Лукича:

— Братцы, сделайте одолжение, он же простой человек.

— Так-то так, — прервал его Кайгал-Тараачы. — Если он бедный крестьянин, пусть следует своей дорогой. Мы не звери. Он тоже не зверь.

Да, он тоже не зверь.

Араты, подчиняясь приказу Кайгала-Тараачы, отпустили Домогацких, дали ему хорошего коня.

Ты не езди в Чадан, — посоветовали они ему. — Там белые, они могут и коня отнять, и голову тебе отрубить.

— Не поеду туда, — уверял аратов Домогацких. — Поскачу домой, в Усть-Барык, через степи Сесече.

Прощаясь с ним, Буян тихо попросил:

— Севээн Лукиш, передайте моим братьям и родителям, что я жив, здоров и скоро вернусь.

— Обязательно передам, ие беспокойся.

Домогацких лихо вскочил на коня. Буяну хотелось вместе с ним уехать домой, но он выполнял свой долг — с оружием в руках помогал восставшим хемчикским аратам.

Между тем араты получили донесение, что в Чадан для подавления восстания прибыл крупный отряд под командованием самого большого дарги — начальника Урянхая. Стало понятно, что белогвардейцы, изгнанные из Шеми, вернутся, чтобы отомстить за свое поражение.

Араты задумались. Были разные предложения. Некоторые горячие головы советовали немедленно наступать на Чадан, не ожидая нападения врага. Но враг хорошо обучен и вооружен. Поэтому наступать на Чадан нельзя, лучше устроить белогвардейцам засаду.

Кайгал-Тараачы решил:

— Будем ждать врага здесь, в Шеми. Подпустим поближе и встретим залпами.

Араты выбрали для засады покрытую кустарником гору Мойналык, что стоит у дороги. Враг не заставил себя долго ждать. На следующее утро на дороге показались колонны белогвардейцев. После неожиданных и дружных залпов аратов белые растерялись и побежали назад. Ржал испуганно лошади, громко стонали раненые. Враг не смог опомниться от внезапного удара. Боевая инициатива перешла к аратам. Белогвардейцы начали беспорядочно отступать, бросая коней, повозки, убитых.

Кайгал-Тараачы во весь рост встал на каменной глыбе, направляя огонь аратов. Буян удобно устроился между большими камнями, стреляя из винтовки. Вдруг он увидел среди убегавших белогвардейцев краснощекого мужчину с густой рыжей бородой. Буян узнал его сразу: это Домогацких.

Из туч посыпался мелкий дождь. В горячке боя его никто не замечал.

Белогвардейцы иногда останавливались, залегали и беспорядочно стреляли.

Буян внимательно наблюдал за врагом. Он видел, что Домогацких, примостившись за черным камнем, в кого-то прицеливается.

Буян закричал:

— Севээн Лукиш! Зачем сюда пришел!

Возможно, Домогацких слышал голос Буяна, а может быть, и нет. Расстояние между ними было небольшое.

Домогацких выстрелил. Сердце Буяна похолодело: Кайгал-Тараачы падал со скалы, как каменная стела, столкнутая с обрыва.

Буян, как в кошмарном сне, крикнул не своим голосом.

— Что ты сделал, Севээн Лукиш?!

Домогацких быстро поднялся из-за камня и побежал за белогвардейцами. Затем прыгнул на коня, которого ему подарили араты, и во всю прыть поскакал в сторону Чадана.

Буян перезарядил винтовку, лихорадочно выстрелил в Домогацких. Промах!.. Буян снова выстрелил. И вновь промах-

нулся. Семен Лукич удалялся все дальше и дальше и вскоре пропал из глаз. Казалось, что пули его не берут. Буян так волновался, что даже не слышал своих выстрелов. Он побежал к скале, на которой совсем недавно стоял Кайгал-Тараачы. Черные тучи опустились к земле, дождь усилился. Буяну было дышать, он с трудом глотал на бегу сырой воздух.

Кайгал-Тараачы лежал под скалой лицом вверх, глаза его были открыты. Крупные капли дождя падали ему на лицо и грудь, но он их уже не чувствовал.

Буян не осмеливался прикоснуться к его неподвижному телу и присел у ног Кайгала-Тараачы:

— Что с тобою, брат?

Ответа не последовало.

Подошли араты. Все молчали. Буян вспомнил, как он радовался, когда отпускали Домогацких. Вот тебе и не зверь.

Буяну казалось, что небо плачет вместе с ним и с аратаами над убитым Кайгалом-Тараачы. И Буян молча поклялся: «Отомщу убийце...»

Указательным пальцем Буян ощупал курок винтовки.

Самый старый из аратов, смахнув с ресниц слезы, сказал:

— Братцы, значит, верна поговорка: «Мужчина в юрте рождается — под скалой умирает».

Араты бережно подняли погибшего и спустились с горы. Остановились они на берегу Шеми, где в росной траве и в речных волнах золотились по утрам лучи восходящего солнца. Здесь будет спать вечным сном Кайгал-Тараачы.

Шумел летний дождь...

■ ■ ■

Олег СУВАКПИТ

БЕССМЕРТИЕ

Рассказ

I

Когда Оюн Канчыр садился на коня, к нему подбежал сын и, заглядывая в глаза, попросил:

— Папа, возьми меня с собой.

— Нельзя, Багай-оол. Ехать далеко, устанешь с непривычки, — улыбнулся Канчыр, но, видя, что сын готов заплакать, добавил: — Потом вволю поездим вместе. — Погладил и понюхал пушистые волосы сына, посмотрел на складками опустившиеся книзу лесистые склоны высокогорного хребта.

— А я все равно пойду за тобой, — сказал сын, будто знал, куда едет отец, и зашагал к дороге.

Канчыр окликнул жену.

— Что случилось? — спросила Ханды.

— Сынок со мной ехать захотел, уведи его в юрту.

— Ой, сынок, нельзя с отцом, кругом стреляют, — быстро заговорила она.

Багай-оол, обицевшись, спрятался за кустом караганника.

— Будь осторожен. Сам знаешь, какое сейчас время тревожное, — наказывала Ханды мужу, не сводя с него огромных испуганных глаз, и, как маленькая девочка, все крутила в руках конец своей косы с вилетенным в нее украшением — чавагой.

— Со мной все обойдется. Ты только береги себя, ведь скоро срок подойдет... Если что — на семью Толгар-оолов надейся, они не оставят. И русский, по имени Алдын-Диш, тоже поможет... До занимки не так уж далеко, мой Гнедой прыткий, завтра к вечеру вернусь, — сказал Канчыр и опустил поводья. Конь рванулся с места и пошел рысью.

Ханды долго смотрела ему вслед, держа за руку маленького Багай-оола.

II

День выдался жаркий. В полдень, чтобы дать коню отдохнуть, Канчыр спешился на пригорке, закурил и сел, держа скакуна на длинном поводу.

Вдруг Гнедой вздрогнул, повернул голову. Оглянулся и Канчыр, но ничего не увидел. А конь встревоженно шевелил заостренными ушами. Канчыр встал — и сразу заметил, что к пригорку скакали три вооруженных всадника. У него екнуло сердце, предчувствуя недоброе.

«Кто они? Красные или белые? Куда спрятать пакет?» Краешком глаза увидел у ног плоский камень. Завернул пакет в пахнущий табаком кисет и положил под камень. Потом из идика¹ вырвал клочок белой пряжи и привязал к гриве коня так, чтобы чужим незаметно было. Всадники на короткое время скрылись в ближнем овраге, а он сел на коня и помчался в направлении хребта.

Неизвестные не дали ему далеко ускакать, сразу окружили. Один из них был тувинец, двое — русские. Переговорили между собой, и тувинец приказал:

— Слезай с коня!

Канчыр спешился. Высокий рыжий мужик подбежал к нему, связал руки и стал обыскивать. Первым делом вытащил из-за спины Канчыра охотничий нож, затем выбросил из голенища трубку. Развязал пояс, все обшарил, но больше ничего не нашел.

— Что ты здесь делаешь? — спросил тувинец.

¹ Идика — национальная обувь.

— Потерял лошадей, ищу их,— ответил Канчыр.

— Сколько лошадей, какой масти, какие особые приметы у них?

— Гнедой и Рыжий — два коня. У обоих с левой стороны на брюхе белые полоски от подируги. За левым ухом у каждого падрез,— обстоятельно, как заботливый хозяин скота, пояснил он.

Тroe принялись советоваться между собой. Канчыр разобрав лишь два слова: «украл» и «партизан».

«Белые. Это их дозорные меня поймали. Беда. Все пропало. Нужно бежать!» — лихорадочно думал он.

— Ну, мужик, хорошо знаешь здешние дороги?

— Местному человеку как же не знать? А куда, собственно, путь держите? — спросил он.

— В Атамановку... Поедешь с нами. Садись на коня.

— Никуда не поеду. Мне нужно найти лошадей, — возразил он.

— Ах ты, сволочь! — рыжий огrel Канчыра плеткой. — Садись, говорю!

— Не нужны мне ни красные, ни белые, не кипятисьшибко! — рассердился Канчыр.

К нему подошел второй русский белогвардеец, молча ударили кулаком в лицо. Канчыр запатался, но не упал. Кое-как взобрался на Гнедого. Тувинец, проводник белых, вел своего коня в поводу. Те двое ехали позади.

«В жесткие руки я попал. Как бы мне задержать этих троих, да и всю их банду? В Атамановке наших мало, основные силы Кочетова из Хем-Белдира вернутся только послезавтра. Что делать?»

Белогвардейцы молчали. Проводник их мирно покуривал, временами настыривая что-то.

— Остановись, пожалуйста, я сойду, — тихо попросил его Канчыр, сам еще не зная, что станет делать дальше.

Тувинец молчал.

— У человека есть имя, у коня — масть, а как тебя зовут? — спросил Канчыр.

— То спениться тебе надо, то имя скажи, — огрызнулся тот. — Как зовут, как зовут! Как называли, так и зовут! — и проводник расхохотался.

Канчыр хотел ответить ему так же грубо, но сдержался. «Может, приедем в банду, отругают да и отпустят. А не отпустят — придется действовать по-другому», — подумал он и сказал:

— Тувинец же ты, так почему у тебя такое жестокое сердце? Остановись, по малой нужде схожу.

— Что, не держится со страху? — рявкнул тот.

«Два сердца у человека: одно тверже камня, второе мягче шелка, так в народе говорят. А у этого вместо сердца — хо-

лодный камень,— подумал Канчыр.— Отпрыск феодала, должно быть».

— Адавастай! — окликнули белые.

Проводник остановился. Сойдясь вместе, они снова о чем-то начали переговариваться. Адавастай приказал Канчыру спешиться и сесть, крепче связал ему руки за спиной. Подвел своего коня к Гнедому.

Белогвардейцы спяли с коней перекидные сумы, достали оттуда вареное мясо, лепешки, тувинский сыр и припялись за еду.

«У какого арата отобрали последнее? Эх, винтовку бы мне! С каким бы удовольствием влепил по нуле в их непасытные утробы! Нет винтовки, да и руки связаны», — Канчыр скрипнул зубами.

Что-то заставило его оглянуться: к месту, где сидели белогвардейцы, подползала змея. Он вскочил и, желая испугать коней, дико вскрикнул:

— Змея! Змея!

Кони зафыркали, а солдаты схватились за винтовки. Рыжий выстрелил в змею. От внезапного грохота Гнедой рванулся и побежал, уводя с собой коня Адавастая. Проводник попытался удержать обоих, но рухнул на землю и выпустил поводья из рук. Коней только и видели — скрылись за пригорком. Беляки заорали друг на друга, заспорили, затем рыжий и Адавастай на двух оставшихся конях помчались вдогонку.

«Где им догнать моего Гнедка, — усмехнулся Канчыр, — лишь бы чужой конь не помешал ему».

Наступила тишина. В небо взлетел жаворонок, повис под кудрявым облаком и запел, радуясь просторам голубого неба. Печальным показалось Канчыру его пение.

«Кому посвящаешь ты свои песни, жаворонок? Красным ли, которые боятся за правду и справедливость, белым ли, что разоряют наш край? Нет, певчая птица, ты рождена и взлеяна нашей степью, и песни свои посвящаешь горемыкам — аратам и красным партизанам. Пой, шаха! Очень люблю я слушать тебя. И как сыну степей не любить такую птицу! Я пас овец и подпевал тебе. Разве ты забыл обо мне, жаворонок?»

Храп коней и обозленные голоса оборвали мысли Канчыра. Вновь екнуло у него сердце. Но когда рыжий и Адавастай подъехали, Канчыру показалось, что с души свалился камень. Беляки горячились, ругали друг друга. К Канчыру подбежал рыжий и два-три раза зло пиул его сапогом, потом в бессильной ярости выхватил саблю и напополам перерубил убитую пулей змею.

Превозмогая боль, Канчыр не издал и звука. Все мысли его были устремлены к Гнедку. «В сумерки он будет в аале.

Заметят друзья пряжу в гриве — поймут, что я попал в беду...
Хорошо выпло».

Долго смотрел Канчыр на перерубленную змею. «Хоть ты и змея ядовитая,— благодарно подумал,— но очень мне помогла. Спасибо тебе!»

Рыжий все сумы переложил на своего коня, второй русский усадил позади себя Адавастая. Канчыр брел впереди, подгоняемый окриками.

Солнце опускалось все ниже. С гор подул ветер... До места еще далеко, дороги нет, сплошные овраги и сырчие пески. Устали и люди, и лошади. Канчыр намеренно ишел медленно, спотыкался, падал...

III

Коротка летняя ночь. На заимку прибыли, когда рассвело. Канчыра подвели к дому с закрытыми ставнями и затолкнули в темную комнату. Сторожить его остарили Адавастая. В узкую щель между ставнями Канчыр видел избу, где жил тот, кому он должен был доставить пакет. Но изба, видимо, была пуста.

«Где же он? Заметил меня или, как и я, попался? Где сейчас партизаны?»

Скрипнули и распахнулись ставни, стукнула дверь. В комнату вошел генерал с красной шеей и двойным подбородком. В руках он держал толстую, в четыре ряда сплетенную плетку. Через переводчика начал допрос:

— Как звать?
— Канчыр.
— Красных встречал?
— Нет.
— Врешь, говори правду! — генерал полоснул Канчыра плеткой вдоль спины.

От боли потемнело в глазах.

— Я лошадей искал; меня связали и привели сюда.
— Лошадей искал, чтобы красным передать?
— Нет, зачем же? Самому нужны.
— Знаешь село Атамановку? А-та-ма-нов-ку?
— Разва два бывал там.
— Где твой аал?
— В Элегесте.
— Мы — войско белого царя. Прибыли, чтобы уничтожить красных. Дорогу нам укажешь?
— Дорогу? Куда?
— Говорю же — в А-та-ма-нов-ку. Что вздрогнул? Кого напугался? Нас или красных?
— Я арат. Живу в степи. Кого мне бояться?

— Не боишься? — генерал хлестнул его еще раз. — И теперь не напугался?

По спине Канчыра струйками побежала кровь.

«Лучше умереть, чем дорогу им показывать», — подумал он и ответил:

— Нет!

— Поведешь нас? Укажешь дорогу?

— Другого проводника найдите. Некогда мне. Скот, нозяйство...

— Он красивый! — крикнул генерал, свалил Канчыра на пол и стал топтать ногами...

Очиулся Канчыр перед вечером. Рядом стояли русский солдат и незнакомый парень — тувинец.

«Если не поеду с пими, убьют меня. Нужно искать иной выход», — решил Канчыр и застонал:

— Развяжите. Укажу дорогу.

Солдат живо выбежал.

Горло Канчыра пересохло от жажды.

— Дай, парень, попить, — попросил он. Парень сходил в угол и принес воды в железной кружке. Канчыр сразу выпил ее. В глазах посветлело.

— Откуда родом? — желая разговориться с парнем, спросил Канчыр.

— Здешний я. А вы откуда?

— Из Элегеста, точнее, из Белдир-Кежига.

— Белым, значит, служишь?

Парень поник головой, потом резко поднял ее:

— Служу... Мы в юрте сидели, когда они пришли и погнали нас сюда. Отец отказался — его убили. Стали меня избивать, и я, как и вы, напугался, вот и поехал с ними. Не знаю, что и делать, голова кругом идет, акым, — на глаза парня навернулись слезы.

— Ты ребенок, что ли? Не плачь! Слезами делу не поможешь. Как зовут?

— Чанчыл-оол.

— Многих из этого села схватили?

— Нет, красные бежали, говорят, остались пустые дома и юрты.

— Давно здесь?

— Со вчерашнего дня.

— Здесь много солдат?

— Сотен пять.

— Можешь сбежать отсюда?

— Куда?

«Стоп, что я с этим парнем так разоткровенничался? Он же трус, — подумал Канчыр, — Припугнут его да спросят, о чём я с ним говорил, — все выложит».

— Молод ты,— сказал он,— жаль, если тебя красные или белые убьют. Удрал бы ты лучше куда-нибудь в тайгу. А утихнет заваруха,— вернулся бы в свой аал.

— Нет, акым, отсюда убежать невозможно. Вокруг села часовые.

— Что же, будем с тобой стрелять в своих братьев-аратов?

— Нет, в пих я стрелять не стану. Отец, умирая, завещал, чтобы я отомстил за него...

На крыльце загремели шаги. В дом вошел в сопровождении переводчика все тот же генерал и сразу обратился к Чанчыл-оолу:

— О чём говорите?

— Ни о чём. Этот все стонет да охает...

Генерал жестом велел Чанчыл-оолу выйти и шагнул к Капчыру.

— Укажешь дорогу?

— Да.

— Будешь верно служить мне и белому царю?

— Буду.

— Смотри... если что... застрели!

IV

«Может, наши догадаются, что меня поймали? Надо время затягивать и вести белых так, чтобы их заметили. Яспо, они хотят подойти к Атамановке ночью и разгромить партизан. Хорошо еще — дороги не знают. Словом, держись, арат!»

С такими думами ехал Капчыр на неоседланной лошади впереди белогвардейского отряда. С него не спускали глаз трое вооруженных до зубов солдат-верховых.

Солнце склонилось к горному хребту, над которым клубились черные тучи. Скоро долина погрузится во тьму и, по всей видимости, пойдет дождь.

Взбрались па каменистую высотку. Долина с пеे видна как на ладони. Остановив отряд в овраге, генерал и офицеры долго рассматривали местность в бинокль, изучая се, советовались между собой.

Несколько раз спрашивали у Капчыра про Атамановку. И он с готовностью показывал, какая она и в какой стороне отсюда. Они что-то писали и рисовали на бумаге, зачеркивали и снова чертили.

Капчыр окинул взглядом родные просторы, реку Элегест, где любил купаться, лесные хребты Танну-Ола, изобильные ягодой и зверем... Под хребтом — село, там сейчас его товарищи. Он и радовался, и печалился. Смяжал веки — и представлял себе, как сварила жена душистый чай и ждёт его, лаская кудрявого Багай-оола. В ушах звучали голоса жены и сына: «Будь осторожен!», «Возьми меня с собою!»

«Милые вы мои, скоро в юрте появится еще один малыш. Он в мать пойдет, счастливым будет».

Канчыра грубо толкнули в плечо и повели к генералу.

— С какой стороны нам лучше настать на село? — спросил тот через переводчика Адавастая.

Канчыр знал: с южной стороны к Атамановке подступает ровное поле, а на северной болотистой стороне растут деревья и кустарники, там вырыты окопы, установлены пулеметы партизан.

— С севера, — ответил Канчыр и в упор посмотрел на генерала. — Там место ровное, за карагаником никто вас и не заметит.

— Не врешь? — нахмурился генерал. — А где лучше перейти реку?

Канчыр вздохнул и медленно побрел с высотки. Генерал и офицеры последовали за ним. На обрывистом берегу он остановился.

«Надо постараться хоть ненадолго задержать их здесь. Товарищи заметят...»

— Ну, говори! Или тебе в рот верблюд залез? — крикнул Адавастай.

Канчыр вздрогнул:

— Элегест — река глубокая и злая, течение бурное. У вас много возов со снаряжением, лучше будет перейти вон там, внизу...

— А почему нельзя переправиться выше села? — спросил генерал.

«Хитрый гад. Переправить их там — это же все равно, что ворота в село врагам открыть».

— Ну, отвечаю! — генерал взмахнул пистолетом.

— Там, за горками, юрты стоят, мальчишки по почам рыбу в реке ловят. Как бы не раскричались, тревогу не подняли, а так — почему бы и там не переехать? Могу и повыше провести вас.

Генерал и офицеры переглянулись. Канчыр заметил, что за рекой, у горок, показался всадник. Через мгновение он исчез, умчавшись в сторону Атамановки. Канчыр облегченно вздохнул, поняв, что белые не заметили верхового.

«Кажется, это Алдын-Диштиг. Если он, — значит, все нашим передаст. А если просто арат свой скот разыскивает? Все равно поднимет тревогу. А белые, должно быть, боятся днем в село сунуться. Не знают, что там мало партизан».

Генерал с офицерами ушли. Канчыру приказали присесть в кустах караганика, бросили ему грязный, видно, завалывшийся где-то кусок сыра. Через некоторое время пришел Чанчыл-оол, а русский часовой удалился. Чанчыл-оол с винтовкой в руках уселся в нескольких шагах от Канчыра.

— Ну, что, доволен, что так мучают меня? — спросил Канчыр.

— Сам больше твоего мучаюсь, акым. Скажи, что мне делать?

— Что я могу сказать? Скоро ночь, и я поведу белых в село, чтобы они перестреляли моих товарищей. Что об этом думаешь?

— Позор. Лучше умереть, акым.

«Нет, вроде бы он парень неилохой. Но можно ли ему довериться?» — подумал Канчыр и спросил:

— Ты в Атамановке бывал?

— Да, вместе с отцом.

— Тогда ты и покажешь брод. Отведи меня к генералу, я скажу об этом.

— Нет, нет, акый, не говори так. Они убили моего отца. Я должен отомстить.

— А мне доверишься, как отцу?

— Да. Если только вы за красных.

— Ни за кого я, — замкнулся опять Канчыр.

«По коням!» — раздалась команда. Отряд пришел в движение.

— Вставай! — крикнул Чанчыл-оол и вскочил, держа винтовку наперевес, затем добавил шепотом: — Можете мне довериться, акый.

И снова Канчыр едет впереди.

Небо заволокло тучами, стало темно. Кони храпели и фыркали, скрипели колеса телег...

Долго двигались вдоль реки. Стал накрапывать дождь. Дорогу отряду преградил крутой заросший кустарником яр.

— Где же твой брод? — нетерпеливо спросил генерал.

— Кажется, чуть-чуть пониже, господин, — ответил Канчыр и направил лошадь к яру. С ним поравнялся Чанчыл-оол. Двое белых оказались впереди.

— Сейчас подъедем к броду. Только немногие смогут здесь перебраться на тот берег, а упряжкам и возам туда нечего и соваться. Днем на таежной вершине шел дождь, теперь вода намного прибыла, должно быть.

— Зачем об этом мне говорите, акым?

— Хочу попросить тебя.

— О чём? Быстрее говорите, а то услышат.

— Плавать умеешь?

— Два и три раза подряд Улуг-Хем переплываю!

— Когда будем переправляться через реку, сделай вид, что тонешь, уплыви с конем вниз... Выберешься на тот берег — и скачи в село. Там расскажешь обо всем, что видел и слышал. А меня...

Подъехал Адавастай, отоспал Чанчыл-оола к отряду, схва-

тился за повод канчырова коня и, поговорив с беляками, на-
того привязал ноги Канчыра к брюху лошади.

Вот и спуск к реке. Отряд подтянулся. А дождь продол-
жал накрапывать.

«Езжай», — подтолкнул Адавастай Канчыра.

Понукая коня, тот заехал в воду. Лошадь некоторое время
не осмеливалась идти дальше, но, храпя, медленно двинулась
вперед. Вода в реке достигла верха стремени. За Канчыром и
белые ринулись в воду. Кони надали, ржали, солдаты и офи-
церы кричали — все смешалось в кромешной тьме. Нереправ-
лялись очень долго.

Дождь утих, но тьма не поредела. Наступила полночь. Бе-
лые измучились, теряя повозки, людей, лошадей и оружие.

Наконец-то перенеслились. Долго проверяли, пересчитыва-
ли солдат, словно скот после кочевки. Затем подъехал генерал
и, зло произнеся что-то, несколько раз хлестнул Канчыра
плетью.

Что было делать человеку, связенному по рукам и ногам?
Сильнее стиснул губы и не проронил ни звука.

— Тебя бьют за уточнивших лошадей и солдат, понял, мер-
завец? — пояснил Адавастай. — Так тебе и надо. Не сумел выб-
рать хороший брод!

Канчыр ничего не ответил. Постояли немного и двинулись
далее. Путь преградили высокие заросли, такие колючие,
что можно было остаться без глаз. У Канчыра от усталости
и боли кружилась голова. Но ненависть к белым придавала
ему силы. Пройдя заросли, выехали на открытое место.

Уже рассвело. Белые разговорились, взбодрились. Но, ос-
мотревшись, поняли, что попали на болото.

— Куда ты нас ведешь? — заругался Адавастай.

— Куда вы приказали, — ответил Канчыр. — Впереди, за
деревьями, село.

Адавастай перевел его ответ генералу, и тот скомандовал:
«Поторапливайтесь!» Уцелевшие после переправы упряжки
взяли в болоте, а солдаты, проваливаясь по щиколотку в
грязь, подталкивали орудия. Чем больше уставали белогвар-
дейцы, тем более непроходимым становилось болото. Теперь
началась трясина.

Краешек солнечного диска показался из-за гор. Белые ока-
зались в тунике: трясина не давала и шагу сделать вперед.

«Так-то. Теперь куда вы денетесь? Чанчыл-оола не видно.
Наверное, уехал исполнить мою просьбу. Если так, партизаны
узнают, куда я привел белых, и вскоре должны ударить с ты-
ла. Белым теперь не уйти».

Отряд остановился, не зная, как и куда идти дальше. Солн-
це взошло. Солдаты с руганью теснились на пятаке относи-
тельно твердой земли. Офицеры кинулись на Канчыра. Его
стали с лошади.

- Куда ты нас привел?
- Не видите, что ли? На гнилое болото.
- Зачем?
- Чтобы вы подошли здесь!
- А-а, собака!.. Мы покажем тебе, что значит подыхать!

Генерал ударил его кулаком так, что Канчыр свалился на землю. Из рта и носа хлынула кровь. С трудом приподнялся, но тут же удар сапога в голову опять опрокинул его. Попытался приподняться во второй раз — на него носились удары плетей и прикладов. И внезапно Канчыр увидел жену Хэнды, кудрявого сына Багай-оола, оли махали руками, звали его. А это кто? Друг, красный партизан по прозвищу Алданы-Дип — обнимает, поднимает его...

Канчыр то приходил в себя, то снова терял сознание. Ко ни, солдаты, деревья — все кружилось перед его глазами. Он окунул голову в болотную воду. Прохлада вернула ясность сознанию. Вокруг гремели выстрелы. Он увидел партизан с красным знаменем.

— Я красный партизан! — крикнул Канчыр. Совсем близко хлопнул выстрел, и грудь его обожгло. Он напряг последние силы и снова крикнул:

— Я красный партизан! Красный партизан...

■ ■ ■

Николай СЕРДОБОВ

ВОЙНОЙ ОПАЛЕННЫЕ

Главы из романа
(Печатаются в сокращении)

КОМДИВ ДРЕМОВ

Одной из дивизий на Калининском фронте командовал Илья Полуэктович Дремов. Он был росл и широкоплеч. Овальное, с крупными, но правильными чертами лицо украшала пышная копна иссиня-черных, но уже тронутых сединой волос. Прямой взгляд серых с задорной искринкой глаз, пушистые брови и под стать им густые усы как бы завершали волевой облик командира.

Дремов принадлежал к тому разряду армейских кадровиков, которые несли свою трудную вахту с глубоким убеждением в том, что жить и, коль придется, погибать следует с удалой песней в душе. Слово «солдат» всегда произносил горделиво и любил величать себя этим званием.

Если ко всему этому добавить начитанность Дремова, умение кстати припомнить и звучным баском прочитать незапомешанный стих, то легко догадаться, что многие женщины стремились к обществу этого человека большой притягательной силы. Но внимание женщин не избаловало и не привязало

Дремова ни к одной из них. Он как бы все ждал ту единственную, что могла сама властным правом и широкой душой околдовать, покорить его.

С Егорычевой Дремов нежданно-негаданно повстречался уже в войну и при не совсем обычных обстоятельствах. В бою тяжело ранило командира полка, вместе с которым ему довелось воевать и в Испании, и в Монголии. Дремов решил сам отвезти друга в госпиталь, но подчиненный ему военврач, человек обычно покладистый, неожиданно проявил несговорчивость, настаивая на том, чтобы раненого оперировала хирург ближайшего медсанбата Надежда Егорычева. В этом был свой резон — командир, пока его вынесли с передовой, потерял уже много крови, и в госпиталь его просто могли не довезти.

— Будь по-твоему, — согласился, скрепя сердце, Дремов. — Вези в санбат, по оперировать его будет не твоя Егорычева. Вези!

Тут же Дремов разыскал по телефону начальника медицинской службы корпуса Денисова и попросил срочно послать в медсанбат самого опытного хирурга. Денисов, обычно тоже покладистый и вежливый, на этот раз ответил кратко и резко:

— Никого посыпать не буду. Я полностью доверяю Надежде Яковлевне.

Такой оборот дела совсем обескуражил Дремова. Он уже было хотел звонить командарму и просить управы на взбунтовавшихся медиков, но передумал. Сев за руль «вилиса» и отмахнувшись от подбежавшего адъютанта, он помчался вслед за санитарной машиной, обогнал ее в пути и первым приехал в деревушку, где стоял на доформировке медсанбат. Здесь он без труда разыскал Егорычеву, оказавшуюся молодой и весьма миловидной.

Ее высокий лоб был полузакрыт прядками волос, собранных сзади в большой, касающийся плеч узел. Плавной дугой суживались широкие у переноса брови. Если припухлые губы и щеки с легким румянцем казались почти детскими, то серьезный, даже чуть надменный взгляд удлиненных в разрезе глаз сквозь пушистую сетку ресниц и волевой подбородок говорили уже о сложившемся человеке, знающем себе цену.

Дремов кратко сообщил Егорычевой о ранении друга и сразу же на высоких тонах стал требовать, чтобы она сама вызвала армейского хирурга.

Егорычева терпеливо выслушала комдива, распорядилась готовить операционную и принялась неторопливо мыть руки.

— Вы что?! Глухая тетеря? — рявкнул вышедший из себя Дремов, подступая к военврачу.

— Вот именно, — спокойно согласилась Егорычева. — Для грубиянов я глухая тетеря. Командуйте, как умеете, у себя, а здесь мы будем делать то, что посчитаем нужным.

— И еще отвечать будете, дорогуша. И плакаться за свою дерзость,— запальчиво пригрозил Дремов.

— Отвечать буду, а уж слез моих, будьте уверены, вам увидеть не доведется. И уходите. Уходите немедленно!

Дремов выскочил из избы и едва не столкнулся со своим врачом и санитарами. Проводив взглядом носилки с раненым, он обратил внимание на стоявшего у крыльца пожилого небысокого мужчину в дубленом полушубке, оноясанном ремнем со звездчатой пряжкой. Округлые глаза смотрели на комдива сквозь толстые стекла старомодного пенсне и лукаво и удивленно. Видимо, он шел на раскаты дремовского голоса и задержался, пропуская в операционную санитаров. Заметив взвинченное состояние Дремова, мужчина в полуцубке совсем по-штатски взял его за рукав шинели и отвел в сторону.

— Давайте знакомиться, товарищ полковник. Комиссар батальона. Карцев, Родион Михайлович.

Дремов хотел было под горячую руку отчитать политрука, но доброжелательный тон его обращения подействовал успокаивающее. И он уже сам взял Карцева за рукав полуцубка и, отойдя с ним еще подальше от избы, доверительно рассказал, как он хотел помочь своему другу и как все пошло «панерекос» из-за взбунтовавшихся медиков.

— Я полностью разделяю вашу тревогу за боевого товарища, Илья Полуэктович,— сказал сочувственно Карцев, протирая платком запотевшие стекла пенсне.— Но вот оправдать форму ее проявления никак не могу. Особенно перепалку с нашей Егорычевой. Давайте сделаем так,— предложил политрук.— Немного погодя вас проведут в операционную. Побудьте там час-другой, и все встанет на свое место. Только ничем не выдайте своего присутствия, иначе достанется нам на орехи от Надежды Яковлевны. А потом загляните ко мне вот в этот домик, и мы продолжим разговор. Добро?

— Добро,— согласился Дремов.

На крыльце вышел покурить пожилой сержант. В глаза Дремову бросился широкий шрам вдоль щеки и обезображеный заячьей губой рот. Карцев пошептался с сержантом и ушел по своим комиссарским делам, а Дремов остался ждать. Он смотрел на полувыжженную деревню. На другой стороне широкой улицы перед ним стояли задымленные русские печи, нацелив в небо, как зенитки, свои трубы. Давно ли возле них хлопотали стряпухи, и над крышей струился мирный дымок, а вот сейчас эти печи-сиротки уже стосковались по расторопным хозяйствам, веселому огню в своем полукруглом чреве, по запаху щей и поддумяненного каравая, сказкам стариков на полатях... Из таких вот безвестных деревень с русскими печами в приземистых домиках вышла и пошла в рост наша Русь. И вот теперь за каждую из них идет бой; их рушат фашисты снарядами, поджигают при отступлении, а печи стоят, и стонут

в их горловинах ветры, словно взывая к небу и к людям. И нередко на их черном тулове выводят мелком военные перво-проходцы имя той отвоеванной деревушки, к которой они, эти печи, были приписаны. И возвращаются на погорелое место его жители, и, как раньше, спозаранок вновь к небу выются дымки. «Все отстроим,— размышил Дремов,— но никогда не перепагнут порога новых домов те, кто сложил голову за родную землю...»

Тоскливо раздумье Дремова нарушил сержант с заячьей губой.

— Товарищ полковник, пойдемте за мной.

В каком-то чуланчике он обрядил Дремова в короткий халат и накрахмаленный колпак, переобул в чьи-то тапочки, у которых пришлось вдавить задники. Волоча ноги, чтобы обувка не шлепала по полу, Дремов вслед за сержантом прошел комнатку, где у него была стычка с Егорычевой, и оказался в операционной. Впервые в жизни в качестве стороннего наблюдателя он заглянул в эту «святая святых».

Затаив дыхание, следил за мельканием рук Егорычевой, за ее приказами, исполнявшимися с полуслова или даже с полу-жеста, вглядывался в прикрытое маской лицо и по глазам угадывал течение мыслей и чувств. Он явственно осознал, что здесь, на укрытом белым полотнищем пятаке, шла напряженная схватка с незримо кружившейся над раненым смертью, что командармом в этом медленном, но упорном бою была та строптивая девица, перед которой он недавно потрясал кулаками, рассыпал гром и молнии.

Ему стало стыдно. Он хрустнул пальцами и вздрогнул, испугавшись, что этот хруст может привлечь внимание Егорычевой, но опасение было излишним. Она вершила свое дело отрешенно от всего того, что происходило и рядом, и за окном, и во всем мире. «Да,— думал Дремов,— бороться так самозабвенно, переживать за каждого, пропахшего порохом и залитого кровью, резать и шивать живое тело, пробиваться вперед, не отступая ни на пядь,— это подлинное сражение...»

И когда, наконец, глаза Егорычевой потеплели, а натуженные руки расслабленно соскользнули вниз и когда, будто по наитию, ожили другие окружавшие ее белые маски, Дремов понял, что чудо свершилось и его друг будет жить, воевать. Он машинально сунул стоявшему поблизости сержанту колпак, выбрался из дома и, как был, в наброшенном на гимнастерку халате и в тапочках, осторожно ступая, хотя в этом теперь не было смысла, попел к комиссару. Ничего не сказав Карцеву, сбросил халат и устало, будто после долгой работы, опустился на скамью в углу горницы.

— Ну вот,— добродушно усмехнулся Карцев,— вы на скамье подсудимых. Приговор зачитать?

— Погоди, Родион Михайлович. Мне, как-никак, последнее слово положено. Так вот, признаю себя кругом виноватым. Бейте меня чем сподручнее — хворостиной, оглоблей. Так сорваться, так опростоволоситься!

— Ну, ну, дорогой товарищ! Повинную голову и меч не сечет...

— Вы, Родион Михайлович, цены Егорычевой не знаете. Ее надобно на руках носить.

— Мы-то, Илья Полуэктович, знали и знаем. А телячьих нежностей она не признает. Делает, как и все, свое солдатское дело из высоких побуждений. Всегда ровна, добра. Только раз увидел ее в слезах: умер прямо на операционном столе сбитый летчик.

— А вот мне она заявила — не видать, мол, тебе моих слез,— удрученno сказал Дремов и покачал головой.— Я ведь ее глухой тетерей называл...

— Да ну? — искренне удивился Карцев, сняв криво сидевшее на простом, как картофелина, посу пенсне.

— И вот думаю: что же мне теперь полагается — суд чести или трибунал?

— Воюйте, чего там!

За окном под быстрыми шагами захрустел снег, потом запели половицы в сенцах, и в комнату вбежала Егорычева. Ее широко раскрытые глаза гневно посверкивали.

— Родион Михайлович! Нужно проучить одного типа...— Тут она услышала скрип скамьи и, оглянувшись, увидела вставшего во фрунт Дремова. На какой-то миг Егорычева смущилась, но потом, встряхнув головой, продолжала так, будто присутствие здесь обидчика не было неожиданностью.— Вот этого!

— Надежда Яковлевна, я уже принял меры. Илья Полуэктович Дремов, чтобы не сбежал от ответа, разут.

— Ой, как хорошо вы сделали, Родион Михайлович! — Егорычева рассмеялась и даже прихлопнула в ладони.— Сажайте на гаунтвахту. Стоит!

Дремов отстегнул пояс с маузером, положил на стол и вернулся в свой угол. Сделав четкий поворот, он обратился к Егорычевой:

— Есть на губу, товарищ военврач второго ранга! Заслужил!

Егорычева отвела взгляд от пристально смотревшего на нее Дремова и протянула:

— Во-от это мне уже нравится...

Снаряжаясь в дорогу, Дремов подошел к Егорычевой.

— Надежда Яковлевна! Великое вам спасибо. Когда фашисты меня еще раз нафаршируют пломбумом и феррумом,— я только к вам. Согласны?

— Лучше бы обойтись без такого «фарша», — ответила Егорычева.

— Рад бы, да не избежать. Война идет.

...С тех пор Дремов зачастил в медсанбат. Почти всем он пришелся по душе, со многими сдружился. И все знали, что паведывается к ним Дремов не ради друга, которого вскоре эвакуировали в Куйбышев, и не ради Карцева. Знала об этом и Егорычева. Ее коробили шумные наезды комдива, вечера, на которых он с видом хлебосольного хозяина потчевал собравшихся привозимой снедью, шинукалье санитарок. В то же время ей было приятно слушать басовитую живую речь Дремова, спорить с ним, ощущать его доброжелательное внимание.

Однажды вечером Егорычева и Дремов коротали вечер у комиссара. За столы разговор постепенно угас, и они, думая каждый о своем, какое-то время молча вслушивались в потрескивание подброшенных в печку дров и в посвист разыгравшейся выюги, время от времени стучавшей в окно охапками снега. Потом Карцев шутливо подтолкнул Дремова и спросил:

— Земля слухом полнится, что ты, Илья Полуэктович, воюешь успешнее других. В чем, если не секрет, суть твоего, так сказать, боевого опыта?

— Секрета тут нет, и опыт не мой, а многих. Он нам тяжко достался. Вообще-то фашисты нам общеизвестные истины преподали.

— Расскажите, — поддержала Егорычева просьбу Карцева.

— А я-то думал, что утомил вас сегодня своей болтовней.

— Нисколечко. Я вся внимание.— Говоря это, Егорычева не отрывала глаз от полуоткрытой печной дверцы, за которой неуемно клокотало, билось пламя, и Дремов безуспешно пытался перехватить ее взгляд, чтобы что-то прочесть в нем или о чем-то самому сказать без слов.

— Извольте. Когда в прошлом году мы отступали из Белоруссии, я впервые испытал страх... Командовал я тогда бригадой. В сумятице отхода и скоротечных боев постепенно порастерял связь и со своими «сынками», и с начальством. О противнике имел самое смутное представление. Жмет он — это ясно, а какими силами, — не знаю. И приказы отдавать некому. Словом, веселенький пейзажик! Одному со штабом драпать заманчиво, но не резон. Долго я провозился, но собрал почти все свое хозяйство и вывел из окружения. А сам на носу зарубил, на платке два узла завязал — разведка и связь. Глаз теперь с них не спускаю, требую безбожно, но и награждаю щедро.

— А верно ли разведчиков со связистами равнять? — усомнился Карцев.

— Я не равняю их, Родион Михайлович, но и не противопоставляю. Пойми — без связи вообще нельзя управлять боем.

Да и связист — это не только тот, кто в штабе у коммутатора торчит. Связист и под огнем провода срашивает, и в окопчике на передовой в трубку позывные выкрикивает. На то, что рядом земля перепахивается, что траппель над ним рвется и танки вблизи рыскают, он — поль внимания. Свяжется, передаст что надо, получит сверху приказ — и счастлив, что смысл своей воинской жизни оправдал.

— Смысл воинской жизни... — задумчиво повторил Карцев слова Дремова.

— Теперь я всегда свои полки вот так держу, — Дремов сжал большущий кулак и сам внимательно осмотрел его, будто удивляясь или гордясь тем, чего ему удалось достичь. — Всегда могу их куда нужно повернуть, перетасовать.

...Еще каким слухом земляолнится, а, Родион Михайлович?

— Уместно ли... — замялся Карцев, раскуривая трубку.

— Раз на языке вертится, — уместно.

— Слух до меня дошел, что под трибуналом ты был.

— Был, — подтвердил Дремов. — И недавно. Висел надо мной один начальничек, не дай бог другим такого. Что бы ему свыше ни приказали, ответ один: «Есть! Будет исполнено!» А как исполнено, какой кровью, в эти «детальки» он не входил. Вызывает подчиненного и требует: умри, а выполнни. Иногда, правда, перефразировочку допускал — выполнни или умри, — Дремов хрустнул пальцами, заходил по комнате. — ...Была у нас короткая передышка. Ждали пополнения. И вдруг тот генерал, которого я вам уже представил, вызывает меня где-то около полудня и ставит задачу — взять к утру небольшой старинный городок. Назову его условно Холмовым. «Умри, а выполнни. Это приказ знаешь чей?!» И в потолок пальцем потыкал. «Управишься к утру — крест на грудь обещаю».

«Нет, — отвечаю ему. — Не возьму к утру. И к вечеру не возьму. Холмово — серьезный орешек, в лоб его не разгрызть. Если не разведать систему огня, не найти путей обхода, не подтянуть артиллерию, то много будет под его стенами холмиков. Могильных. Дайте хоть неделю на подготовку».

Передал он меня трибунальцам, а приказ заставил выполнить другого командира. Людей положил много, а Холмово так и не отвоевали...

— А ты, часом, не обрадовался этому? — строго спросил Карцев.

— Какая тут радость! Взяли бы городок — смерть солдат была бы если не оправдана, то все же как-то окупилась, что ли...

— Правильно, — одобрил Карцев. — Но давай возьмем для сравнения ситуацию попроще. Поставь на свое место командира полка из твоей дивизии. Как бы ты, Илья Полуэктович,

поступил, если бы он из гуманных соображений попросил отсрочить твой боевой приказ?

— Не привык я местами меняться,— проворчал Дремов.

— Иногда это полезно,— наставительно заметил Карцев.

— Ну, я бы ему объяснил, растолковал, что к чему. Разрешили бы, иаконец, обратиться к кому угодно, но приказ свой выполнять заставил бы!— Дремов пристукнул кулаком по столу, и чайные ложки высекли из стаканов короткий звон.

— Иначе?..— подсказал Карцев.

— Трибунал, а в бою — пулья,— не задумываясь, ответил Дремов и отодвинулся со столом от стола.

— Вот,— удовлетворенно подытожил комиссар то, к чему вел разговор.— Не простые это слова — субординация и дисциплина воинская. Они для всех обязательны, от солдата до маршала. Отдавая приказ, надо брать в расчет соображения и возможности подчиненных. Не копируешь ли иногда сам, Илья Полуэктович, замашки того генерала? Но ведь и ты, надо полагать, подгоняешь, толкаешь в бой свои полки, как тот генерал дивизии.

— Толкаю. Двумя руками,— Дремов сопроводил эти слова энергичным жестом рук.— Когда сделаю все посильное, чтобы пехоте помочь, вот тогда и толкаю в огонь. Без крови фашистов не одолеть. За каждую пядь своей земли, раз не сумели ее удержать, теперь только кровью платим.

— Платить надо предельно малой кровью,— посуроев, сказал комиссар.

— В этом и есть наше военное искусство,— согласился Дремов.

— А бывает так, что командир вынужден посыпать солдат на верную смерть? Ради успеха операции в другом месте, или ради спасения других?

— Понимаю, куда ты клонишь, Родион Михайлович. Нет, такого значения бой под Холмовым не имел. Не диктовался он ни тактическими, ни, тем более, стратегическими соображениями. Полагаю, что кому-то очень хотелось, чтобы этот старорусский городок в сводке Информбюро фигурировал. А на верную смерть посыпать солдат никогда нельзя.

— Никогда?!— удивилась Егорычева.

— Никогда. Другое дело, когда люди сами идут на само-пожертвование, и в этом величие их подвига. А командир всегда должен хоть один из сотни, пусть из тысячи, но дать солдатам шанс, чтобы они и задачу могли выполнить, и в живых остаться. Без этого шансика любому хребрецу небо с овчинку покажется, а потому и приказ он может не так выполнить, как надо. Только фанатики других на верную смерть обрекают. Напили раз мои ребята в доте немецкого рядового — цепью к пулемету прикован. А вот офицера на цепи не встречали. Солдат для гитлеровской касты кто? Пепка, не проходи-

ная притом. Горючий материал, пущенное мясо. А для нас солдат — родной по кости, по духу человек. Его у пуломета, у пушки сильнее цепи долг перед Родиной держит. Разные миры воюют.

— А разве высокому начальству солдат не жалко? Или оно против того, чтобы штурму предшествовала подготовка, а артиллерия нехоту, как в уставе записано, огнем и колесами поддерживала?

— Таких крамольных мыслишек у меня нет. Наоборот, вижу и радуюсь, что техники к нам идет все больше и больше. И в уставы, наставления важные дополнения вносятся с учетом опыта уже этой войны. Но есть тут одна деталька, комиссар. Дистанция от солдат у меня и у того военачальника, что генералу приказал штурмовать Холмово, разная. Командиров всех, а солдат многих я не только в лицо знал. И после боя убитых своими глазами вижу. Кладут их, уже окостеневших, на машины или сани и свозят туда, где для них братскую могилу долбят. Сколько мы таких могил поотрывали и засыпали — не счесть...

— Спорная у тебя позиция, полковник, хотя в ней что-то и есть... Командир батальона или роты тоже может сказать, что у них и у тебя разные до солдат дистанции. Они еще ближе к тем, кто воюет и гибнет на их глазах, и, как ни крути, им больше твоего жаль тех, с кем они вместе делили военное лихо. И не подтолкнет ли комбата эта жалость на то, чтобы вслух или про себя поспорить с командиром полка, когда он ему приказ боевой будет отдавать, чтобы, скажем, проход для всего полка прорубить в обороне немцев. Я к тому речь веду, что из одной жалости исходить нельзя, ибо тогда можно прийти к абсурду — сложить оружие.

— Эк, куда тебя занесло, комиссар! Воевали и будем еще злее, умнее воевать — в этом не сомневайся. Жалость к павшим нас не расслабляет, а взывает к мести. Но беречь жизни солдатские надо, это не дрова для печки. Убьют солдата, и мы слабее на одного, и похоронная кого-то ударит в тылу под самое сердце, а выдергит оно или нет — это еще вопрос...

— Стоп, стоп, товарищи! — вступила в спор Егорычева. — Родион Михайлович нарочно все заостряет, чтобы вашу линию со своей сверить. Но давайте все расставим по своим местам. Жалость к павшим — вопрос ясный. Ответственность за жизни солдат и за выполнение приказа — это другое. Получил приказ — и думай, как его выполнить с наименьшими потерями. Это уже, как верно сказал Илья Полуэктович, — одно из слагаемых военного искусства. Теперь третье. К каждому приказу, как к безжалостному, конечно, подходить нельзя.

— Я о каждом и не говорил, — резко сорвал Егорычеву Дремов, но тут же смягчил тон. — Я вел речь о конкретном

приказе — взять Холмово. Что бы вы ни говорили, но вопрос о жизни и смерти солдат для меня был острее, чем для того генерала. И хотя мертвые сраму не имут, но мой генерал должен был не только козырять — есть, будет выполнено, — но и пайти мужество правдиво доложить обстановку, высказать свои доводы. Если он это сделал, пусть даже безуспешно, то ему нужно было по-человечески сказать мне. У нас в руках не оловянные солдатики, а советские люди. И все. И давайте этот спор отложим. По глазам Надежды Яковлевны вижу — устала и ждет не дождется, когда я уберусь востоян.

— Добро, — согласился Карцев. — Додумаем, доспорим в другой раз.

— Тем более, — оживился Дремов, — что и после войны будут спорить, осмысливать, книги писать.

— Так-то опо так, по многое для нас важно сегодня: мы ведь сейчас ведем войну, огнем пишем ее историю. И хорошо, что ты, Илья Полуэктович, понимаешь, что под твоим началом особые, советские солдаты. Береги их, но приказы выполняй. И по фашистам, даже если они молчат, сам огонь веди. Перемирия у нас с ними не будет ни на минуту, до самого конца.

— Есть вести огонь по врагу, товарищ комиссар! — серьезно ответил Дремов, подавая Егорычеву шинель.

Вьюга уже угомонилась. Свежий мартовский ветер приятно холодил разморенные духотой комнаты лица. В разрывах туч проглядывала луна, поблескивали звезды. На другой стороне улицы у частокола печных обгорелых труб стояла дремовская машина.

— Надежда Яковлевна, — начал вдруг Дремов, — мы, можно сказать, уже хорошо познакомились, пригляделись друг к другу...

— Я к вам не присматривалась, — возразила Егорычева.

— Пусть так. Я один приглядывался. Скажите, я зря обижаю медсанбатовские пороги?

— Понарасану. Не приезжайте больше к нам, Илья Полуэктович.

— Я вам противен?

— Отчего же? Просто не ко времени сейчас жениховство. Войдите, об остальном не думайте.

— Думая о вас, я бы лучше воевал. Приговор окончательный?

— Окончательный... Забудьте меня. Выкиньте из головы.

— Из головы что? Из сердца мне вас не выдворить, вот в чем беда. Кто-то мудро сказал — память сердца сильнее памяти рассудка. Простите мою слабость, мое чудачество, но я хочу прочесть стихи. Они ничего не изменят, просто — для души. Можно?

— Конечно, — охотно согласилась Егорычева. — Теперь, когда все трудное было сказано, ей стало легко, почти весело.

Она почувствовала себя свободной, и это чувство на какое-то время эгоистично отогнало мысль о том, что стоящему перед ней с потупленной головой человеку больно и горько. И эту его боль и горечь, и в чем-то свою вину она услышала, осознава-ла лишь когда Дремов стал тихо и по-мужски строго, без надрыва читать стихи:

«Еще томлюсь тоской желаний,
еще стремлюсь к тебе душой
и в сумраке воспоминаний
еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
он предо мной везде, всегда,
недостижимый, неизменный,
как почью па небо звезды...»

— Кто это? — спросила Егорычева после долгого молчания.

— Тютчев. Как ночью на небе вот та звезда, — Дремов указал рукой на звездочку, которой уже коснулся край сизой тучки. — Надежда Яковлевна, если все же вам захочется уви-деться со мной или если вам понадобится моя помо́щь, — кликните, и я примчусь. Обещаете?

— Обещаю.

— И еще. Не откажитесь взять мою жизнь в свои руки, если меня ранят. В свой медальон я уже вложил такой при-каз. Раз вы мне запретили на ваши глаза показываться, пусть хоть на носилках меня к вам принесут. Обещаете?

— Обещаю. Но вы поберегитесь. Уж очень мне не хотелось бы вас резать, мучить опять... Вы, Илья Полуэктович, хоро-ший и нужный при войне человек. Без нужды не лезьте в пекло.

ЧЕТЫРЕ «ГРОМА»

Денисов и корпусной особист Кузовлев в штабе дивизии за-стали только начхима. Ждать начальство они не имели вре-мени и передали через этого флегматичного тоистяка просьбу Дремову: усилить прикрытие медсанбата. Однако начхим не придал разговору с ними серьезного значения и забыл о нем, тем более, что его самого вскоре отправили в полк с каким-то поручением.

Поэтому, когда через два дня Кузовлев спросил у Дремова о судьбе медсанбата, для комдива это было полной неожида-нностью. Наведя справки и узнав, что в боевые порядки одного из его полков, прикрывающих отход дивизии, действитель-но как бы затесался тот самый батальон, в котором служили Кар-цев и Егорычева, комдив был просто взбешен. Он со своим шта-бом и двумя полками уже находился на восточном берегу не-широкой, протекающей по заболоченной местности реки и го-товил здесь новый рубеж обороны. Отчитав начхима, Дремов

разыскал по линии Денисова и упрекнул его: как же он не сумел своевременно отвести батальон в тыл!

Остудив таким образом немного свой гнев, комдив задумался. Кто бы ни был повинен, а раненых врагу не оставил. Он не раз, перефразируя суворовские слова, внушал подчиненным: «Сам погибай, а раненых выручай». Вспомнил он и свое обещание прийти на помощь Егорьевой по первому ее зову. И вот, может быть, сейчас она и Карцев мысленно взывают к нему. И это тогда, когда он сам в тяжелейшем положении,— ни раньше, ни позже...

Дремов вызвал начальника штаба и сообщил свое решение — отправиться в полк, находившийся еще в огневом контакте с противником по ту сторону реки. Мотивировал он это тем, что подполковник Широков, только вчера заменивший раненного комполка, может не проявить должной оперативности и решительности, а тогда будет худо всей дивизии.

В сопровождающую его группу офицеров Дремов включил начальника связи майора Панчука и дал ему считанные минуты на подготовку походной радиации и на утряску всего того, что было нужно для устойчивой связи со штабной радиостанцией. Отдав также распоряжение готовить машины, взвод пулеметчиков, расчет противотанкового орудия, Дремов с начальником штаба и командирами приданных дивизии артполка и дивизиона гвардейских минометов быстро отработал систему заградительных огней и кодировку их вызова. По заранее пристрелянному реперу он велел рассчитать исходные данные для массированного огневого налета на высоту, где сейчас находился наблюдательный пункт Широкова.

Не прошло и получаса, как к переправе подъехала колonna машин. В головном «виллисе» за рулем сидел Дремов. К нему подбежал командир саперов.

— Мост, Рустамов, взорви только после того, как вернется моя машина или... когда на него вступит противник, — приказал комдив. — Смотри, не перепутай.

— Есть взорвать мост после возвращения вашей машины или вместе с фашистами.

— Вот-вот, — одобрильно кивнул головой Дремов. — Или — или. Не перепутай!

Рустамов подозывал двух сержантов, вместе с ними обошел машину, продел через облицовку радиатора шнур, что-то начертил мелом на ее бампере, капоте и дверках, взглянул пытливыми глазами на сидевших позади комдива Кострова и шофера Игошина, и только после этого махнул флагом, разрешая движение.

— Как он еще нас не разукрасил, — проворчал Костров.

— Рустамов прав, — сказал Дремов. — Его могут ранить. Тогда приказ выполнит один из сержантов. И эту машину они

теперь ни с одной не спутают. Ты бы, я знаю, колдовать не стал, козырнул и кати, куда хочешь.

— Не стал бы,— подтвердил Костров.— Задержал целую колонну!..— Игошин, рябоватый старшина, подтолкнул локтем Кострова, и тот замолчал.

В километре от моста Дремов свернул с шоссе. «Виллис», подпрыгивая по-коэзьи на ухабах, побежал к высоте по ненаезженной дороге. За ним шел грузовик с пулеметчиками и расчетом прицепленного к ней орудия. Остальные же машины продолжали движение по шоссе к извилистой полоске синеющего вдали леса.

На высоте, возвышающейся над округой, как островок среди разнотравья и кустарников, Дремова встретил исполнявший обязанности командира полка Широков. Не скрывая своей радости, он хотел было доложить обстановку, но, взглянув на комдива, осекся. Улыбка сбежала с его моложавого широкоскулого лица. Дремов, кивнув на ходу Широкову, сразу же пропел на НП, где над походным столиком с картами в сторону противника нацелилась растробом стереотруба. Обзор был хорошим, но только до того места, где идущее справа от высотки шоссе, огибая лес, делало крутой поворот. «Все вроде было верно»,— подумал комдив, прикинув на местности свой еще ранее намеченный план, и обратился к Широкову:

— Стало быть, решил здесь с двумя батальонами погибать? Что ж, местечко подходящее. Если памятник тебе поставят, далеко будет виден.

— Не понял вас, товарищ комдив,— озадаченно сказал Широков. Он нарочно не назвал Дремова по званию. Недавно до Широкова допер слух, что командиру дивизии присвоили генерала, но тот был в полковничьем обличье, со «шпалами» в петлицах. «Буду величать пока по должности или по-старому»,— решил подполковник.

— Плохо, что не понял,— отозвался Дремов, разрисовывая карту условными значками, красными и синими стрелами.— Противник, уверен, уже наметил эту высотку сначала перепахать, а потом оседлать и отсюда корректировать огонь по нашей переправе. Мне не веришь, спроси генерала фон Дребера. По его приказу на тебя уже пушки нацеливаются. Доходит?

— Доходит...— ответил побледневший Широков.

— Если согласен, решим так. Один батальон с хозяйством всего полка немедля отвести за реку. Дай приказ батальону Сонина прикрывать медсанбат и медленно, с боем, отходить вот отсюда к леску. Сразу же, как мы поставим за ним заградогонь, пусть без оглядки спешит к переправе. Да, за поворотом шоссе поручи ему оставить двух толковых солдат и соединить их ниткой с твоим новым НП, вот на этой опушке.

Я буду на дереве, чуть западнее тебя. Там Панчук и мой оперативник Наговицын уже хоятчиают. Установи с ними контакт, помогут. А вдоль кромки леса перед собой посади в засаду усиленный полковой артиллерией и пулеметами батальон Назанияна. Как только медсанбат переползет через мост, всех назаниянцев на машины, которые я подогнал, и «аллюр три креста», — Дремов протянул Широкову карту. — Вот здесь для ясности все нарисовал. Подумай и действуй быстро. На ту сторону — со всеми ранеными и убитыми. Никого на поругание не оставь. Вопросы?

— Пока нет. Разрешите выполнять?

— Давай, комполка, командуй.

Широков поспешно ушел, прикидывая в уме очередность своих действий и стараясь не забыть про дважды упомянутый комдивом медсанбат.

Через Кострова Дремов вызвал командира взвода пулеметчиков Клюева, младшего политрука пульроты Иванцова и командира орудия Мухамедова.

— Вам, друзья, самое трудное, — мягко и доверительно обратился к ним Дремов. — Как только противник выскочит вслед за батальоном Сонина из-за поворота на этот участок шоссе, врежьте ему посильнее. На высотку он, конечно, сочинит, и не раз, злой артиллера. Будьте к чему готовы, отройте «горы» поглубже и поуже. Самолетов не бойтесь. Погодка в нашу пользу, — Дремов с довольным видом обозрел небо, укрытое низкими, плотно сбитыми сизо-бурыми тучами. Солнце угадывалось только размытым светлым пятном. — По шоссе мы немцев сразу не пустим. Они полезут на вас полем, скорее всего по ложбине. Когда подойдут поближе, постреляйте минут пять, не больше, но с жаром. Потом засветите красную ракету, — и во весь дух к переправе. Вот и вся ваша задачка. По зубам?

— По зубам, — бодро отозвался Клюев. Его лицо расплылось в широкой белозубой улыбке.

— Сдюжим, — подтвердил Мухамедов. — И орудие вытащим.

— Отставить, старший сержант. Пушку тащить не будем. Ваш расчет надо сберечь для Берлина. И чтобы ты не колебался, вот тебе мой приказ. — Дремов размахисто написал на развернутом Костровым блокноте несколько слов, вырвал листок и вручил Мухамедову. — Мы потом ее на этой высотке поставим и ствол на запад нацелим. И вы, друзья, сюда после войны завернете, расскажете людям про сегодняшний бой.

Мухамедов, пряча листок в карман гимнастерки, недоверчиво улыбнулся.

— А вам, Иванцов с Клюевым, тоже «расписку» вручить, что велено высоту сдать? Чтобы вы потом в военный совет армии на меня с жалобой пошли?

— Не нужно нам расписок,— не принимая шутки, сказал Иванцов.— Потом уж все враз назад заберем. Раз так вышло...

— Заберем. Отвоюем. Ты, Иванцов, объясни все солдатам. Сделаете как сказано,— врагу урон нанесем и полк сможет без больших потерь от противника оторваться. Итак, ты, Клюев,— комендант высоты на час-другой. Всех быстро выкуришь и обживай. Я в вас верю, друзья,— Дремов пожал всем рукам и огляделся. По шоссе к переправе уже двигались пехотинцы. В узенький разрывчик туч, обрамленный их рваными закраинами, показался кусочек искрой голубизны. Комдив вирищур любовался им, пока его вновь не скрыли тучи, оставив ненадолго крохотную голубую звездочку.

Дремов услышал за спиной покаливание Широкова. За ним стояли два солдата.

— Готов следовать на новый НП.

— Забирайте хозяйство,— обратился Дремов к солдатам, и те быстро собрали и унесли нехитрое оборудование НП.— Торопил Клюев?

— Поторапливал.

— И комендантом представился?

— Так точно, товарищ полковник.

При этих словах в глазах Дремова что-то дрогнуло, не то удивленно, не то смешливо. «Ну, ясно, что он генерал, а я, чудак, его по-старому, полковником...»— ругнул себя Широков.

— Тогда порядок. Как скомандую отход, не задерживайтесь с Назаняном, спешите за переправу.

— А вы?

— Я на этот раз последним. Проеду, и мост взлетит. Не давай, подполковник, мне сегодня тебя обгонять. Иначе рассержуся. Езжай.

Дремов еще раз через бинокль оглядел местность и стал спускаться с высоты. Не обращая на него внимания, пулеметчики и пушкари поглубже зарывались в каменистую землю. В машину он сел рядом с Костровым, а на руль уверенно положил руки Игопшин. «Виллис», огибая заболоченный участок, вновь приблизился к переправе и лишь потом вырвался на шоссе. Впереди шла машина Широкова. Игопшин пошел было на обгон, но шофер передней машины явно не собирался уступать дорогу и прибавил скорость. Старшина тихонько, под нос, ругнулся и снова занял свою сторону.

— Он что, одурел?— воскликнул Костров.— А ты что? Этую колымагу не обгонишь?

— Не обгонит,— усмехнулся Дремов.— Широков выполняет мой приказ. Учись, Петр, исполнительности у Рустамова и Широкова.

— С каких это пор нам не стали уступать дорогу? И какой смысл в таком приказе? Не понять, Илья Полуэтович.

— Думай, и мне не мешай.

На машину справа исподволь наплывал смешанный лесок. Стали доноситься слабые отголоски боя, который где-то за изгибом шоссе вел батальон Сонина. Регулировщик направил «виллис» по лесной дороге. Через полуоткрытое лобовое стекло ворвались бодрящие лесные запахи.

На одной из полян машину встретил связной. Костров, переговорив с ним, объявил:

— Дальше пехом.

Только теперь, выйдя из машины, Дремов заметил рассредоточенные, замаскированные и частично уже врытые в землю грузовики и «додж» Панчука. По еле заметной, лишь недавно протоптанной тропинке шел он за связным и Костровым, а мысли его были прикованы к высоте, где оставил горстку храбрецов, дав им возможность не только погеройствовать, но и остаться в живых. Еще думал он о медсанбате, спешающем к переправе.

Вдалеке загрохотали разрывы фугасов. «По высоте бьет фон Дреббер, — тоскливо подумал комдив. — Но все же я тебе всыплю, обязательно всыплю, генерал».

Под высокой лиственницей была открыта зигзагообразная щель. Наспех связанные телефонным проводом лестница вела к укрепленной на дереве площадке из досок. Там майор Наговицын, щеголеватый, как всегда, что-то кричал в телефонный аппарат.

Костров протянул Дремову каску. Взяв ее за ремешок, комдив направился на узел связи, который угадывался по дробному писку морянки и голосам телефонистов. Здесь его встретил Панчук — худощавый и низкорослый майор. Его остроносое лицо так и светилось: как не быть довольным, когда комдив взял его с собой на важную операцию, и он, Панчук, уже вошел в связь и со штабом дивизии и даже с батальоном Сонина!..

— Молодец, Панчук, — похвалил Дремов. — Но учти, тактико долго не будет.

— Учитывая, товарищ комдив, — зажурчал вкрадчивый голосок Панчука. — Сейчас вводим в связь рацию Широкова. Через нее будем дублировать ваши команды.

— Давай Сонина, — потребовал Дремов, решивший проверить, не хитрит ли Панчук и, главное, подбодрить комбата, выполнявшего сегодня главную роль в бою.

Сонин усталым, слабо слышным голосом доложил, что санбат подходит к повороту шоссе, уточнил свои координаты и место, где противник накапливает силы для рывка по шоссе.

— Не боишься, что сомнут тебя танками?

— По приказу комполка минирую шоссе, выдвинул пэтээрцев.

— А обойти тебя фрицы не могут?

— Нет. Шоссе до поворота обжато с двух сторон лесом, а туда их палкой не загонишь.

— Ишь, как у тебя все просто. Прикажет фельдфебель или генерал — и они не то что в лес, к черту на рога пойдут. Поглядывай, чтобы они не просочились лесом. Себя и нас подведешь. Вот-вот, заслончики не помешают. Стало быть, так, Сонин. Я сейчас их подкормлю «огурцами», а ты закрепись у поворота. Держись, пока Широков не даст команду отходить. Мы поставим заградогонь, а ты дуй к переправе. Верю, верю, дорогой. Желаю успеха.— Комдив обернулся к связисту.

— Теперь передай в штаб: «Гром — один».

Панчук спрыгнул в прикрытый плащпалаткой ровик, занял место радиста и, чуть-чуть подкрутив шкалу настройки, подул в микрофон:

— Звезда, звезда, как слышите? Ноль — первый приказал: «Гром — один». Повторите. Так, оставайтесь на связи. Все, товарищ комдив,— сказал Панчук, улыбаясь и отряхивая колени от песка.— Один «гром» разменяли.

Над лесом пронеслась «пачка» снарядов, за ней другая, третья...

Дремов положил руки на плечи Панчука, словно вверяя ему свою озабоченность и прося помочь в этот трудный денек.

— А их, Панчук, всего четыре... Не подведи,— сказал комдив каким-то не свойственным ему глухим, тихим голосом и поспешил на наблюдательный пункт. Костров остался внизу, а Дремов, надев каску, забрался на площадку. Первое, о чем ему доложил Наговицын, было сообщение о выходе медсанбата на прямой отрезок шоссе.

— По высоте противник в течение десяти минут вел масированный огонь. Наши не отвечали.

Дремов поднял к глазам висевший на груди бинокль. Высоту он не узнал — так много на ней появилось воронок. «Если их уже нет в живых,— подумал комдив,— то может сорваться план заманить на высотку крупные силы и отвлечь внимание от засады вдоль шоссе. Да нет, парод бывалый!» Он перевел взгляд на растянувшиеся по дороге санитарные фургоны. Казалось, что они застыли на месте, а двигалась только одна всадница, поразившая Илью Полуэктовича сгорбленностью сникшей фигуры. «Это, конечно, Егорычева. Устала, бедняжка. Давпенько же мы с ней не виделись! Хорошо бы встретиться после боя, поговорить... Извини, Надежда Яковлевна, но я должен поторопить тебя». Комдив вызвал Широкова:

— Видел, Дорофей Павлович, свою высотку? То-то. Хорошо, что все у тебя наготове, но пока есть минуты, проверяй, разъясняй. Как пройдет Сонин, сразу минируй шоссе там, до куда ты немцам разрешишь по нему шагнуть. «Бог войны» с тобой? Дай ему трубку. Знаю, у него есть своя нитка, но по твоей хочу поговорить, чтобы он ближе к тебе стоял. Как дела,

пушкарь? Нацелен на шоссе? Верно. Медсанбат видишь? Да, тиховато движется. Поторопи его одним снарядиком. Я бы сам поторопил, да Панчук провода пожалел.

— Не было команды, товарищ комдив,— раздался голос Панчука.

— Не подслушивай мои секретные разговоры, Панчук.

— Это контроль.

— Молча контролируй, но то я тебя сразу к себе на вышку. Так вот, пушкарь, один снаряд — и не зацепи. Не засекут? Я тоже так думаю. Все. Теперь с тобой, Панчук. Связь с разведкой Сонина?

— Установлена.

— Потиши,— обратился Дремов к Наговицыну, ведущему разговор по другому аппарату.— Что сообщают?

— Сонин срезает поворот. Немцы после «грома» еще не очухались.

— Очухаются. Не сомневайся. Когда Сонин оставит «поворот» и немцы начнут там собирать кулак, пусть разведчики сообщат обстановку и по нитке выходят к тебе. Проследи и не вздумай поручать им провод на катушку сматывать.

— Есть проследить. Чай подослать?

— Нет. И сам чай не гоняй. Сойдет все гладко — вечером водкой угощу. Все.

Вблизи последнего фургона вырос кустистый разрыв. Потом до вышки донесся звук взрыва. Ездовой даже не оглянулся. «Ишь, какой обстрелянный попался,— проворчал комдив.— Или глухая тетеря?» Дремов вспомнил первую встречу с Егорычевой, перебранку с ней, и это воспоминание отозвалось в душе слабой, но живой болью. Довернув влево бинокль, увидел Егорычеву, скачущую вдоль колонны и поторапливающую ездовых.

...Когда, наконец, прошел к переправе медсанбат, а вслед за ним и передевший батальон Сонина, Дремов облегченно вздохнул. Как бы ни развивались дальше перипетии боя, раненые и «сонинцы» уже спасены. Теперь его руки развязаны. Дремов закурил папироску.

— Вас просит Широков,— обратился Наговицын, протягивая телефонную трубку.

— Разведчики сообщают, что за поворотом скопились мотопехота, самоходки и танки. Видимо, решили на плечах Сонина прорваться за реку.

— Копечно, решили, но мы все перерешим по-своему. Отзови, Дорофей Павлович, разведчиков. Срочно! Через пять минут прикажу накрыть фрицев.

— Уже отозвал, товарищ комдив.

— Не зацепим их?

— Нет, они же бегут вдоль провода, напрямую.

— Панчук?

— Слушаю Вас.

— Передай: «Гром — два».

— Есть «Гром — два!» — торжественно повторил Панчук.

— Какие будут приказания, товарищ комдив? — спросил

Широков.

— Старые. Постой, — летят!

Чуть не задевая верхушки деревьев, к скрытому леском изгибу шоссе пепелись и пепелись снаряды разных калибров. Их разрывы слились в сплошной переливчатый гул — такова была высокая плотность огня.

— Так вот. Очухаются, высунут нос на шоссе фрицы — ты молчи. Первое слово — высоте. Когда фон Дреббер их маскиндарит и они втянутся на шоссе — смешай их всех с землей. По моим ракетам — к машинам. А второй эшелон накроем огнем из-за реки. Пусть Назанин не горячится. Вопросов нет? Работай, Дорофей Павлович, война — это работа. Пусть солдаты зарываются поглубже в землю. И маскировка! Пока. А ты, Наговицын, почему без каски? Форсишь? Тут не до форсусу. Иди на узел связи к Панчуку, чаю за меня глотни.

— Разрешите раздобыть каску и вернуться!

— Не разрешаю. Нечего нам вдвоем тут делать. И каску с чужой головы снимать неудобно. Вот если меня срежут, беря мою и подымайся. Все доведешь до конца.

Наговицын нехотя стал спускаться на землю. Он проклинал себя за то, что нарочно оставил каску на штабном сундучке возле пишущей машинки.

Прошло примерно с полчаса полной тишины, когда из-за поворота на шоссе на большой скорости вырвались вражеские мотоциклисты, самоходки и несколько грузовиков с автоматчиками. Вдоль леса пробежал огневой вал. Зашаталась лиственница, под ногами заскрипели доски. Над деревьями рвалась шрапнель, оставляя белые округлые дымки. Посыпались срубленные осколками ветки. Дремов прислонился к стволу. «Прoverяют, — думал он. — О засаде вряд ли догадываются. Фон Дреббер полагает, что мы уже у переправы».

Послышались гудки зуммера. Это Панчук проверял связь и беспокоился за комдива. Орудийными выстрелами, пулеметными очередями заговорила высотка. «Так, так», — мысленно подбадривал Дремов ее защитников.

Гитлеровцы повернули назад, обтекая с двух сторон горевшую самоходку — видимо, это была разведка. Дремов представил себе, как мечется сейчас по окопу темпераментный Назанин и, чего греха таить, поругивает начальство, запретившее его батальону вступать в бой. И вот теперь враг, прямо из-под его носа, без больших потерь возвращается восьмояси! «Погоди, Назанин, придет и твой черед. Потерпи».

Не успели отступавшие скрыться за леском, как оттуда выплеснулся новый, усиленный танками, отряд немцев и стороной

от шоссе двинулся к высотке, покрывшейся сеткой разрывов. «Быстро реагирует этот фон Дреббер,— отметил Дремов.— Туго сейчас ребятам».

Немецкая артиллерия, боясь накрыть своих, прекратила обстрел высоты. И как только она смолкла, вновь заговорила пушка Мухамедова, реже, но застручили пулеметы Клюева. Комдив засек время. Три, четыре минуты. Пять! «Передерживают,— пахнулся Дремов.— Пора уходить». И, словно подчиняясь его воле, с высоты в сторону противника взвилась красная ракета.

К высоте подобрались танки. Видно было, как по ее скатам карабкались минометчики и пехотинцы. Одновременно со штурмом уже оставленной Клюевым высоты противник вытолкнул на шоссе танки, под прикрытием которых шли грузовики с солдатами.

— Широков! — закричал в телефон Дремов.— После залпа «катюш» по высоте начинай. Панчук, срочно повторить «Гром — два», одновременно — «Гром — три». Слыхал? Передавай.

Медленно потекли минуты. Западный скат высоты был усеян копошившимися солдатами, а головной танк на шоссе подорвался на мине и крутился на уцелевшей гусенице. Сейчас, сейчас нужен огонь!

— Панчук! — загремел Дремов.— Чай гоняешь?! В чем дело?

— Все, все. Передал,— послышался виноватый голос начальника связи.— Была заминочка...

Ругнуть Панчука за эту «заминочку» Дремов не успел. К высоте уже неслись отнедышащие ракеты «катюш» и невидимые стаи снарядов. Ее заволокло дымом, сквозь который в разных местах прорывалось пламя. Одновременно рвались снаряды и за поворотом шоссе, заговорили пушки, пулеметы и автоматы Широкова.

«Гром» грохотал десять минут. Когда он смолк и ветер разогнал дым, Дремов увидел развороченную ленту шоссе, усыпанную вражескими трупами и покореженной техникой. По дороге сновали наши разведчики, бросая в мешки планшетки, полевые сумки гитлеровских офицеров.

— Широков! Собирай раненых — и всех к машинам. Быстро, но никого не забудь. Не дай мне обогнать тебя! Ну, хорошо. Панчук! Передай на «Звезду»: вести беспокоящий огонь по квадрату 5—12. И собирай свое хозяйство. На стоянке машин передашь последнюю команду, и тогда гоняй чай. Да, пришли разведчики? Смотали? За это и «заминочку» — взыщи. Передай Наговицыну, чтоб засветил ракеты. Он знает.

В небо взвились две зеленые и одна желтая ракета — сигнал к отходу. Внизу Дремова поджидал Костров.

— Все, как по потам, Илья Полуэктович!

— Подожди ликовать. Видишь, как огрызается фон Дреббер?

По лесу ухали мины, рвались снаряды. На опушке батальон Назаняни грузился в машины. Артиллеристы уже спялись с огневых позиций и мчались к переправе, чтобы там, если потребуется, подстраховать пехоту. Чуть вздрагивающими руками Дремов открыл коробку, но она оказалась пустой. Адъютант достал из кармана новую пачку, распечатал ее и передал комдиву, не преминув проворчать: «Сверх нормы».

— Сегодня, Петя, у нас все сверх нормы. Потом сконопим, скряга ты этакий,— шутливо пожурил Дремов и с наслаждением втянул в грудь горьковатый дымок.

Панчук с гордо поднятой головой стоял у рации, развернутой вблизи его «доджа». Эта американская машина в документах именовалась иначе — «додж^{3/4}». Фамилия же у шофера была Корж. Поэтому весь «боевой ансамбль» в дивизии звали так: «Корж, додж и три четверти».

— Связисты сегодня работали без заминочки,— похвалил Дремов и с легкой усмешкой посмотрел на майора.

— Все отправлены,— доложил Широков.

— Вот видишь, комполка, и немцев побили, и сами оторвались от них без особых потерь. Теперь фон Дреббер за речку сразу не сунется. Подгоняй машину,— велел адъютанту Дремов и снова обратился к командиру полка:— Выезжай, Дорofей Павлович, в новое расположение дивизии. И быстро.

— Слушаюсь, товарищ командир дивизии.

На поляне остались только «додж» и «виллис» комдива, который выехал из укрытия.

— Передай, Панчук, «Звезде»— через пятнадцать минут «Гром — четыре». И пусть отдохнут, больше мы их вызывать не будем.

Панчук быстро передал команду, принял подтверждение, велел свернуть рацию.

— И трогай. Без разговоров.— Дремов засек время.

Панчук и Наговицын, явно недовольные таким решением, забрались в «додж», и тот, набирая скорость, скрылся за чащбой леса. А огонь все усиливался. Шагах в двадцати разорвалась мина. Осколки прожужжали над ухом комдива. «Рассердился всерьез фон Дреббер,— улыбнулся Дремов.— Еще бы, морду набили». Он сел в «виллис», Игошин засуетился, нажал на стартер. Мотор молчал.

— Ты что?— крикнул Костров.

— Я ничего,— растерялся Игошин.— Ты же слышал, мотор только что работал и вдруг — на тебе!— Он выскоцил из кабины, приподнял капот. За ним поднялись Костров и Дремов.

— Вот, товарищ комдив!— закричал Игошин.— Проводку перебило.

— Чини, Игошин, быстро. Через... через двенадцать минут наши ударят по всей округе. Немцы подходят.

— Да? — удивился Игошин. Ему только теперь стала понятна нависшая над ним, Костровым и, главное, над комдивом опасность. На его лице сильнее проступили рябинки. Вместе с Костровым он принял торопливо срацивать провода, а Дремов, не желая им мешать, засунул руки в карманы брюк и стал прохаживаться по поляне. Рука коснулась каких-то пластин. Вспомнил: еще неделю назад вместе с поздравлением о присвоении генеральского звания командарм вручил ему новые петлицы. Илья Полуэктович посчитал неудобным отмечать это радостное для него событие в период отступления и отложил до лучших времен. Слухи по дивизии, правда, ходили, он их не отрицал и не подтверждал. Вынув петлицы, Дремов полюбовался вышитыми на них звездами и опять сунул в карман. Попала девятая минута, а Игошин все еще возился с проводкой. «Обидно, — подумал комдив. — Надо было позволить Панчуку подождать, ехать вместе. Без меня никто не знает, кого и чем надо наградить».

— Ну что вы там? — крикнул Дремов. — Поедем домой или куда подальше? — Он увидел испуганное лицо адъютанта, судорожно скимавшего кусочки, — и тотчас же ему заложило уши, что-то горячее ворвалось в грудь, закрутило и бросило в густую темь.

Игошин захлопнул капот, хотел было заводить мотор, но Костров зло схватил его за руку и потащил к раскинувшемуся на земле, будто свавшему, комдиву.

— Подсобляй! — крикнул Костров в ухо Игошину. — Миной срезало.

Как только Дремова запесли в машину, Игошин пулей проскочил к рулю и, закусив губу, даванул ногой на стартер. Мотор сразу же откликнулся, зарокотал.

— Гони! — закричал адъютант, но, взглянув на часы, убедился, что уже началась шестнадцатая минута, и тоскливо добавил: — Нет, езжай осторожно, а то еще в воронку угодишь. Наше время все равно истекло.

Он поддерживал своего командира за голову и спину, стараясь не глядеть на его лицо: боялся увидеть мертвые, остекленевшие глаза. Пока он их не видел, была надежда, что комдив жив.

Попала двадцатая минута, уже летят на них свои снаряды, несущие смерть. «А я еще папирор для него пожалел!» — упрекнул себя Костров. И сейчас, казалось бы, в последние минуты недолгой жизни, он думал не о себе, а о Дремове, которого полюбил всем сердцем.

«Виллис» вырвался на шоссе, а раскатов «Грома — четвертого» все еще не было слышно. Только позади, сквозь неосев-

пий дым горящих самоходок, зоркий глаз Кострова разглядел вытягивающуюся, как гусеница, колонну гитлеровских танков: они стреляли свернутыми набок пушками по кромке леса, где раньше находился в засаде батальон Назаняна.

— Ну, где, где твой «Гром-то»? — крикнул с надрывом Игошин, лавируя между воронок и выдолбин. Поломка машины, ранение Дремова и вот эта нависшая над ними теперь тягучая опасность оказаться каждый миг под огнем своих пушек и «катюш» — все это потрясло его и до предела напрягло первых. Он был согласен на скорую смерть, — на то и война! — но то, что творилось над ними сейчас, было мучительнее и страшнее.

— Сам не пойму... — откликнулся Костров. — Двадцать пять минут прошло. А может, на наше счастье, у Панчука или артиллеристов заминочка вышла. А? — загорелся он надеждой, что свершилось какое-то неизвестное ему пока чудо, а раз свершилось одно, может произойти и другое, — спасение Ильи Полуэктовича! И мысль об этом снимала усталость рук, которыми он поддерживал грунтовое тело комдива, стараясь смягчить дорожную тряску.

Чуда, естественно, не было. Это стало ясно Кострову и Игошину, когда они увидели на обочине дороги коржовский «додж» и стоявших у развернутой вблизи рации Панчука и Наговицына. Значит, Панчук решил на свой страх и риск отложить «Гром—четыре» и не ошибся. Наговицын подскочил к «виллису», увидел лежащего на руках у адъютанта комдива и побежал обратно к Панчуку. Тот схватился за голову и, не опуская рук, что-то закричал в микрофон. Потом, пока связисты заносили радио в «додж», Панчук подошел к Игошину и сказал чужим голосом:

— Больше не отставайте. — Он не хотел вторично нарушать волю комдива, пожелавшего последним покинуть сдаваемый врагу кусочек родной земли. — За мной, сразу в госпиталь, — Панчук махнул рукой и сел в подпятывшийся к нему «додж». По его команде в «виллис» запрыгнул радиист с двумя индивидуальными пакетами. И когда машины вновь помчались по шоссе, а связист склонился над Дремовым, Костров впервые осмелился взглянуть в глаза комдива. Они были закрыты чуть подрагивающими складками век. «Жив, жив!» — ликовал Костров, не замечая, что по его щекам непроизвольно заструились слезы, а по напряженным до предела рукам текла вязкая дремовская кровь. Он даже забыл про вражеские танки, которые уже настигали «виллис» и «додж» с тем, чтобы выполнить приказ — взять красных офицеров в плен.

И тут раскололось небо, вздыбилась позади земля, и долго, ожесточенно гремел, перекатывался над ней «Гром—четыре».

За мостом, с флагжком в руках, стоял Рустамов. Узнав машину комдива, он побежал к ровику и крутнул маховичок

подрывной машины. Прогремел взрыв, в воздух взлетели мостовые балки. Клубы едкого дыма как бы натянули завесу над тем, что произошло позади за долгие для одних и быстротечные для других часы боя.

■ ■ ■

Лариса КЕНИН-ЛОПСАН

КНИГА ЖИЗНИ

Были мудрого охотника Бора-Хоо

Могучие кедры шелестели ветвями, когда по их вершинам пробегал озорной ветер. Быстрая, говорливая речушка спешила, недовольно обтекая свалившиеся на ее пути отжившие свой век деревья. Под корягами и корнями парни прямо руками ловили ленивых рыбешек. Две девочки рвали на берегу реки цветы, они называли их таежной сиренью — за цвет и высоту. На поляне на камнях сидела молодая женщина. Она склонилась над костром, поджаривая нанизанную на прутики рыбу.

Неслышино подъехал старик верхом на коне — чабан с соседней стоянки. И я невольно вздрогнула, представив на миг, что это приехал он, дедушка Бора-Хоо. Ведь когда-то здесь стояла его юрта и паслись овцы. Бегали по высокой траве дети. И жена выходила встречать его, вернувшегося с охоты.

А теперь тут горел костер, и вокруг сидели его дети и его внуки. И, глядя на огонь, я отчетливо представила его смуглое лицо с морщинками на лбу, стриженую голову с пробивающейся сединой. И длинную трубку, которую он так бережно подносил ко рту. Его память меня всегда поражала. Она хранила столько удивительных историй! О чем бы его ни спросили, он в ответ рассказывал одну из многочисленных былей.

* * *

ОДНАЖДЫ он приехал к нам в город накануне Нового года. Прошел на кухню, разбрзгал па железной печи немногого вина и пожелал нашему очагу никогда не гаснуть, а домочадцам — не болеть, жить дружно и счастливо. Так уж устроен человек, что перед Новым годом он оглядывается на прошедший путь. Дедушке Бора-Хоо Новый год навеял воспоминания о далеких и милых его сердцу годах.

СУХИМ — ИЗ ВОДЫ

Не было обычая записывать в книгу ребенка, когда он на свет появлялся. Люди работали в поле (это было где-то в кон-

це мая — начале июня), когда в этом мире впервые раздался мой голос.

Меня хотели назвать по имени одного уважаемого в нашем роде старика — Боракы. Но пришел этот старец и сказал, что его имя не принесло ему счастья, надо младенца назвать как-то по-другому. И придумали — Бора-Хоо.

По восточному, лунному, летоисчислению, шел год Дракона. Отличия у него особого нет. Вот если человек родился в год Тигра, то у него суровый характер должен быть. Самый благородный — год Мыши. Хорошим считался и год Собаки, — тогда люди богатого урожая ожидали.

Прошло 12 лет — и снова наступил год Дракона, мой день рождения.

Обычно богатый человек обращался к ламе, и тот бросал жребий, предугадывал, что ожидает человека в долгой жизни. Лама совершал моление — хурум, гадал на шоо — четырех деревянных дощечках. Гадает по ним лама, затем молитвенную книгу открывает и по ней читает.

Но я думаю, что это был сплошной обман. Что лама мог высмотреть на дощечках? Обходился хурум очень дорого: надо было ламе платить скотом. Отдавали ему теленка, корову, барашка... Бедному человеку выходило не по карману. И поэтому я так и не узнал, что меня ожидает в жизни.

А в жизни моей случалось всякое. Старость удивительно сохраняет воспоминания детства. Как сейчас вижу ручей, гальку на берегу и мальчишек, кидающих камешки в воду. Мне в ту пору было лет пять.

Местечко называлось Теве-Хая. Пять скал напоминали верблюдов, сбившихся в кучу. Юрт десять стояло. Люди дружно жили.

Мы играли на берегу. Вдруг я почувствовал невольный страх. Что-то произошло вокруг меня, я спачала не мог понять, что. А это наш ручеек мигом превратился в речку — свойство горных рек в начале лета.

Почему-то моему ровеснику Сотна пришла шальная мысль: «Я тебя вытолкну на волну». Не успел я сообразить, как уже барахтался в воде. Все, думаю, погибну. Течение тащит меня, а я почему-то держусь на воде, не тону. Увидел меня сын Кара-Хунажика, юноша Бадарчы. Бросился в воду...

Он вынес меня, потерявшего сознание, на берег. Очнулся, смотрю, люди собрались. Кто-то крутил меня за ноги в воздухе, пока я не открыл глаза.

Жуткое чувство, связанное с рекой, на всю жизнь осталось. Когда приезжал сюда — здесь потом центр опытной станции стал, — вспоминал тот страшный день, тех людей, которых сейчас уже нет. Мне не раз говорили: «Повезло тебе, Бора-Хоо, сухим из воды выпел, долго жить будешь».

С рекой связано и другое воспоминание. Кочевали мы, жили в юртах. Но все чаще заходили разговоры о том, что нужно переходить в дома, создавать поселок. Тут старики заспорили, где выбрать для этого подходящее место. Каждый отстаивал то, где находилась его летняя стоянка. Стариков понять можно, они очень привязаны к родному очагу.

Тогда решили обратиться к человеку, о котором шла молва, что он хочет в степи вырастить дивный сад. Для нас в диковину было слышать о сельскохозяйственной опытной станции, о яблоках. Русский ученый, человек преклонного возраста, вызывал почтение и восхищение. Мы-то знали, что природа у нас суровая, и вырастить сад — большое упорство надо.

Позвали его. Вместе со стариками обхеяли стоянки. И вот что посоветовал мудрый человек: «Стройте поселок между рекой Улуг-Хондергейм, около нее проходит оживленная дорога на юг, и рекой Аныак-Хондергейм, которая не замерзает. Вода для человека — это все!»

Подумали старики. А и прав русский! Здесь богатые травой пастбища, тут и благодатная земля, — можно сеять зерно.

Но не скоро еще вырос поселок. Прошли годы. И тогда мы, мужчины разных стоянок, создали строительную бригаду и поставили первый дом — школу: детям надо было учиться.

* * *

ДЕДУШКА Бора-Хоо привез внучке подарок — рыжую лису. Дети обступили его, гладили пушистый мех и задавали множество вопросов: «Трудно ли ее было поймать?», «Какое ружье у него?»... Они не переставали удивляться его ответам и просили рассказать об охоте на зверей.

В СТРЕЧА В ЛЕСУ

Охота потому у меня удачна, что я знаю одну молитву. Нет, не божественную, а просто такую, чтоб успех способствовал. Меня еще отец научил. Охотник зажигает костер. Потом бросает из него огонь на широкий камень. Артыш — можжевельник, в горах растет, приятный от него запах. Растение это в костре готовится сан. А на настоящем костре готовится чай. Потом его разбрызгивают в разные стороны, ну, и определенные слова говорят: «Мои святые, высокие горы, я к вам обращаюсь! Мои богатые, дремучие леса, я к вам обращаюсь! Ради вашего величия я совершил аратский сан, ради вашего благородства я разбрзгал чай. Мои высокие горы, дремучие леса, пожалейте меня, бедного охотника. Я обращаюсь к вам, чтобы вы поднесли мне свой богатый дар. Я ваш сын, я всегда к вам возвращаюсь, отпустите меня с добычей в свою юрту».

Охотиться я стал с 16 лет. Первый раз поехал вместе с отцом. И в лесу между двух гор — Кара-Чурек и Биче-Шог-

жан — убил волка. Я учился у отца всем премудростям. Никогда не носил отец ружья, да и купить его бедняку в те годы было трудно, а стрелял из лука. И слыл метким охотником в нашей местности. В народной игре баг адар — стрельбе из лука он всегда побеждал. Лук ему делал великий мастер Ала-Карак. Когда шли охотиться на белок, отец брал три стрелы. Но обычно обходился одной,— только сю поражал зверьков.

На охоте хитрым быть положено. Вот стая волков. Надо выбрать вожака и убить. Другие звери разбегаются. Тогда, подражая вою волков, начинаешь их подзывать. И некоторые из них попадаются на эту хитрость.

А то берестяной свисток сделаешь. Он издает такие звуки: мыс-мыс,— лесной козленок так кричит. Смотришь, большая коза и приходит на звук. Бывает и неожиданная встреча: вместо нее выходит «на добычу» волк.

Самая памятная охота — на медведя. Потому, что чуть не стоила она мне жизни.

Поехали мы охотиться на маралов вместе со старым Боопкуном. Выехали из аала, остановились в устье Чайлаг-Хема. Старик пошел по берегу этой речки, а я к другой речке — Чер-Кошкен двинулся. Солнце поднялось, но я никакой живности не встретил. Иду, и так тоскливо на душе от неудачного дня!.. Решил вернуться на стоянку. Какой-то подозрительный звук заставил меня насторожиться: вроде бы сухая ветка треснула. Постоял — тихо. Шагаю дальше. И снова слышу за спиной треск сухой ветки. Что за наваждение! Поворачиваюсь. И застываю в изумлении. Уж, кажется, охотник, ко всему привык. А тут растерялся. Сидит на задних лапах медведь. Ружье рывком снимаю с плеча, но чувствую сильный удар. И в каком-то тумане все же стреляю. Когда окончательно пришел в себя, то медведя уже не увидел. Но страх, что он вернется, не покидал меня. Еле доехал до стоянки: ноги стали свинцовыми, дрожат.

Подошел к костру, а Боопкун спрашивает: «Что с тобой, у тебя лицо желтое, как желчь. Не заболел ли?» И только выпив чаю, я с облегчением вздохнул и рассказал ему о встрече с царем лесов.

Утром мы с другом отправились на то место, но решили не ходить за зверем. Друг мой все удивлялся, как это я остался жив.

* * *

В МУЗЕЙ дедушка Бора-Хоо любил ходить. Он подолгу стоял перед чучелами животных, улыбался, как будто встретил давнишних друзей. А фигурки зверей из камня вызывали у него восхищение мастерством Монгуша Черзи, Байыра Байынды, Раисы Аракчаа... Он гордился тем, что во времена юности был знаком с одним народным умельцем.

МАСТЕР И ДРАКОН

Тас-Сарыг прекрасно играл в шахматы. Его приглашал бай, который обычно устраивал состязания. Объявлялось, что в аале такого-то богача состоится турнир. И около дерева, где усаживались игроки, собирались много болельщиков. Обычно Тас-Сарыг побеждал шахматиста, выставленного другим богачом. Тас-Сарыг ничего от этого не имел, а баю льстило, что у него такой способный игрок.

Тас-Сарыга еще звали великим мастером. Он сам отливал шахматы из серебра и меди. Вместо короля — чиновник, вместо слона — верблюд, вот какие шахматы делал мастер-самоучка. За шахматы из серебра бай давали коня, а за медные — бычка.

Тас-Сарыгу перевалило за 50 лет. И приключилось с ним невероятное. Дело было в Овюре — mestечке Бора-Шай. После жатвы последние редкие дождишли, последний гром гремел. Тарбаганы распрошались с теплым летом и уснули в порах. Обычно в одной норе больше десяти зверьков помещалось.

Тас-Сарыг со своим другом Сыйбыном решили добыть тарбаганов. Охотник по следам определяет, где собирались зверьки. Откапывает немного нору, засыпает туда овечий или коровий помет, поджигает его. Потом полой халата хлопает по отверстию, чтобы дым шел в нору. Все тарбаганы погибают, и их вытаскивают.

Ломов тогда не было, мастер сделал озук — вроде большой отвертки. Друзья только успели откопать нору, как началась гроза. Сыйбын возился с дымом, а Тас-Сарыг неожиданно посмотрел на небо и закричал другу: «Скорее кончай, я вижу на небесах чудовище!» Тогда друг осторожно посмотрел вверх. Там — огромная черная туча. И как будто в ней спряталось чудовище, а его хвост высовывается из тучи и горит ослепительным огнем.

«Дракон летит!» — уточняет Тас-Сарыг. А друг дрожит и добавляет в страхе: «Не смотри ты на него, нельзя на него смотреть, а то заболеешь. Он и ослепить может».

Но в Тас-Сарыга как будто бес вселился. Он схватил свое старое ружье и выстрелил в дракона.

Тут раздался такой гром, что Тас-Сарыг невольно присел. А дракон, как будто услышав его хвастливую речь, беспокойно задвигался, заплевевши ногами и хвостом... и исчез.

Долго еще сидели два друга, с недоумением рассматривая небо, не замечая того, что мокнут под дождем.

* * *

ЯРКОЕ солнце заливало аллеи парка. В этот летний день здесь гуляли девушки с парнями, мамы и бабушки катили яркие коляски с малышами, развились ребятишки. Дедушка Бон-

ра-Хоо устал и присел на лавочку, выпул свою неизменную трубку. Только хотел закурить, видит: мужчина подошел. В руке мешок, в нем что-то позякивает. Наклонился, пошарил за лавкой, в траве, и три бутылки опустил в мешок. Дедушка с удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал.

А дома он не удержался: «Видел я сегодня лодыря. Он пустые бутылки в парке собирал». И хотя сын сказал, что это скорее пьяница, дедушка твердил свое. И рассказал вот что.

ЛОДЫРЬ, КАКОГО СВЕТ НЕ ВИДЫВАЛ

Жил у нас в селе Сат Доржу — у него па ѹеке больное родимое пятно выделялось. Кончил он курсы трактористов, и доверили ему трудолюбивую машину. Время жаркое — посевная. Все — в поле. И Сат Доржу тут же. Но его трактор, как черепаха, медленно движается. «Что случилось?» — спрашивает бригадир. А тот в ответ: «Не могу быстро ехать, в тракторе винтик один потерян, машина того и гляди совсем станет. Медленно ехать — вернее будет...»

Бригадир в недоумении покачал головой. А в перекур Сат Доржу жалуется: «Я думал, что трактор замениг 20 лошадей, что он богатырь... А он то шумит так, что ушам больно, то встанет — и ни с места. Я устал, как будто сам таскал плуг. И трясется так, что мои мозги не выдерживают, а в глазах — серый дым стоит».

Надо заметить, что в нашем хозяйстве это первый трактор и первый механизатор. Сев пора кончать, а трактор еле-еле ползает. Тогда бригадир решил, что тракторист заболел, и повез его в больницу. Посмотрели Сата Доржу врачи, обследовали и сказали, что он вполне здоров.

Но пользы от него так и не дождались, пришлось искать другого тракториста.

Женился Сат Доржу. Жена его страдала ревматизмом, и глаза у нее плохо видели. Дочь у них родилась. Матери трудно приходилось, а отец сидит дома. Болею, говорит, не могу работать. Соберет бутылки у соседей (сам-то он, правду надо сказать, не пил водку) и несет сдавать в магазин, что в Чадане.

Односельчане никак понять не могли, что же за хворь у него. Раз пять его показывали врачам, но те так никакой болезни и не нашли.

Колхозное начальство ему любую работу предлагало, а он здай свое твердит: «Болею, не могу».

Как-то попросил я его: «Сынок, помоги мне выкопать картошку. За работу возьми картофеля сколько хочешь». А он: «Если я буду копать сырую землю, у меня приступ начнется». Ну, что тут скажешь! Другого такого лодыря я за всю свою длинную жизнь не встречал!

* * *

СЫН дедушки получил в Кызыле квартиру в новом доме. Дедушка Бора-Хоо приехал из села на новоселье. Он открыл кран — полилась горячая вода. Холодная, водопроводная его уже не удивляла. У газовой плиты постоял, внимательно посмотрел на голубой огонек пламени. Вышел на балкон. И перед ним предстала величественная картина стройки: напротив воздвигалось здание школы, дальше — детский сад, а еще дальше — многоэтажные дома. Высоко над землей в кабине башенного крана сидел рабочий. И дедушке показалось, что это волшебник управляет огромной стройкой. И вспомнил он одного человека, которого всегда уважительно называл работягой.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД — ВСЕ ПЕРЕТРУТ

Мугур Монгуш — мой ровесник. Вместе росли, играли. В одно время женились. Потом трудовая жизнь нас надолго связала.

В верховьях реки Хемчика жили его предки. Тот год выдался тяжелый, голодный. А семья-то больная, чем ее кормить? Дедушка — отец матери — Хуреней Монгуш предложил пешком добраться до Хондергея и попытать там счастья. Мать согласилась. Отец же наотрез отказался. Дедушка, мать, братья Мугура — Чангаажык, Тастанмай, Содуна и две сестры покинули родной очаг и пешком дошли до Хондергея. Дети батрачили, работали, не жалея сил. Выросли, стали жить своими семьями. Мать с дедушкой занимели юрту и свой очаг, у них даже появились овцы и козы.

Прослыпал отец Мугура про то, что семья выбралась из разорения, заявился к жене. И она простила ему все, доброе сердце было у женщины. Жили они вместе до глубокой старости.

Но Мугур невзлюбил отца, он и фамилию взял не его, а дедушки, которого все внуки почитали и уважали. Дедушка расстался с миром уже почтенным старцем — в 89 лет. Его трудолюбие и смекалка, как видно, перешли к Мугуру. Весна. Начинаются хлопоты. Мугур свой участок орошают. Я тоже не отстаю. Он пашет, и я пашу землю. На волах сохой пахали, откуда у бедного человека быть лошади? Бай давал вола, за это приходилось вспахать ему по теперешним понятиям полгектара земли.

Лето не всегда баловало нас дождем, вот мы с Мугуром сами и поливали участки, где росло просо. Потом боролись с сорняками, сусликами. Много беспокойства причиняли нам журавли. Они обычно на рассвете прилетали на поле. Придешь, а там уже Мугур стоит: кричит, руками машет — отгоняет птиц.

Созреет просо, радуемся хорошему урожаю, зато с каким трудом убирали его: серпами — их мало было, ножами, да и просто руками вырывали. Днем косили, а ночью молотили. Несколько быков топтали просо ногами.

Ненадолго наши пути разошлись. Я ушел с семьей жить в горы, а Мугур переехал ближе к Чадану. Когда в Туве стала народная власть, я заимел коня, корову, и Мугур тоже — корову, коней.

Как-то нас собрали на сумонный хурал и объявили, что на Советский Союз вероломно напала фашистская Германия. «Мы можем помочь советскому народу», — сказал тогда Мугур. Я даже удивился; он никогда раньше не выступал на хуралах. А он уточнил, сколько лошадей дарит. Потом я дареных копей и скот провел через Саяны в Абакан. И когда русский командир спросил, кто из аратов больше всех помогал, я назвал Мугура. За помощь и патриотизм его орденом республики наградили.

Нет давно Мугура, его жены и младшей дочери. Живут в совхозном поселке его старшая дочь и приемный сын, хорошо работают, — видно, унаследовали отцовское трудолюбие.

* * *

СЫН у дедушки Бора-Хоо учился в Москве. На каникулы приезжал в отчий дом. И тогда не смолкали разговоры о Красной площади, университете, где учатся юноши и девушки со всего света, о том, что от Тувы до столицы тысячи километров, а огромная красивая птица — самолет домчит туда человека в тот же день. Утром еще гуляешь по улицам Кызыла, а вечером уже едешь в московском метро. Дедушка Бора-Хоо мечтал полететь на такой птице в центр страны, посмотреть Кремль, побывать в Мавзолее Ленина. Но не пришлось. Он всегда говорил детям: «Счастливые вы, много знаете, много видите. Цените добро, которое делает вам Советская власть». И с грустью вспоминал одну печальную историю.

ТЯЖЕЛАЯ ДОЛЯ

Мне об этом отец рассказывал. Произошло все в давние времена, когда жизнь у бедняков, ох, не сладкая была.

Жил тогда отец в Чая-Холе. Там все и случилось. У одного человека, звали его Ооржак, детей — полная тюрта, да еще старые родители тут же. Еще пришлось ему двух сирот пристреть — у старшей сестры муж долго болел и умер, а вскоре и она за ним ушла.

В начале зимы отправился он к дальним родственникам в другой аал. Люди забивали скот на зиму, и он решил попросить у них немногого мяса. Те не отказали в милости.

Возвращался Ооржак домой повеселевший: есть из чего суп сварить. Размышления его прервал вой. «Волки!» — сразу понял он и ускорил шаги. Он знал, что на его пути стоит ветхий заброшенный сарай. Хоть и ненадежное, но все же укрытие.

Он спял пояс, которым был обмотан халат, нашел палку и привязал к ней нож. Нож у него большой и острый. Вот таким оружием он и стал отбиваться от хищников, отступая к сараю.

Просидел в сарае до утра. Прислушался: вроде, ушли волки. Открыл осторожно дверь, — на снегу лежал один из хищников. Других не видно. «Убежали», — облегченно вздохнул мужчина и пошел к горе — оттуда и до юрты недалеко. Но не дождались его родные: волки прервали его путь.

* * *

ДЕДУШКА Бора-Хоо любил рассматривать журналы и книги: листал страницы, разглядывал картинки, фотографии. Особенно ему нравились книги о животных. Как-то внук показал ему книжку в красивом переплете и с удивительными картинками. На них улыбался деревянный мальчишкой с длинным носом, а девочка с голубыми волосами пила чай из крошечной чашечки. Сиреневый человек с длинной бородой угрожал грустной черепахе... Это была хорошо знакомая детям сказка. Но дедушка ее не знал. И внук принялся рассказывать про Буратино и его друзей. Дедушка слушал внимательно, а потом спросил: «Ну, и напали они свое счастье, эти маленькие человечки?» — «Конечно», — подтвердил внук. — «А теперь послушай мою сказку, и тоже про маленького мальчика».

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОРА

Говорят, что долины рек Овюрского Торгалаыга и Улуг-Хемского Торгалаыга где-то пересекаются. Однажды из первой долины во вторую на белом коне прискакал рыжий всадник. На рассвете он увидел табун великолепных лошадей и рядом с ними задремавшего крошку-мальчика. Человек хотел было уже убить крошку-мальчика — убрать свидетеля, но раздумал. Жалость закралась в его черствую и озлобленную душу при виде безмятежно спящего ребенка.

И тогда он посадил его с собою рядом и погнал табун из второй долины обратно в первую.

Мальчик плакал и просил его отпустить к матери, которой теперь достанется за то, что сын не устерег байский скот, но рыжий был неумолим.

Крошка-мальчик стал жить у рыжего. Он подрастал, и время унесло от него прочь воспоминания о родном очаге. Рыже-

го не очень интересовало, как живет крошка-мальчик, но однажды ему запретил строго-настрого — трогать белого коня.

Но как-то он увидел, что крошка-мальчик кормит белого коня и что-то ласково ему говорит. Рассвирепел рыжий и закричал: «Я тебя привез из Улуг-Хемского Торгалыга в Овюрский Торгалыг, кормил, поил, растил, как сына, а ты не слушаешься!»

Крошку-мальчика его слова поразили в самое сердце: рыжий — не отец, а он ему не сын. И его родина, его матушка далеко-далеко отсюда.

Ночью он ушел из Торгалыга Овюрского, чтобы добраться до родного Торгалыга Улуг-Хемского. Долго шел: вторая ночь миновала, за пей и третья. Вдруг перед ним гора. И горный белый козел откуда-то взялся, стоит, в бороду улыбается и говорит: «Подойди, крошка-мальчик, не бойся». А сам поговорил. И отлетел от горы кусочек белый. «Возьми его». Нагнулся крошка-мальчик, поднял кусочек, посмотрел вокруг — нет горного козла. Положил белый кусочек за ворот рубашки и попел дальше. И вдруг слышит снова тот же голос: «Как звать-то тебя, малыш?» Оглянулся — стоит белый козел на вершине. «Улуг Тюлюш!» — закричал крошка-мальчик. — «Эта гора принесет тебе счастье!» — и снова исчез белый козел.

Идет крошка-мальчик, и кажется ему, что ноги сами несут его к родной юрте. Что за диво?

Дошел он до родного аала, обрадовалась мать, что нашелася сын. Ведь больше у нее из родных никого на свете не осталось. Крошка-мальчик показал матери белый кусочек, по она сказала: «Выбрось его, зачем всякий хлам носишь». Послушался он мать, кинул белый кусочек, но тут подбежал к нему ягненок и лизнул языком раз, другой, третий... И на глазах изумленной женщины и крошки-мальчика превратился ягненок в большую овцу. Попробовал крошка-мальчик белый кусочек — соленый-соленый...

О секрете белого кусочка узнали другие люди. И отправились к диковинной горе вместе с крошкой-мальчиком. Долго не мог найти он то место, но неожиданно услышал знакомый голос белого горного козла: «Кто пришел в мои владения?» — «Это я, Улуг Тюлюш, а это люди моего аала!» — закричал крошка-мальчик. И сразу же перед ним возникла белая гора — соляная гора.

Крошка-мальчик радовался тому, что помог бедным людям. Теперь и у его матери, и у других скот рос не по дням, а по часам. А ведь овец можно было обменять на плитки зеленого чая, далембу, ружье... А с ружьем пойти на охоту. Крошка-мальчик стал знаменитым охотником, но никогда он не обижал горных козлов — этих горных животных, встреча с одним из которых принесла ему богатство и почести.

* * *

Хоронили дедушку Бора-Хоо утром. Такова была его воля. И когда над тихим сельским кладбищем вдруг из-за легкого облака выглянуло солнце и его теплые лучи упали на обращенное к нему спокойное лицо старика, я поняла всю мудрость его последнего желания. Казалось, солнце ласкало его, а ему так хотелось этого последнего прощения.

На свежий холмик легли охапки цветов — печальный привет с родных мест, где прошли годы его жизни, где выросли его дети, а от них пошла молодая поросль. Им продолжать книгу жизни.

■ ■ ■

Вячеслав БУЗЫКАЕВ

ХЛЕБОПАШЕЦ ЕРЕМЕЙ

(Из повести «Владыки Улуг-Дага»)

Конец прошлого столетия. Загадочный Урянхай влечет к себе русских купцов и переселенцев, одних — легкой наживой, других — возможностью избавиться от вечной нищеты. Араты, кочующие вблизи Усинской котловины, благожелательно относятся к крестьянам, чьи трудовой пример и бескорыстная помощь способствуют зарождению дружбы русских и тувинцев.

Однакова участь тех и других: «служить верой-правдой» царям и нойонам, кормить их прихвостней. Однаковы судьбы...

Социальная несправедливость уже не раз заставляла аратов восставать против угнетателей. Но выступления одиночек или небольших групп аратов не приносили облегчения народу. Тувинцы и русские еще не сплотились в общей борьбе, сознание тех и других еще крепко «держат в узде» старые представления, привычки, вера в «хороших» правителей.

Она придет — другая вера. Придет к простому люду Урянхая иной взгляд на мир и собственное место на земле. Но это будет потом, еще не скоро. А пока единицы поднимают бунт против существующего порядка. И хотя далеко не всегда их полустихийный протест носит четкий классово выраженный характер, он не проходит бесследно. Как из ручейков сливаются реки, так и из выступлений бунтарей рождается и зреет общий народный протест.

Волею большевиков он в дальнейшем обернется социальной революцией...

И вот перед вами один из бунтарей-одиночек, исповедующих равноправие в труде для всех — русский хлебопашец Еремей Власов...

УСИНСКОЕ по субботам — сущий базар. Всяк старается сбыть с рук все, чем богат, выменять достаток на недостаток. Охотник, рыбак ли, тащит свою добычу с достоинством, и тем большим, чем значительнее она. Женщины из бедняцких семей с туесами и корзинами ягод, грибов, недозрелых орехов за суетой скрывают боязнь возможного неуспеха летнего предпринимательства. Урянхи невозмутимо дымят длинными трубками, и весь их товар — мягкая ли овчина, связка тарбаганьих шкурок, седло, кусок войлока, деревянные и металлические поделки ли, арканы, забавные резные венчики из камня или другая всевозможная мелочь — умещается на свернутых калачиком ногах.

Зажиточные братья Черноусовы, купец Ширяев, на неделе вернувшийся из Урянхая, деланно зевают в своих лавках. Уж кто-то, а они-то уверены в том, что весь этот спящий и торгующий люд не минует их лавок. Однако за напускным равнодушием торгащей кроется зоркость хищника: не прозевать бы добычу.

— Аюшка, заходь ко мне, мил человек,— опережает братьев Фас Дадович.

Статный урянх, возвышавшийся над базарной толчеей, приближается к лавке купца. Знакомые люди предупреждали его не класть палец в рот Кара-Салу, как они на свой лад прозвали чернобородого Фаса, и потому охотник сторожко здоровается с купцом, недоверчиво переступает порог лавки. Однако догадливый хозяин не спешит с расспросами, высказывая традиционное гостеприимство, приглашает гостя к низкому столику в глубине помещения, потчует чаем. И потому, что купец не суетлив и смачно пьет зеленый чай, заправленный оленьим молоком, так любимым тоджинцами (пахнет оно детством, родным стойбищем, тайгой), Ая располагается к чернобородому. Наверное, знакомые ошиблись...

А Кара-Сал, как бы желая подтвердить догадку охотника, бросает быстрый взгляд на принесенный товар и назначает за него цену, о которой Ая и не мечтал. Доверчивый урянх даже рот раскрыл от удивления — вот это человек! И охотника уважает: не торгуется, не перетряхивает по многу раз шкурки, не принююхивается к ним и не дует против ворса, как это делают другие купцы.

— Зачем так много? — искренне жалеет Ая Чернобородого. — Я тайга живу, тайга сену называл, за нее продам.

Тайга «назвала» цену вдвое меньшее предложенной купцом. И опять не стал ломаться купец.

— Тебе видней, Аюшка,—ударили по рукам.—Токмо знай, что никто лучше меня не кумекает в мехах. Мы тож в тайге живали, хаживали, знаем, почем охотнику зверь достается. Заходь, заходь всегда ко мне, Аюшка.

И расщедрился еще на благопожелание в дорогу:

— Менди чаагай!—Доброго пути!

«Шу и нес ты шелудивый!—внутренне похвалил себя Фас Дадович, проводив охотника.—Глупый урянх, поди, поверил, что ему от души такую цену заломили. Аи нет! Знаем мы вас, сами в сети лезете, чуть по головке погладь. И ведь скончт ровно столь, сколь я ждал».

Привыкший к постоянным расчетам ум купца быстро принял выгоду сегодняшней сделки. «Сам-пять получается. Нет, что ни говори, а купец — тот же хлебороб. Приложишь труд да старания — урожай знатный соберешь. Приказчикам многое не доверишь — не тот оборот у них».

Довольный собой, Ширяев расщедрился, зазвал в лавку баб и закутил вместе с туесами и корзинами принесенные ими на базар таежные дары. Завтра шел большой плот в Минусинск. «Места хватит,— рассудил купец.—Ежли бы впридачу к ягоде товар той вон молодухи...» — развеселился и уже хотел было по привычке пощупать, ладен ли товар, но, наколовшись на строгий взгляд женщины, упрятал греховные мысли под нависшие брови. Благолепно перекрестился двуперстiem — ни дать, ни взять, праведник господень.

Он и был праведником, вторым после батюшки Кирилла наместником Христа в этой недавно еще забытой богом и людьми усинской долине. «Велеречивый Фас» — кто раболепно, кто с тайной завистью отзывались о нем. Батюшка не чаял души в помощнике. Да и то: ревностно оберегал общинное добро чернобородый, а что там было скрыто под его косматыми бровями — и господь не ведал.

Порой, однако, смутное беспокойство охватывало батюшку, замечал тогда Фас на себе его быстрые, подозрительные погляды и спешил обратить взор благостного Кирилла на тайных еретиков в общине. Угодливо подсказывал страшному в гневе батюшке, как расправиться с теми, кто мутил Беловодье. И вновь батюшка пел в кругу старцев: «Сладостный, велеречивый, богоугодный Фас».

Старый дурак возомнил себя плотью и духом Беловодья, и без него-де общине одна погибель. А когда порушилась крепость усинская, схватился за бороду благостный, аи поздно, милый! А что поджог устроил — спасибо тебе, многоопытный, многосладостный. Золото и драгоценности общинные, известно тебе будет, батюшка, хранились в деревянном сундуке, а сундучок тот стоял в доме твоего ревностного

помощника, а дом от сгорел! Спросу с Фасушки нет. Да и спросить-то некому. Поразбежались заядлые раскольники, яко мыши в половодье, а в Усинском остались одни верные ему, Фасу Дадовичу. И верность их — в единой закваске: не голодранцев — общинников нерадивых кормить, а для своего живота трудиться, елико можно, с верою-правдою христианскою. Тако же!

Не вдруг разрослось хозяйство Ширяева. Лучший зеленый клин, общинная мельница перешли в его руки. Ну да с такой-то опары разве подымеешься? В Урянхай проторил стежки-дорожки оборотистый Фас. Вез туда товаров на двух конях, а выгонял в Минусинск, по Арбатской тропе, гурты скота. Торговые фактории построил, знакомства полезные завел («Пригодился-таки общинный супдучок с золотом!»).

Широкая патура у Фаса Дадовича. Тянутся к нему крепкие усинцы, он и им устраивает дельце в Урянхае. Ну, там, за соответствующую мзду, понятно: надо же то одного, то другого чиновного халатника ублажить. И себя, понятно, не обидеть.

Твердо уверился купец в одном: что Урянхай с его богатствами и бесшабашным народом и есть настоящее Беловодье. Не горами да болотами огороженные от людского сглазу места беглецов с их постной общинной жизнью, а вольный, богатый край, существующий для крепких мужиков, таких, как он, Фас Дадович Ширяев. «А размахнуться здесь есть где, едрена корень! Отоварь аратишку на гривенник, а обворуй на полтину — греха нет в том», — не переставал радоваться купец.

Ко всему хорошему, что купец находил в себе, он причислял и собственную слабость пофилософствовать с крепкими мужиками, как он выражался, о смысле жизни. Вот, к примеру, со стариком Власовым. Весь от земли и в земле, что замшелый камень. Из тех, кто хлеборобство считает заглавным из всех дел человеческих. Пудовым молотом в лоб стучи — по прошибешь его крестьянскую натуру, упрямый! За шестьдесят мужику, пора и о царстве небесном помышлять, а он рехнулся на старости — за «аз, буки, веди» взялся. Решил грамотой обладеть да слово главное мужицкое сказать, чтоб жарко стало всем купцам-хапугам.

«Вот пес шелудивый... Люблю таких, сам ихней натуры. Здря, ведомо, здря мерит меня Власов своей саженью. Как это он говорит, дай-ка припомню. А, во-во! Ты, грит, хоть и бабой на светпущен, но обыка звериного, и потому в тайге тебе, в болотине сидеть невылезно, а не землю-матушку пуховую топтать.

Ипь ты, комель замшелый! — беззлобно ругался купец, вспоминая недавний спор с упрямым стариком. — Свое хлеборобское дело знает, однако, отменно. Ну да старику богом по-

ложена жизнь за плугом, на меже, а мне, Фасу Дадовичу,— другая, среди людей, где всякая межа — запретная грань лишь для глупцов».

Ширяев всю эту запретную чересполосицу запросто копейкой перепахал: и к простому люду лицом, и к самому амбын-йону, царьку урянхайскому, вхож, и даже генерал-губернатор иркутский ему руку жмет. Достойно, говорит, представляете в Уриахае честь и делиюсть русского человека.

«Любой так-то вот реверанс сделает, ежли, к примеру, шубу бобровую из верноподданныческих чувств преподнести. А люди, опи, что ни говори, не чета нам, немытым. Грамоте-обхождению обучены, чу и скумекают, знамо, каки таки чувства сокрыты за той шубой. (Не одной тыщи цепа ей, едрена корень!)». В Монголию тяпется глаз купца, а Анучин, губернатор, при случае не откажется пособить.

«Однако хватит философствовать,— обрывается Ширяев.— Скоро горячее времечко припечет, охотников подковать надобно к зиме и долги с божьей помощью собрать. Дай бог до рождества управиться».

И купец заводил волосатым пальцем по сторонам сечной книги. Так он называл списки должников.

* * *

И ДЕД, И ПРАДЕД, и еще много працедов из родословной Власовых знали только одно дело — землеробство. Из земли вышли и в землю ушли, будто оброненные колосом семена. Но прорастали те семена новыми обильными всходами хлеборобского потомства, из поколения в поколение передавался кондовый крестьянский опыт. Власовы понимали землю, умели слушать ее дыхание в самой малой травинке, и земля платила им за то могучим, с ладонь, колосом. Всю Сибирь прошли и всюду славились хлебом.

«Сильный хлебушком» — это было самой большой похвалой в устах Власова.

Видел крестьянин, как бесшабашно относились к своим посевам усинские араты. Видел и сердито отчитывал тех за нерадение: — Ить она, земелюшка-то, что дитя малое, к ласке тянеться, на добро и добром воздает. А вы поцарапали ей лицо хворостиной и ждете милости от нее.

Власов, с годами не убывавший в мужицкой силе, легко перепахивал железным плугом аратские делянки, вместе с урянхами засевал их просом, ячменем, пшеницей, железной же бороной прикрывал посевы. Соседи безропотно подчинялись «Орэмэ Маскымчу», как они называли сердитого русского бородача, старательно вникали в неписаную крестьянскую грамоту, и уже чаще можно было видеть их на полосках. Ужинь яровых с них возросли.

Чуждый праздного слова, Еремей Максимович подметил, что кое в чем урянхи-скотоводы, пожалуй, утрут нос и российскому пахарю. Расчешут крутояр за границей староверского Зеленого клина и, будто волшебники, одной лопатой замятут усинскую водицу на верхотуру, напоят землю.

«Дивно это у них получается,— разглаживал бороду старик. Брался за лопату и бок о бок с соседом постигал азы аратской науки.

Уважал Власов в Урянхае такого же, как он сам, мужика, чьим трудом держатся все цари, пойоны и прочие хлебоеды. Соседи платили ему взаимным доверием, немногословной, но верной дружбой.

— Орэмэ Маскымучу, моя старуха скучала, кости звала,— Маады Биче-оол выкурил три трубки, прежде чем сообщил хозяину о цели визита.

Власов ценит немногословие; без расспросов пяягивает на широкий лоб картуз так, что из-под козырька едва видны глаза — сказывается долголетняя привычка защищаться от низкого солнца, когда одну зарю встречаешь, другую провожаешь в поле. Наравляет коня следом за аратом по выющейся крутой берегом тропе: «Штой-то с соседом пристало?»

На небольшой террасе, круто возвышающейся над Усом, прислонилась к березовой роще юрта арата. Огромные мохнатые псы с лаем выбежали навстречу всадникам, узнав, добродушно завиляли лохматыми хвостами, собирая ими семена репья, растущего по обе стороны тропинки. Предупредительная хозяйка встретила гостя поодаль от юрты. Обменялись приветствиями, как положено:

— Менди, акым!
— Менди, дунмам!

Видно, гости давно ждали. Хозяин усаживает его на густо простроченный бычьими жилами многослойный коврик. Далган, жареное просо (вчера арат сжал несколько колосков нового урожая), сыр, густая (ложка стоит) сметана. Биче-оол наливает в чашку мутной араки, соломинкой брызжет через дымник в сторону священной горы — угощение Улуг-Дагу — и уж потом протягивает гостю посудину. Власов отпивает из нее большой глоток, двумя руками возвращает папиток, и Биче-оол медленно осушает чашку. Из следующей чуточку отпивает хозяин, настает перед гостя показать сухое дно.

— Андых, акый! (Так, брат!) — первой приступила более смелая Байльмаа, когда был опорожнен когержик араки. Она неплохо говорит по-русски, но сейчас чуточку волнуется и переходит на родной язык.— Большой поп хочет взять в звонкий дом моего козленка, читать, писать будет учить. Важным чиновником обещал сделать. Однако Большой поп говорит, надо моего мальчика кыр... кры...

— Крестить? — выручает хозяйку гость.

— Аха-аха, кырыстыт,— радуется та новому слову.— Как кырыстыт? Шаман пугал — болеть будет мой мальчик, нельзя ему на шею железку. Кырыстык называется. Хозяин Улуг-Дага рассердится, шулбуса пошлет моему мальчику — какой тогда он важный чиновник будет?

Муж охотно поддакивает Байлыме, и оба вопросительно-тревожно смотрят в рот гостю.

«Вот оно что. Кабы знать наперед, чем обернется эта затея рясоносца Свирида? А хитер, однако, щельма волосатая, ишь как рассынается — чиповничьей шишкой завлекает, чтоб в батрачонки взять. Опять же ума-разума наберется малец. А это, может статья, не одного креста стоит, чай, шея не сломится от железки господней».

Последние свои мысли и высказывает вслух Власов, утирая ладонью выступившие на лбу капельки пота.

Собеседники облегченно вздыхают: Орэмэ Маскымучу худого не скажет. Хозяйка извлекает откуда-то второй когержик. Чашка с хмельным вновь заходила по кругу, и речь уже оживленнее потекла по удачно проложенному руслу: меньшой Барика не выходил из внимания старших.

Солнце в последний раз розовым языком лизнуло купол юрты Маады, когда Еремей Максимович, поблагодарив гостей-приимных хозяев за угождение и складную беседу, твердо зашагал по троинке, ведя в поводу лошадь, к Копай-городу. Староверское прозвище от землянок переселенцев перешло к новому поселению навечно, хотя ничто уже в трех рядах добродушно срубленных крестьянских изб со многими дворовыми постройками, большой площадью с церковью посередине не напоминало кротовый город. Сюда, под террасу, солнце уже не доставало своими лучами. И только на другом берегу староверские дома, вытянувшись по излучине реки на целую версту, стеклами окон еще отбрасывали сверкающие блики.

— Здря солнце стучится в ихние окна, мрак там и разврат, духовный и телесный. И солнышко от того смраду пятнами кроется...

Власов любил вот так, на ходу, когда никто не мешало, думать и рассуждать вслух. Это были лучшие минуты его жизни, которую он своими внезапными догадками и помыслами высветлял, будто молния таежную темь. И тогда распавшаяся на отдельные звенья долголетняя цепь событий силою его умудренного разума вновь соединялась, но уже по-иному — крепкой власовской завязью.

...Пять десятков проходил за плугом. Запахом хлеба, жгучим соленым потом пропитана насквозь крестьянская душа. Казалось, в ней и малого места не осталось для иного. Черная вечная борозда да тугой колос навек застили весь мир с его грехом и святостью, горем и радостью. Труд, труд, извечный крестьянский труд.

Но кто-то другой продолбил, будто птенец скорлупу, просоленную оболочку души, и Власов удивленно прислушался к его неробкому писку. Об чем это он, па шесть десятков годков позже родившийся? И хоть мал, почитай, еще в пеленках, Власов-бунтарь крепко ухватился за бороду Власова-пахаря:

«А ну, рассуди мне, пошто эт-то купчина ест твой хлеб, и ему великие почести, а ты, хлебушко тот вырастивший, ведаешь одно презрение к себе? А ишо пораскинь своей мозгой вот над чем: купцы-хлебоеды в ладонях земли по держали, каплей пота ее не полили, по богаты и знатны, а ты, мужик, на хребтине своей держишь то богатство и знатство, к земле под его тяжестью клонишься, как несжатый колос под снегом. Почему, я тебя спрашиваю?»

Теряется Власов-старик от прытости младенца, тяжко ему, как бабе на споях, сил нет более носить-пестовать его в себе, а ведь носил-пестовал ровно столько, сколько самому от роду. Терпеливый малец, знать, да и у него, должно, терпение лопнуло. «Озрись! — требует. — Не токмо землю услышь, но и ропот мужицкий! Не токмо хлебушко ласкай глазом, но и жизнь мужицкую осмотри-прозрей сердцем и разумом!»

Тяжко, будто камни под плугом, ворочаются мысли в голове: «И где та бабка-повитуха, што помогла бы мне разродиться тобой, окаянный! Грамота — книга господняго откровения — она и есть твоя бабка-повитуха. Аз, буки, веди... Раб божий есмь... Глас крови младенца вопиет к пебесам... В поте лица твоего снеси хлеб твой...»

— Старый, долго ишо будешь бубнить? Вторые петухи горло прочищают, а он ровно приклеен к Библии. Все ночи напролет карасин жгет, даже домовому не дает с темнотой в обнимку перепакостить.

Старый не слышит, водит узловатым пальцем по страницам священной книги, бормочет свое, и Пелагеиха, громко зевнув, вновь забывается поверхним, в один глаз, сном.

«В поте лица твоего снеси хлеб твой! Вот она, истина, богом за грехи праородителевы нам оставленная, и обязана служить ей всяк, у кого крест на груди — знак господень. — Так-то вот! — впервые утирает нос Власову-бунтарю Власов-пахарь, чувствуя при этом облегченную усталость, будто и впрямь разродился. И уже не понять, — где пахарь, а где бунтарь. — Хороший земледелец выше купчина потому, что купец ест его хлебушко, труд его ест, и значит, купец должен стоять перед ним, а пахарь — сидеть в евонном кресле...»

* * *

ПОЛУДЕННИЙ спор разгорелся между Власовым и Ширяевым.

— Ты мне сказывай, руль в землю уронишь,— два вырастут?

— Один уронит — другой подберет, да токмо рубли не валяются в пыли.

— Не криви, Фас, не скачи загогулиной, сказывай по порядку, об чем вопрос.

— Вот, едрена корень! Да к ведь руль — это не зерно, не семя, итоб из земли прорастать сам-лять.

— Инь ты, скунекал, да по новой не в свой черед. Итъ ты от земли взят и от земли должен кормиться, а руль-то твой земелюнка не принимат, вышлевывают из себя, потому одни грех в твоем целковом: корысть и зависть в ем...

— Ну, ты, едрена корень, не шелуди здорового пса! Грехам не сподобны в том, ито людей одевам-обувам. Ты ответь, — начинает петушинться Фас Дадович, — ответь мне, отрубями срамоту прикроишь или соломкой? Тебе, к примеру взять, обувку из мягкой кожи подавай да одевку из чего потеплей. Ко мне идешь, не могешь без меня и моей лавки, потому давно бы в адамовом наряде щеголял.

— Стал быть, я тебе — хлеб, ты мне — рубаху? — примирительно спрашивает Власов купца.

— Вот-вот, едрена корень! — радуется Ширяев прежде времени.

— Накося-выкуси, — багровеет старик. — Ноги моей боле не будет в лавке твоей, и хлебушка мово не понюхашь...

Еремей Максимович разошелся не на шутку. Купец заметно струхнул: старик силен, вдарит промеж глаз — не скоро очухаешься.

— Да к тебе подожди... Подожди, грю, соседушка.

— Диавол тебе соседушка! — старик решительно стряхивает с плеча руку купца, вышагивает за порог.

Птицы и другая живность стремительно прячутся в подворотни, завидев сердито вышагивающего по улице старика. Миновав последний дом, Власов бегом спускается к реке, рывком сдвигает в волну лодку и двумя взмахами плеста перегоняет ее на противоположный берег.

Немного успокаивается, по мысли, всклокоченные, будто давно не чесанная борода, еще долго колобродят в голове, не в силах прервать начатый бег.

«Хлеб — запретное для тебя, Фасунка, древо жизни. Выращен он другим, а ты ежечасно протягиваешь к нему руки. И я, и ты — одинаково потомки адамовы. Стал быть, и ты обязан растить хлеб собственными руками... Царица, как и Пелагеиха моя, обречена богом в страдании рожать. И рожает, не просит мою Пелагеиху работу за нее сполнять. Дак почему ты, купец, увиливаешь от господня наказания? Почему я должен растить хлеб, а ты только есть его?»

Прижал Власов торгаша к стене, не отвернется теперь, не укроется за частоколом отговорок. Больно редок частокол-от, все видно скрользь него. А богу и подавно.

Ноги сами привели старика на межу. Яровые подымались дружные, сильные. Пшеница уже отцвела, распространяя окрест незримый хлебный аромат, и в его пряной густоте угадывал крестьянин силу будущего колоса. Крепко расставив ноги, стоял на родном поле хлебороб и чувствовал, как отпелуинивалось с его души все лишнее, паносное. Остались и были на всем белом свете лишь поле и Власов, его пахарь. Никого более. Пожалуй, даже и сам он растворился в пшеничном аромате, и было, дышало, жило лишь одно его поле. Так и мать, всю себя отдавая дитяти, забывает о собственном голоде, сне, лишь бы вовремя было накормлено-напоено дитя, росло оно сильным и здоровым.

Власов прихватил с пашни щепотку земли, растер па ладони ноздреватые комочки, попробовал вновь слепить их, подбросил комок вверх — он рассыпался на лету. «Дождичка не предвещается».

Старик споро вернулся в село, прихватил тяжелую лопату, специально для него кованую в минусинской кузне, и, ни слова не говоря, ушел на пашню.

«Обедать не стал», — отметила Пелагеиха. Знала: в такой момент к мужу не подступайся — горяч. Охолонет за работой чуток, тогда и можно будет снести ему кузовок в поле.

Власов, налегая на ворот, наполовину прикрыл щитом капитальную канаву — вода устремилась по деревянному желобу на поле, закипая поверх белой пеной. Знать, земельушка испытывала жажду и сейчас припала пересохшим ртом к живительной воде, пьет — не напьется. Всю ночь будет пить она, и всю ночь пахарь не уйдет с полосы. Надо до утра успеть управиться, чтобы и соседи могли канавой попользоваться. Иначе перестоит земля без воды, перегорят в ней соки, что молоко в груди матери, и сникнут колоски в беззвучном младенческом плаче.

— Орэмэ Маскымучу, помогай нам, ладно?

— Ладно, Маады.

С утра до обеда пьет воду с виду небольшая аратская полоска соседа. А с обеда до вечера и с вечера до утра еще чьи-то.

— Помогай нам, ладно, Орэмэ Маскымучу?

— Ладно, мужики.

И вернувшись из тайги сыновья рядом с ним. Пелагеиха силком увела с пашни старого. За руку. А тот идет и все оглядывается назад, бормочет что-то свое, далекое от домашнего, пропахшего разнотравьем и печеным хлебом уюта Пелагеихи...

* * *

МУЖИКИ семьями снимались с насиженных мест, целыми таборами отправлялись за тысячи верст искать счастья. Вятские, орловские, курские, костромские, калужские...

Велика Сибирь реками, озерами, лесами, болотами, а земли, пригожей пахарю, мало в ней. Богата Сибирь зверем, птицей, рыбой да плодами природными, а хлебом скудна — родит его лишь в отменных местах. А без хлеба пахарю — не жизнь.

Земля родит сам-два, он и за то благодарит господа со Иисусом и пресвятой девой: все не по миру идти.

Вернется осенью в крестьянские закрома хлеб сам-пять — мужик ладонью чинно разглаживает бороду: знай, мол, наших!

Выбухает урожай сам-десять — нет для пахаря слаще той стороны, куда его загнала нелегкая судьбина.

...К вечеру подле села Усинского расположился крестьянский стан.

«Нахлебники объявились», — нахохлились старожилы в ожидании стычки с переселенцами. Усинцы запросто спровоживали назад одну-две семьи, не давая им подолгу засиживаться на Усу. А тут, почтай, до десятка семей, не вдруг склонишь их с Зеленого клину.

Однако переселенцы и не думали ссориться с кержаками. Вскоре стало известно, что они намерены с утра двигаться дальше, в Урянхайскую землицу, в чем обещал им помочь влиятельный Ширяев. Усинские мужики один за другим потянулись к лагерю. Степенно знакомились, заводили неспешный разговор про богатые урянхайские земли, где колосовые вымахивают с воробья и куда они хоть сейчас снялись бы, по тутде земля отцов, а где корень гниет, там и листьям преть.

Ребятня не рассуждала. Местные, набычившись, с кулаками лезли расквасить носы приезжим. Приезжих, в свою очередь, снедали те же страсти. Вволю надравшись и помирившись, они гурьбой сбежали к Усу, разложили в наступивших сумерках костры и начали таскать на хлебный мякиш из реки ленивых налимов.

А из темноты, со стороны стапа, неслись всполошенные крики матерей:

- Игнаа-аа-шка, подь домой...
- Вань-ко-о-о...
- Петруська-а-а, выпорю полуношника!..

Игнашка, Ванько, Петруська лишь отмахивались от матерей:

- Чаво возгудаете: чай, не впервой в ночной быть.

Мокрые налимы с шипением ползали, корчились на угольях, вздувались и лопались, скручиваясь в баранки. Через минуту их мясо уже аппетитно хрустело на зубах пацанов, ко-

торые убежденно заявляли, что усинский налим вкуснее енисейского.

Старожилы просили переселенцев рассказать о дальних краях. И ребятня с оканьем, аканьем, певуче или, папротив, скороговоркой, взахлеб рассказывала об увиденном в дороге. Послушаешь их — сколько чудес на свете! Лежишь, а яблоки да пироги сами в рот падают. Утки или там гуси без понятия, сами лезут в котел да еще тягаются друг с другом, кто поперед перо скинет. Жить бы да жить в тех местах, только лещих много. Схватят мужика за ноги и — в болото. Дядька Савелий Мамонтовых и перекреститься не успел, как сгинул.

Кто-то догадывается шепотом спросить:

— А здесь водятся нечистые?

— Куды ж они подевались? Зыркают. Только тут особые, урянхайские — шулбусы да албысы. На лик добрые, улыбаются тебе, а токмо рот разинешь, они хватать тебя пятерней — и не пикнешь!

Ребятня жмется друг к дружке, зажимает рты ладонями. Никто уже не осмеливается подходить ближе к реке. Да и зачем: все, вроде, наелись налимов, и ничуть они не вкуснее енисейских, так себе, разве что только в охотку — хвостик пососать...

Власов не уснул в ту ночь. Встретился с таким же, как он сам, здоровенным бородачом из приезжих. Обменялись взглядами из-под нависших бровей, поздоровались.

— Хлебам понче под таежкой и то стебель крутит, а на степях лихолетье, должно?

— Месяц как из Великой обской степи выкатили. Яровые редки, что пух на куриром заду. И семян не возвратить мужикам.

Помолчали, тяжко вздохнули. То ли думки черные мужиков из тех краев коснулись обоих, то ли вспомнили себя на их месте, а может, просто незримо покачали головами: эх, ты, судьбинушка пахарская!

— Стал быть, на новые земли?

— Так, выходит.

— Ежли сообра, то бог завсегда лицом будет.

— Бог-от один на всех, а кажинный норовит в одиночку с хлебушком тризну править.

— Али с деньгой, к примеру. Лихом люди объяты.

— На чужом горбу в рай норовят, — угадал думу Власова приезжий.

Возликовал старик: многие хлеборобы, не он один, так помышляют!

На селе прокричали третью петухи. В легком тумане послышались возня и мыканье скота, бабы забренчали подойниками. Один за другим возвращались в лагерь от приветливых бросовок парни, тенями шмыгая под телеги. Солнышко,

ясное, доброе, выкатило из-за Улуг-Дага, высветляя серебро в бородах мужиков, еще более добрая от их неторопливой, складной беседы...

— Бог в помощь, Онисим!

— Храни господь, Еремей!

Последние повозки скрылись из глаз, а Власов все глядел им вслед. В высоких мокроступах, схваченных бечевой выше колен, холщовых штанах и холщовой же просторной рубахе под красным кушаком, он прочно, будто врос, ногами стоял на усинской земле — больной и несогласный с людскими пороками пахарь-бултарь.

Судьба свела его с урянхайским мужиком Маады Бичеоолом. А теперь еще и с Онисимом Пироговым, курским пахарем. И трое они, что пальцы, сложенные в троеперстии. И тем троеперстием, мнится Власову, сам господь-бог крестит греховный мир, очищая его от скверны.

«Хлебушком силен человек, а все остатнее в нем — мякина и пустота непотребные».

Жалко Власову покидать родное поле, но чувство сильнее жалости бурлит в его груди.

«Надо помочь мужикам на новях, свести их в един кулак, силу в них хлебушком поднять. Сунься тогда, Фасушка, со своим гнилым миткалем — мы тебя мякинным караваем знатно ужо встретим. Чай, и мы, мужики, не последней руки».

Власов решительно направляется к избе, а из окон на него пляют глаза Пелагеиха с сыновьями: штой-то опять удумал старый?

Всю неделю шла перебранка между старшими. На воскресенье в доме Власовых воцарилась тишина — грешно в такой день маяться земной суетой. В такой день божье слово легче доходит до души. И старик пронял им свою старуху. Глянула она со стороны на своего суженого: как он переменился да истощился душою! Знать, и впрямь, слово господнее знает и людям хочет тумаг от глаз отвести.

«А я-то, дура, своими ухватами в его правду встреваю!» Разжалобила себя Пелагеиха, тихо так подошла к мужику, белыми рученьками обвила его черную мускулистую шею:

— Ужо не серчай, муженек. Стал быть, завтра и зачинем собираться в путь-дороженьку.

...Избу и земельный клин Власовых успел прибрать загребущий Ширяев.

— Дом твой и клин сыну отдам. Он не силен в купеческих делах. Пусть в земле поковырятца, авось в ей отыщет щастье свое.

Власова не проведешь такой речью. Не тот Фасушка, штоб

сыну под хвост деньгами сорить. Переселенцев окрест полно, нарасхват перекупят у купца, да еще и втридорога.

— Ну, давай по-хорошему, по-христиански расстанемся.

— Разной веры мы. И не потому, что пальцы по-разному ставим для креста. У тебя-то они с кривулиной, и кожинный норовит к себе тягать. Все тягашь да тягашь под рубаху, а чтоб другим не завидно было, заплатами снаружи прикрываясь. Токмо жадность, Фасушка, не иголка в стогу. Стоит она на виду у всех и вся, как есть, нагишом. Тебе это невдомек, глаза тебе ослепило, потому как с корыстью безудержной дни и ночи короташь.

Купцу — что об стенку горох:

— Вот, едрена корень, дык разве обо мне слово! Пусть генерал-губернатор иркутский встанет за плуг — я не отстану. И даже поучу, как хлеб ростить, почитай, с малых лет и до недавней поры ходил в борозде. Свое отходил, пущай другие походят. Бывай, отец. Не поминай лхом!

И тут вывернулся велеречивый.

«От дел — словами, от жизни — костями. Годы докажут твою неправоту. Схватишься — ан поздно. Прахом пойдет твоя корысть и блуд».

«Руль уронишь — два не вырастет, а и последний сгинет. Так и жизнь твоя, Фасушка, лишена семени. Не прорастет она в детях, на корню сгинет!».

...Ранним октябрьским утром от Усинского по урянхайской тропе тронулись четыре подводы. Переднего коня вел за недоуздок Власов-старик, остальных — его сыновья. На возу с кухонным скарбом возвышалась Пелагенха. Оглянулась назад, перекрестила село и одинокую фигурку у околицы.

ШИРЯЕВ сдержал свое слово: помог новосельцам прилепиться на краю урянхайской земли, пристроил их как собственную работную силу.

Самагалтайский нойон поначалу воспротивился, мол, вы-правожу русских туда, откуда пришли, но влияние Ширяева да терпение мужиков все же разрешили конфликт в пользу новосельцев. Не обошлось и без подарков: развязали тощие кошельки приезжие. И лишь свой брат — урянхайский музык — запросто идет в их стан, как умеет, ведет неторопливую аратскую речь, приглашает в гости. Если есть чем — меняется на холст, хлеб, махорку.

Женщины издали присматриваются друг к дружке: и тех, и других многое дивит в обличье, а главное, — в **хозяйских замашках**.

— Пошла это я, бабоньки, к их круглой избе,— поет в кругу женщина расторопная Христины Пирогова.— Прутом от чернуш-ших псов отбиваюсь, а детишки ихние, чумазые, оголешные, зубы моют надо мной. Да еще и подусыкают псов по-своему. Думала, загложут меня, окаянны, — задком, задком назад путь держу, ирут не выпускаю из рук. Тут хозяйка подоспела ко двору, мигом усмирила псов и по-нашениски, побабски, поддала огольцам под зад да в дом свой пригласила. Я и опишила. Залезаю внутрь, от норога руку ко лбу ташу, да не на передний угол-то крест кладу, а на посудны полки. Хозяйка улыбается, а мне не до смеиху. Чудно это мне показалось, что изба без углов и прислониться, вроде, некуда. Усаживает она меня. Вижу, посередине штой-то торчит, со свету не разглядела, да чуть не опинярилась: котел, оказывается, у них стоял с похлебкой.

Бабы недоверчиво переглядываются: ну и Христины!
Но та пуще прежнего заливается:

— Кое-как усадила это она меня на пол, несвычно мне без табуретки под задом, однако терплю, вид строю, что всегда так сидела. Тихонько оглядываюсь по сторонам, примечаю. Все как у нас, чуточку, кажись, похудее. Детишки присмирили, в рот мне заглядывают, а глазенки черные да шустрые бегают по мне, будто мыши. Познакомились. Назвалась она как-то, не упомнила, одно осталось в голове: кыс. Она, кажись, и не обижается, что я имя ее убавила. Да и мое тоже под ее языком больше стало походить на «хворостину».

Все больше улыбаемся. Угощает чем-то, скусное такое — до сих пор слюной исхожу, право дело, бабоньки. Из себя выйду, а эту снедь заведу в своем дому.

— Да ты подожди языком-то мести по углам, которых нет ишо,— подала голос одна из слушательниц.— Где он, дом-то твой?

Вопрос немного охладил Христины, но она тут же бесшабашно махнула рукой:

— Да с моим Банюшкой и под сосенкой баюшки. И неба большие, и любови на воздухе,— успевай охорашивайся.

Бабы поддакнули: от той любови у них сразу по трое за подол держатся да четвертый на сиське виснет.

— Живут жа люди! Хошь те жа местные бабы. А что едо-ков полно, дак ить за порог дитя не выкинешь, коли оно уже в утробе ногами сучит,— урезонила их Христины.

Поправив платки на головах, бабы разом взялись за кормысла, не прощаюсь, заспешили каждая к себе.

...Семя, брошенное в урянхайскую землю, едва проросло, как полыхнуло по всходам жаркое лето, и вновь почернела пашня. Черными стали лица пахарей.

Максимыч, как успели все в новом селении окрестить строгого бородача, собрал хозяев. Совет вышел немногословным, за всех высказался староста: «На новях мы лихо начали. О детях таперича наша обчая забота. Не метлой — впору бородами мести по сусекам, и то заделье. Собирайте все, что есть, на один двор, завтра выйдем на обчинное поле, авось, дойдут до господа молитвы наши».

Кажись, не оилошли. Хоть и не велико обчинное поле, но урожай на нем получился отменным. А вот с семенами на поклон к Ширяеву идти придется. Гренко зерно от хлебоеда принимать, да куда денешься. «Поделим тот грех на обчину, коли неча боле делить». — С такими мыслями Власов несменно оделся, подпоясал рубаху кушаком, шагнул за порог. На подворье его внимание привлекла птичья возня, которую затеял белый с рыжими подпалишами петух. Он восторженно созывал своих подруг, высоко подкидывая просянное зернышко. Куры со всех сторон бежали к нему, заполошно кудахча. «Ко-ко-ко...» — ликовал петух. Переусердствовал, знать, и нечаянно проглотил драгоценную находку. Подружки уже подбежали к нему, когда тот, опустив хвост и чертя им по цыли, виновато поплелся в сторону. Сбежавшиеся на его зов куры недоуменно оглядывали пустое место.

Было в этом столько потехи, что Власов, не сдержавшись, загоготал.

— Пе...петух-то, старая, у...учудил,— принял он объяснить сквозь смех встревоженной Пелагеихе. Но та, ничего не поняв, укоризненно покачала головой: то не подступись к мужику, то зубы без причины моет. Уж не рехнулся ли старый над своей Библией?!

Так и вышел со двора Еремей Максимович: добродушный смех еще долго сопровождал его нескладную, привыкшую к тяжелому труду фигуру. Встречные улыбались старосте, заражаясь его добрым настроением.

Еремей шел к полю. Он мог доверить ему, как самому дорогому человеку, свои сокровенные мысли, боль. Поле встретило его тихим шелестом зреющих колосьев.

— Ну, как ты, полюшко, живешь-здравствуешь? Скоро нам с тобой песни петь под звон острых серпов да бабские страдания. Единственная ты надежда наша.

Власов бережно брал в ладони щепетильные колосья, растирал, дул на них, смешно выпячивая губы, пробовал на зуб золотое зерно, удовлетворенно хмыкая, шел по меже. Думалось ему, что вот она, в этом хлебном поле, его давнишняя крестьянская мечта: сообща пахать и сеять, хлебушко растиль. Возрадуется бог, возблагодарит чад возлюбленных за их согласие и общий труд хлеборобский — мир и довольство ниспошлет им. И тогда все хлебоеды скопом повалят к земле: «Прав ты, Еремушка, зело прав был: счастье наше не в деньгах и высо-

ких чинах, а в земле да хлеборобстве», — застремочет хитрый Фас. Закивают головами другие, кому богом дано мужиками быть, а стало быть, и пахарями.

Поклонится им всем низко Власов, поклонится им пшеничное поле: «Добро пожаловать, гости дорогие! Силушки вам работной да могутной в руках, песен веселых на ваших устах, хлебушка доброго в ваши сусеки!»

Размечтался старик, упесся к высям заоблачным. А на земле в ту пору злодейство замышлялось. Не поделили границ чиновники двух хопунов, на чьей меже остановились новосельцы, завидно стало одним, что соседям большие подарков перенадает от русских, решили насолить приезжим. Направили косяки лошадей на хлебную пиву, вмиг сжали ее копытами. Лишь одинокие колосья сиротливо стояли посреди злодейской браны да старик с поднятыми к небу руками:

— Где ж ты, бсг?! Пошто не повергнешь, не сожгешь огнем поднявших руки на святое?!

Упал старый пахарь на истерзанное поле, лишился чувств, будто по нему самому прошелся дикий табун.

...К полю от стана тянулись молчаливые толпы мужиков, баб, детей. Голодная смерть черным истерзанным полем смотрела им навстречу.



Степан САРЫГ-ООЛ,
народный писатель Тувинской АССР
ВРЕМЕНА ГОДА

Естественно круговращенье времени:
сменяет зиму робкая весна,
за нею лето шествует уверенно,
а там осень, в золоте красна.

Зовем мы зиму, по привычке, «горькою»,
но, право, не проспать же нам ее
в берлоге иль в норе, под снежной горкою,
как от морозов прячется зверье?

В природе мудро все.
Озябнут стволики —
снег утеплит их тотчас белым войлоком.
Взбунграются на реке крутые паледи —
на лето будут влагой земли палиты.

Когда же воздух чище, чем зимой?
Где белизну ты сыщешь, как зимой?
На быстрых лыжах в горную тайгу
охотники взлетают — не бегут.

Но все же для людей милее нету,
чем обновление — весна и лето,
пора рождения, пора расцвета,
пора цветов и солнечного света!

Как не воспеть мерцающую зелень
травинки первой!..

А цветы зарделись,
а синевою налилась река —
что ни ручей,
то новая строка!

Земля и небо в солнечном расплаве
сиянье радости и жизни славят,
ни молнии, ни громы не угрюмы —
они зовут, они рождают думы!

Природы величавые явленья,
приметы жизненного обновленья,
как родственны они труду народа,
рождающему новую природу!

...Но там, где кровь, где голод, где война,
как будто застывают времена.
Зима и лето в тех краях равны.
Великая планета ждет весны!

МНОГОЦВЕТЬЕ

Многоцветье весенней степи,
озаренная солнцем даль!
На ветру — багульника трепет...

Неумолчный рокот труда:
трактора выступают гордо
прошлогодней серой стерней —
расшивают узором черным,
покрывают кошмой строченой
неоглядный простор степной.
Мать-Земля!
Из узоров этих
твой родной мне видится лик:
вновь справляем мы, твои дети,
возрожденье — в трудах — земли.

По речным долинам струится
сизоватый легкий туман...
Первый луч не успел пробиться —
в свете фар убегает тьма.
Песнь моторов! И дни, и ночи
гордый рокот в степи растет!
Этой песнею неумолчной
славит партию наш народ.

В майском радостном многоцветье,
в этой радуге и в лучах
горный ветер, весенний ветер
раздувает огонь кумача.

БЛАГОДАРЯ МАТЕРИ

Храню любовь к простым словам,
приятным сердцу моему:
скажите «мама» иль «авам» —
светлей становится в дому.

Несет ребенка на руках
и ласка светится в очах —
и нам тепло дарит очаг,
еда сладка, постель мягка...

Как счастлив тот, кто вырастал
под теплым крылышком ее:
он сильным стал,
он взрослым стал,
он славу матери поет!

А кто судьбою обделен,
остался рано сиротой —
до склона лет тоскует он,
как в песне,
древней и простой:

«Сиротинкой я остался —
рано с матерью расстался,
но меня для жизни милой
молоком она вскормила...»

А слово «бабушка»? Оно
вдвойне теплом наделено:
как шуба, греет...
Наш язык
из теплых детских слов возник,

из первых слов — «отец» и «мать»,
и сколько б ни пришлось узнать
потом иных, различных слов —
от них одних твое тепло!

...Ты строишь новую семью,
на жизненный выходишь путь.
Рости детей.

Но мать свою,
источник жизни,— не забудь!
И помни: жизнь твоих детей —
дар вечный матери твоей.

КАРАМА

1.

Хайыракан мой, зеленый, чудесный —
вы в цветенье, родные края!..
Карама весела и прелестна —
не она ли любовь моя?

Сколько б ни было книжек написано,
героиня всех — Карама!
Я не звал ее в мои песни,
но она в них вошла сама.

Жарким взглядом коснется нечаянно —
словно выгляднут звезды из тьмы.
Улыбнется мне невзначай она —
где вам, звезды, до Карамы!

Не забуду тот день, когда, юную,
повстречал впервые ее —
как таежный цветок в июне,
засветилось сердце мое...

2.

Душа заставила запечатлеть
неизгладимый в сердце образ твой:
теперь ему с годами не истлеть,
бумага хрупкая спасет его.

Светилась юностью и чистотой,—
а ныне в косах седина легла...
Но я скажу: венчальюю фатой
покрыл туман вершины горных глав.

Мне скажут: «Не ищи отныне ту,
какой была — стареет, мол, она...»
А я скажу: черемуха в цвету,
весна кругом, где цвет — там белизна!

Теперь скрывать мне больше ни к чему
то, что таилось в сердце столько лет...
Моим признаньем прозвучит хомуц.
Прекрасной высший долг воздаст поэт.

МОЛЕНИЕ ОСЕНИ

Осень, осень, золотая моя осень!
Ты помедли, ты продли свою игру:
сей на землю,
как весна — пипеницы россыпь,
золотистых и багряных листьев грусть!

Ты пряди свою пестреющую пряжу,
выводи рукой искусно узор —
пусть на землю он ковром цветистым ляжет
от долин лесных — к суровым скалам гор.

Рассыпай щедрее листьев разноцветье,
чтоб ветрам их вдохновенным разнести...
Лишь меня ты не сорви с родимой ветви:
мне весною из земли не прорости...

Прежде вечностью назначенного часа
не позволь ты моей ветви опустеть:
красотой твоей дай сердцу насыщаться,
дай мне прелесть твою вечную воспеть!

Сергей ПЮРБЮ,

народный писатель Тувинской АССР
ЧИТАТЕЛЬНИЦА

Я видел красавиц:
 у них в глазах
черемухи спелость
 и синь небес.

Я помню красавиц:
 у них в косах
ночей чернота
 и солнечный блеск.

Знавал я красавиц:
 щеки у них —
пунцовость гвоздик
 и свежесть клубник.

Как часто
 щемила мне сердце боль?

Как часто
 входила в душу любовь?

Но та,
 что прекрасней всех на земле,
живет в отдаленном,
 тихом селе.

И я красоты се
не воспел,
лица, к сожалению,
не рассмотрел,
так низко склонилась
над книгой она --
над книгой стихов моих
у окна.
И сердце стучало
в ритме стиха,
и сердцу винимала
душа, тиха...

Юрий КЮНЗЕГЕШ
ПОРОГ И МЫ

Соединив плоты веревками,
плывем в Кызыл через тайгу.
Плыvем, взнuzдав руками ловкими
взбешенную реку.
В лохмотьях пены берега.
Ревет река.
Гудит тайга.
Река — опасная дорога.
Не терпит трусости она.
В душе рождается тревога
и поднимается со дна.
Порог грохочет впереди:
— Кто духом слаб,
не подходи!

Порог разгневанно грохочет,
он хуже злого рысака,
что, яростно танцуя, хочет
на скалы сбросить седока.
Отважным и умелым будь,
не то закончишь здесь
свой путь!

Коль, оробев, разинешь рот,
из рук волною выбьет весла,
швырнет ко дну водоворот...
Рванешься ты, но будет поздно...
В ушах трезвон, в глазах темно.
Все кончено:
на дно! На дно!..

А коль останешься живой,
знай: под счастливою звездою
рожден ты горною грядою,
и светел славный жребий твой.
Ты будешь удалью своей
служить примером
для друзей.

Мы к недругам и к трусам строги.
Не потому ль средь скал крутых
себя и сверстников своих
мы проверяем на пороге?
О, беспощаден и жесток
к трусливым и к чужим
порог!

Не потому ли мы сейчас
за мир и правду храбро бьемся?
Порог воспитывает нас,
и мы ему в любви клянемся.
Я буду счастьем озарен,
коль скажут мне:
«А ты, как он!»

ЧИЛИЙСКИЕ МОТИВЫ

Гладис Марин

Брускатник летний дождь полощет.
Товарищ шепчет:
— Посмотри!
Сюда, сюда смотри! На площадь!..
Ведь это же она, Марин!
Чилийка! Это не ошибка!..
О, у нее усталый вид,
а белозубая улыбка,
что красно солнышко, блестит!

В Сантьяго никогда я не был,
но показалось мне, друзья,
что у Марин точь-в-точь глаза,
как над Сантьяго хмурым небо.
И обожгла мою ладонь
ее ладонь при нашей встрече.
И понял я в тот светлый вечер,
какой в груди ее огонь —
огонь любви горячей к Чили,
огонь презрения к врагам,

что, бросив вызов ей и нам,
Сантьяго кровью затопили...

Марин стройнее, чем тростника,
светлей, чем ясень поутру.
Ее крылатая косынка,
как знамя, билась на ветру.
Того же цвета над Кремлем
полотнище, клубясь, шумело.
Марии под ветром и дождем
с надеждой на него глядела...

Памяти Пабло Неруды

Фашисты в тупости чугунной
рвут озлобленно жизни-струны
поэтов — пламенных борцов.

Поэты-люди погибают,
но их стихи не умирают:
бессмертие — удел стихов.

Да, жизнь — струна. Порой в неволе
жизнь обрывается от боли,
рождая страх в сердцах врагов...

В суровый год, наш друг и брат,
воспел ты грозный Сталинград,
встав смело в строй его борцов.

Тогда решались судьбы мира.
Твоя не умолкала лира:
поэт, ты был с моей страною.

И в сорок пятом, как солдат,
ты был победе нашей рад
над озверевшую ордою.

Да, выстоял и победил
народ наш полчища громил,
чтоб люди жили мирно, вольно.

Но стая черная горилл
в Сантьяго, где ты рос и жил...
И сердцу холодно и больно.

Тебя невзгоды не согнули,
твои стихи разят, как пули,
твоих врагов, врагов моих...

Гориллы лопнут от натуги,
фашисты мечутся в испуге —
с дороги ты сметаешь их!

Ла Монеда

О, Ла Монеда, пусть аал
мой далеко, ты жди меня!..
Пусть я еще не оседлал
у юрты белого коня,
но прилечу к тебе стрелой
и пепел твой возьму в ладонь.
И с ишней драгоценной
конь
меня помчит в Туву, домой.
Твой пепел с нашею землей
смешаю.
Посажу цветы.
Прекрасна степь в цветах весной —
таким был, Ла Монеда, ты.
Я посаджу березы, вербы
у гор Саянских, на тропе,
чтоб с их листвою вихри-ветры
шумели вечно о тебе.

Из Чили облака на север
летят, как вести,
что народ,
как тучу черную, рассеет
врагов
и радостно вздохнет.
Он не забудет, как в дыму
развалин
президент сражался
и, умирая, обращался
с призывом пламенным к нему.
Альенде, президент и врач,
лежал в крови, сомкнувши веки...
Плачь, Чили,
Ла Монеда, плачь
о нем — великом человеке...
Народ чилийский хочет света,
свободы.

Мир и жизнь любя,
он отомстит за президента
и, Ла Монеда, за тебя!

Когда ракеты и гранаты
взрывали в адовой пыли,
тебя или танки, или солдаты
заставить сдаться не могли.
Когда в саду клубилось пламя
и кровь по комнатам текла,
ты, вскинув над собою знамя,
стоял, как грозная скала.

Когда Альенде с автоматом
в огне кричал:
— Мы победим! —
в глаза путчистам бесповатым
бросал ты пыль, оголь и дым...

Пусть стал ты пеплом и золой, —
всем сердцем я горжусь тобой!
Да, будет ликовать планета,
когда на зло врагам своим,
под солнцем, вечно молодым
из пепла встанешь, Ла Монеда!

Олег СУВАКПИТ

ДОЧЬ ЗЕМЛИ

О. П. Чуевой,
заслуженному агроному
Тувинской АССР

До устали ног
исходила предгорья Тандинские.
Верхом и в телеге
изъездила степи тувинские.
Была бы ты нежной,
была бы ты слабой —
давно от земли этой,
верно, ушла бы.
Но волею ты —
сильнее мужчины.
На светлом лице твоем —
не морщины,
а борозды плуга по целине.
Широкое поле,
щедрое поле —

пшеницу растит оно,
кормит и холит —
так жизнь твоя видится мне.
Ты колос сорвешь,
разотреши в ладони,
смахнув шелуху,
раскусишь зерно...
В пшеничных волнах
скрываются кони
и всадника видеть в них
не дано!

Нет тропки,
куда бы ты не ступала
в балгасынских
подтаежных местах.
Нет поля,
где капелька пота не пала
со лба твоего,
росинкою став.
Ты хлебу — как мать:
ты стынешь с ним вместе
холодной весною;
горишь с ним — в зной.
Ты осенью с ним
широкую песню
поешь
над сверкающей хлебной стеной.
Крестьянка,
твой труд и обычай, и вечен —
высоко стоишь ты
над полем родным:
народным признаньем
твой подвиг отмечен,
ты, волей народа —
хозяйка страны!
Пройди по селу.
Что ни дом — тебе рады,
детишки навстречу бегут,
как к родной.
И эта любовь
выше всякой награды:
с народом идешь ты
дорогой одной.
...Я знаю тебя
уже долгие годы:

в канторе, в бригадах,
на станах встречал.
Я видел твой труд
и недолгий твой отдых,
и радость я видел твою,
и печаль...

Ты стала зрелее,
ты стала мудрее,
но звонок твой смех
и открыты глаза,
и ты не стареешь —
нет, ты не стареешь! —
я смело решаюсь
это сказать.

...На степь мою
взором хозяйствским взгляни,
дочь Родины,
дочь этой щедрой земли:
сулят изобилье
в расцвете
предгорья Тандинские,
ковром тебе под ноги
стелются
степи тувинские.

Салим СЮРЮН-ООЛ

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ЗЕМЛЮ

Механизатору из Пий-Хема
Степану Топоеву посвящается

Просторы степей не объехать в Пий-Хеме,
лугов и полей не опишешь в поэме,
не сыщешь сравнений, не выберешь слов,
чтоб выразить к этому краю любовь —
такую, как в сердце открытом Степана...

Ведет он, любуясь родными степями,
рокочущий трактор в просторы весной —
и пот его в землю ручьями стекает,
чтоб влагу впитала, чтоб вынесла зной.

А осень наступит — и в поле бескрайнем
достанет работы могучим комбайном,
врезают они золотую волну...

И снова Степан вспоминает весну,
в пыли и в полове, обветренный, черный,
без слов отдает он признанья свои
земле...
И не сыщешь любви благотворней,
прекраснее и благородней любви!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Красоту родного леса воспевает соловей —
вы слыхали утром ранним трели в трепетной листве?
Вы заметили: поэты вечно славят край родной —
знать, сердца их не согреты красотой земли иной.
Что поделаешь, не скрою: так любовь моя сильна —
сердце жаркою волною переполнила опа.

В день рождения любимой как мне песню не запеть?
Не назвать родное имя — как возможно утерпеть?
Как не вспомнить: ты сироткой неприкаянной росла —
но за тридцать лет коротких небывало расцвела!
Словно в зеркале блестящем, все в тебе отражено —
все величие и счастье, что народам суждено.

Города твои и села — как цветы полян лесных;
голосисты дети в школах — птицы певчие весны;
не вмещаются отары в берега твоих долин;
закрома забиты даром матери хлебов — земли!
Поднялись из недр таежных к людям кобальт и асбест —
все, что пожелать возможно, у тебя, родная, есть!

В свой счастливый день рождения принимай гостей, Тува!
Дань любви и восхищения — их приветные слова,
показать им много надо — нет, совсем не похвальба:
пусть разделят с нами радость, что светла твоя судьба!
Так цвети, в огнях сияя, в миг заветный торжества —
пой со мной, Тува родная, с днем рождения, Тува!

Кызыл-Эник КУДАЖИ

ГИМН ДЕРЕВЬЯМ

Этот гимн сложив,
я не умру...
Гимны созданы огню и стали,
и до новой эры распевали
гимны золоту и серебру.

Нет, не хаю их.
Они нужны.
К гимнам старым
отношусь с доверьем.
Почему ж друзья удивлены,
что пою сейчас я
гими деревьям?

Есть, конечно, вещи поважнее,
что достойны славы в наши дни.
Но деревья милые!
Они мне
с каждым днем все ближе и роднее.

— Лес забыв,
на свете жить тебе ль? —
так седые предки в юртах пели.
Что ценю я в жизни?
Колыбель!
Из чего она?
Из добрых ели!

Юрта материнская сейчас
всех дворцов, признаться, мне
дороже.
Знаете ли вы:
ее каркас
из жердей,
что на штыки похожи?!

Юрта дымчатая над рекой...
Смотришь снизу —
наверху оконце...
Из березы обруч золотой
на рассвете вспыхивал,
как солнце.

Первый конь —
о, помнится и ныне! —
мне подарен в детстве был тайгой:
возле юрты,
смуглый и босой,
лихо я скакал на хворостине.

В юности три ночи
и три дня
мучился я, песню сочиняя.

Слушала, шумя листвой, меня
в блестках звездных
сторона лесная:

«Я мечтаю
стройным кедром стать,
зеленеть
и летом, и зимою.
Я желаю
девушку обнять
и назвать ее своей женой!»

Вырос я в тайге.
И мне неведом
страх.
И, в каких бы ни был я местах,
шум тайги идет за мною следом.

Раз приехал по делам в Москву.
Скрыть в глазах восторга не умею:
ели
зеленели
наяву —
дочери тайги! —
у Мавзолея.

А когда летел на «Ту» домой,
молча вниз глазея с интересом,
мне земля
казалась буйным лесом,
озаренным желтою луной.
Города в лесу, как островки,
всплескивали
пестрыми огнями...
Мне махали
дружески ветвями
на рассвете
ивы и дубки.

Я не молод.
В городе большом
у меня квартира неплохая.
Высится пятиэтажный дом,
плитами и стеклами
сверкая.

Дом из камня.
Из асфальта двор.

И дверные ручки — из железа.
Но не удивляйтесь:
до сих пор
окружен я запахами леса.

Эти двери, пол и потолок,
стеллажи вдоль стен,
где книгам тесно,—
из чего?
Конечно, из досок!
Дар тайги саянской,
как известно!

И рояль — дар леса —
душу мне
будоражит...
Сдерживая слезы,
слышу:
шепчут в лесу березы
и вздыхают кедры
в полусне...

Моде следую:
диван-кровать
стал мне вещью цениой и полезной.
Сладко на кровати спал железной—
слаще на диване этом спать.

Зеркалом сияет шифоньер.
Лучше вы отыщете едва ли:
мастера-друзья из ГДР
мне его в Кызыл
прислали.

Письменный,
покрытый лаком стол.
Радость творчества
нас с ним связала.
Он, как верный друг,
ко мне пришел
из лесов богатыря Урала.

По ночам —
слуга покорный ваш —
жду вестей от гор, тайги и ветра
и сжимаю в пальцах карандаш —
корень ивы
или брата-кедра...

А когда устану от сует,
не шумлю,
как вертопрах-повеса,—
ухожу,
чтоб повстречать рассвет,
в добрый мир врачающего леса.

Там бруснику спелую увижу —
мох в багряных каплях,
как в крови...
Никого в тайге я не обижу,
всем в тайге
я объяснюсь в любви.

Кедр встряхнет кудрявой головой:
— Отдохни, приятель, на опушке!
И услышу
голос я кукушки:
— Двести лет
жить будешь, дорогой!

Улыбнусь в ответ.
Душой приемлю
боль и радости грядущих лет...
Не покину я леса и землю —
ведь без них живущим
счастья нет.

Надышавшись воздухом лесным,
распахну рубахи жаркий ворот.
Посвежевшим,
сильным,
молодым
возвращусь под вечер в город...

И скорее за рабочий стол!..
Кто там в дверь мою
в ночи стучится?
Это в гости
лес родной пришел,
на плече его —
жар-птица...

Может, в утверждениях не нов я,
все же говорю опять, друзья:
— Все леса желают мне здоровья,
и здоровья им
желаю я.

И когда
я все-таки умру,
вашли души болью потревожа,
то меня родные поутру
в гроб,
процахший кедрами,
положат.

И утихнут
выруги,
войны,
грозы
в час,
когда вернусь в земную грудь...
Кедры,
лиственницы и березы
выйдут провожать в последний путь.

Над могилой встанет ель,
гордясь
вечно зеленеющим мундиром,
как живая трепетная связь
между мною
и бессмертным миром.

Может, потому,
пока живу,
я горжусь их дружбой и доверьем,
и целую на ветвях листву,
и дарю земле
свой гимн деревьям.

Светлана КОЗЛОВА **ДОРОЖНЫЕ РАЗГОВОРЫ**

Два шоффера говорят о футболе.
Только слышно, что «Кайрат» да «Нефтчи».
Так сподручней им автобус вести —
разговоры задремать не позволяют.

А старуха — все про хлебное поле:
как питают его щедрость ручьи,
да какой на нем пшенице расти,
чтобы было урожаю поболе.

А девчонки — все свое да свое:
— Ты заметила? Глядел-то! Глазищи!

Он напишет. Он везде меня сыщет.
Этот, в книжке, отыскал же ее...

Как медовая, прозрачна тайга:
просквозило ее солнцем осенним...
В желтоватые оттенки растений
белый цвет уже вплетают снега.
Вот и сумерки нисходят в простор:
почернели очертания гор,
угасает, удаляется поле...

Тракт извилист.
Блеск ледовый на нем.
Чтоб в Саянах не уснуть за рулем,
два шофера говорят о футболе.

РОЛЬ

Заслуженному артисту РСФСР и
народному артисту Тувинской
АССР Н. О. Олзей-оолу

В горах условно занималось утро.
Рыдали пропасти: «Кара! Кара!..»
Актер — высокий парень чернокудрый —
роль старика играл:
то нежным становился, то жестоким,
условную испытывая боль...

Сценической судьбы его истоки
вмешала эта роль.
Он возмужал. И сыграно немало:
героем был и — гаером — порой...
Но с каждым годом больше занимала
единственная роль:
неловко нес конвертик с кружевами,
как гордости отцовской первый знак,
с тревогой вглубь заглядывал — жива ли? —
и ничего не знал...
Которое мгновенье драгоценней?
Что в памяти запечателось так?
Был первый шаг.
Был первый шаг по сцене.
И был последний шаг.
Не смей!
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
и не за что судьбе тебя карать —
так не ступай же в пустоту с обрыва,
остановись, Кара!..

По ходу действия ласкает косу —
и весь: сникает, безнадежно тих...
Аплодисментов отзвучала осыпь.
Из роли не уйти.
И только иногда ночами снится:
спектакль окончен,
заавес,
пора.
С ним, за руку,
чтоб залу поклониться,
идет его Кара!

...Который год одно его спасает:
приходит песня,
ласково строга,
и над бездонной болью вырастает
кедровая тайга.

ПАМЯТИ АЛЕШИ ОНДАРА

«Белеет ли в поле пороша
иль вешине липни шумят...»
(Из песни)

В войну играл ты когда-то.
Когда-то, как все ребята,
мечтал ты в строю солдатом
шагать под красной звездой...

Горит звезда незакатная
над холмиком без ограды,
и кто-то вздыхает: «Надо же!
Совсем еще молодой...»

И думал ты стать пилотом.
Тянулся к большим высотам,
мечтал создавать самолеты
и сам вести их в полет...

Как тяжко лежит, как плотно —
земля над глубью холодной —
ключок синевы беззаботной
сквозь камни не промелькнет.

А мог ты стать и ученым.
Как шел глазам твоим черным,
как будто внутри включенный,
пытливый, ищущий свет!..

Безмерной мглой поглощен он,
в пустоту превращен он,
и нет улыбки смущенной,
и чистых глаз твоих нет...

Тоскую, словно о сыне...
В высокой и чистой сини
рекочут моторы сильные —
и странно: кажется мне,
что отдал ты жизнь работе,
хорошей, умной работе,
что ты разбился в полете,
что ты погиб на войне.

ТЕТЯ ТАНЯ

Некрасивая,
неопределенного возраста,
всю-то жизнь проработала в детской больнице.
Тетей Таней ее называли попросту
и ребята,
и «штатные единицы».
Не гнушалась она никакой работой:
при своем медицинском образовании
мыла пол
и дежурила по субботам
одновременно — сестрой и нянею.
— Тетя Таня! Пожалуйста, тетя Танечка!..
Разве можно на просьбу не дать согласия?
Ей понятно,
что к танцам, к веселью тянетесь
санитарка —
вчерашиняя десятиклассница.

А дежурить ей нравилось в той палате,
где лежали грудные —
совсем несмышленыши,
и пока не пришли покормить их матери
разворачивать,
гладить,
менять пеленочки.
Целовать не решалась —
внесет инфекцию —
вечно в марлевой маске
(точь-в-точь паранджа...).
Но, встречая на улице мордочки детские,
отмечала: «И этот у нас полежал».

Для себя никогда у ней не было времени —
ни за модой следить,
ни — даже влюбиться...
Лет под сорок, опа, наконец, забеременела
на удивление всей больнице.
И уж так ли теперь несла свое тело,
так сияла — под марлевой паранджою!..
Только имя чужое назвать не хотела
никому —
а зачем оно нужно,
чужое?
Нет, она не казалась обманутой жертвой —
только матерью,
как молодые,
другие...
Так ждала!

Но ребенок родился мертвый.
Говорят, от лекарственной аллергии.
Вся больница жалела ее...

Однако,
чуть окрепнув,
она пришла на работу,
и опять дежурила по субботам,
и все делала молча и углубленно...
Только если в палате ребенок плакал —
ей казалось,
что плачет ее ребенок.

И на пенсию вышла.
И просидела
в одиночестве, дома — неделю, две ли...
И, едва не сойдя с ума от безделья,
так и кинулась в корпус больничный белый.
— Тетя Таня! Вот радость-то! Тетя Танечка!..
Подровняв перед зеркальцем бровей
полумесяцы,
улетает на танцы
юная санитарочка —
нерожденному сыну ее
ровесница.

РАДИО

Я помню черный рупор.
На стене,

похожий на тарелку, он висел.
Он был таким у всех.
Был нужен всем.
Но мне тогда казалось,
что ко мне
он обращался —
Юрий Левитан —
из рупора,
и голос был — как гром,
когда приказы грозные читал
и сводки строгие Информбюро.
Он был для всех.
Он был необходим.
Потом звучали песни —
вслед за ним,
и музыка звучала, и она,
казалось, тоже всем была нужна.
Он не смолкал —
широкий черный рот —
он был для всех.
Ему внимал народ.
И только в страшные часы тревог
он почему-то говорить не мог:
все звуки обрывал сирены вой,
бездмолвие — за ним...
Но вот — отбой,
и снова, снова музыка слышна...
Она — для всех.
И всем она нужна.

...Как хорошо, что можно повернуть
едва заметный круглый рычажок
и в море звуков радостно нырнуть,
чтоб вновь, как в первый раз, восторг ожег,
и слушать музыку, и узнавать
мелодии, родные с детских лет...

И слышать мир.
И в строй борцов вставать
за жизнь и справедливость на Земле.
Незримая волна!
Ты так светла!
Пульсирует, как сердце, шар земной...

Я делаю привычные дела,
я здесь —
но Космос говорит со мной.
Невидимые, тянутся лучи

от сердца к сердцу,
от страны к стране...

Нет, радио.
Нет, ради...
Не молчи.
В безмолвии
слышина спрена мне.

Монгуш ДОРЖУ

РОДНАЯ ДОЛИНА

Широка, словно море, родная долина
и, как море, колышется, радуя взор.
Солнцем щедро природа ее наделила,
расстелила искристый зеленый ковер.

Солончак после ливня блистает на солнце
и похож на седло он на конской спине.
И бегут к водопою веселые овцы,
позабыв своего пастуха в стороне.

Вон знакомая роща в долине пестреет.
Тень косая крылом пролегла от нее,
будто тянется к травам, чтоб созрели быстрее...
Но тяжелые ягоды непускают ее.

Косари, утомясь, у костра отдыхают.
Шум затих. Только слышен напев сыгытчи —
эхом радости звуки взлетают и тают:
это голос Тувы задушевно звучит!

От стогов, что расставлены, как часовые,
веет запахом скопченной свежей травы.
И схватил я литовку, и пошел не впервые
по зеленому лугу с косарями Тувы.

«Морю капля поможет!» — так старик умудренный
произнес, одобрительно глядя мне вслед.
Трактора загудели. Этот гул монотонный
влился в общую песню труда и побед.

А девчонка-шофер, мимо нас проезжая,
закричала шутливо: «А ну, берегись!»
Я работал без устали, не замечая,
что с лица уже градом капли пота лились.

Ну, а вечером тиши овладела долиной.
Утомленное солнце коснулось земли.
Тень высокой горы появилась, и длинной
полосой протянулась за ролцу вдали...

Снова с грохотом мимо промчалась машина:
та же девушка. Кузов полон подруг.
Я не знаю, куда незнакомка спешила:
поиграть в волейбол, пока день не потух?..

С той поры я постиг: сколько стран ни изведай,
где бы ты ни был, но тянет к сторонке своей.
Жизнь моя начиналась в долине вот этой.
Я считаю ее колыбелью моей.

ВСПОМИНАЯ ДОРОГОЕ ИМЯ

Лишь вспомню имя дорогое,
вернется детство вдруг ко мне...
И ясно вижу: вброд рекою
мальчишка едет на коне.

Спешит он к юртам низкорослым.
Его твоя встречает мать,
и шутит:
— Скоро ль станешь взрослым?
Расти скорей, мой милый зять!..

Тут на тебя я, дорогая,
смущенно бросил взгляд косой.
И ты зарделась. Убегая,
взмахнула черною косой.

С тех мор меня не посыпала
к вам с порученьем мать моя.
Не видел вашего аала.
Но помню все, в душе тая.

И часто, часто вспоминаю
огни костров в глазах твоих...
Без карих глаз твоих, я знаю,
и песен не было б моих.

ОГНЕННЫЙ ЦВЕТОК

Лирическая поэма

«Там у Саян, цветок красивый
пылает жарко и светло...»

Мне в детстве снился конь ретивый
и на спине коня седло.

С иными снами и тревогами
явилась юность на порог.
Бродил лесами и дорогами,
искал я огненный цветок.

Я шел в луга, степные дали,
лез на вершины наскролом.
Цветы головками кивали,
нестрали праздничным ковром.

Но ни один не озарялся
живым и трепетным огнем.
Я был упрям.
Я не сдавался —
я встречусь с огненным цветком!

Я низко кланялся Саянам,
просил у ветра и огня,
чтоб полыхающий, желанный
цветок открыли для меня.

Во встречу не терял я веры...
Пройдя леса и перевал,
об этом мудрому Хулеру
в аале как-то рассказал.

— Цветок горит не днем, а ночью,—
ответил мне охотник-дед.—
Его я увидал воочью,
как помнится, в семнадцать лет.

О нем я от отца услышал.
И сразу все во мне запело,
казалось: счастье посмотрело
в лицо мне...
Я из дома выпел.

И, взяв охотничье ружье,
бегом в тайгу, хоть ночь стояла.
— Гляди, сынок, в лесу зверье!—
испуганно мне мать сказала.

Мы в ранней юности отважны,
глупы в горячности своей.

Томясь от непонятной жажды,
седых пугаем матерей...

Я шел по чащам,
лез по круче,
пил из ручья у черных скал.
А небо дымчатые тучи
покрыли сотней одеял.

И хлынул дождь,
забарабанив
по листьям кедров, по кустам,
по скалам, по лесной поляне,
по затаившимся цветам.

Внезапно огненным арканом
сверкнула молния в потьмах.
И не с цветком,
а с великаном
я встретился в ту ночь в горах.

Медведя-великана вижу.
Почуял, видно, он меня.
Идет ко мне...
Все ближе, ближе...
В него в упор стреляю я.

Кричу я, но не слышно голоса...
Лишь рев и шорох лап в траве...
Я задрожал...
На голове
от страха дыбом встали волосы.

— Судьба,— подумал я.— Ну, что ж!.
Медведь летел ко мне стрелою.
И из чехла я вынул нож,
к смертельному готовясь бою...

— Гляди, сынок, в лесу зверье!—
в ушах раздался голос мамы.
И вновь я разрядил ружье
в медведя,
целя в сердце прямо.

Задев меня горячим боком,
медведь рванулся с ревом в лес.
В овраге, темном и глубоком,
кусты ломая, он исчез...

А утром молнии-арканы
блестели изредка вдали,
и поднимались от земли
и в небе таяли туманы.

Как медно-огненный котел,
над лесом солнце засияло.
Среди кустарников устало
я по следам медведя шел.

Земля, омытая дождем,
как девушка, от счастья пела,
и в сердце молодом моем
бурлила радость без предела.

Понял! Убил! Сомнений нет!
Но и боялся я при этом:
медведем был в лесу сосед
растерзан позапрошлым летом.

И вопль девчонки Эрес-кыс
услышал, холдея, снова:
— Медведь-шатун отца загрыз!
Как жить мне без отца родного?..

Цветы сияли в тишине,
горам и солнцу улыбаясь.
Кивали, словно другу, мне,
светло и жарко загораясь.

Уплыли за Саяны тучи.
На небо любо посмотреть!
А он лежит, как кедр могучий,
в крови дымящейся — медведь...

Примчался вихрем я домой,
дорогой никого не встретя.
И крикнул:
— Мама, я живой!
Убил я шатуна-медведя!

И Эрес-кыс, светлее дня,
играя на груди косою,
смотрела нежно на меня:
— Хулер! Батыр!
Горжусь тобою!

Так я нашел цветок, пылающий
любовью, счастьем и огнем.—
Дед затянулся табаком.—
Жену и ты ведешь в свой дом.

...Я то краснел, то улыбался,
Хулера слушая рассказ.
Как раньше сам не догадался,
что в юности волнует нас?

Всему приходит в жизни срок:
Хулер в могиле над рекою.
Нашел я огненный цветок,
назвал его своей женою.

И сын подрос...
Как птаха, звонко
поет на улице, в дому.
И до задумчивой девчонки —
соседки — дела нет ему.

Мальчишке снится конь ретивый
и на спине коня седло...
«А у Саян цветок красивый
пылает жарко и светло...»

Сын мужеству, любви и хлебу
узнает цену у отца...
У этой песни нет конца,
как нет конца земле и небу.

Александр ДАРЖАЙ
ТРОПИНКА В МИР
Поэма

Мне дымок над маминой избушкой
через сотни рек, морей и нив,
как березку над лесной опушкой,
видеть суждено,
пока я жив.

1.

Вот здесь, на войлочном полу,
в счастливый год,
в прекрасный миг,
в пропахшем травами углу

прорезал тиши мой первый крик.
Поцеловав мое лицо,
меня запеленала мать.
Тихонько вышла на крыльцо,
чтоб солицу сына показать.
Потом, от радости светла,
по росной травке луговой
в степь за руку меня вела,
знакомая с матерью-землей.
Робея, плакал я неумело,
а мать вполголоса
мне искала:

— Белокорая березка,
серебристый ручеек,
луч весенний в звездных блестках —
это Родина, сынок.

Край лесов необозримый,
над избушкою дымок,
край родимый,
край любимый,
береги, как жизнь, сынок!

...Ее слова, ее наказ,
как ценный клад, в душе сберег.
Ее наказ в ненастный час
тропинку в мир найти помог.

Рос среди сверстников лихих.
Озорничал —
моя вина.
Не раз из-за проказ моих
украдкой плакала она.

— Не будешь старших уважать —
смотри, вот кнут,
а вот ремень,—
вздохнет и засмеется мать,
как солнышко в погожий день.

Драчун, мой сверстник,
малыша
бил, уводя все дальше в лес.
Вскипела у меня душа,
я в драку яростно полез.

Я в драку бросился всерьез,
чтоб малышей не били зря.

А результат?
Разбитый нос,
глаза — два красных фонаря.

Мать побледнела, как береста.
Но я ей весело сказал:
— Не думай, что я дрался...
Просто —
в лесу я с дерева упал.

Мать подняла мне подбородок:
— Все знаю...
Ах, сынок-пострел!
Я рада, что ты с виду кроток,
а сердцем справедлив и смел.

Ты береги мужскую честь,
вставай за правду, сын, горою.
И не баюкай в сердце месть —
живи с открытою душою.

...В родной и дальней стороне
наказ родимой вспоминаю
и правду
грудью защищаю,
как завещала мама мне.

2.

Для деревенских сорванцов
нет ничего милей свободы.
А мы пасли овец, коров,
а мы копали огороды!

Подрос...
Не занимать мне силы
и ловкости не занимать.
Держать в руках умею вилы,
косу могу в руках держать.

Покос.
Опять зовет покос
безусых удальцов Тувы.
Там, на лугах, сверканье кос
и шелест скошенной травы.

Там удалъ покажу свою —
меня в работе не сдержать!

И вот кошу.
Смеюсь.
Пою.
И улыбается мне мать.

Как долг жаркий летний день!
Как манит к озеру прохлада!
Но не уйду от зноя в тень.
Глотая пот, кошу.
Так надо!

Под вечер падаю в траву.
Ладони — словно онемелые.
Смотрю —
во сне иль наяву? —
на облаков барашки белые.

...Вот мне доверили коня.
Тяну копну на волокуше.
Горячий ветер свищет в уши,
и солнце светит для меня.

Конь машет гривой,
спотыкается
о кочки — ноша тяжела...
Скирда лохмато возвышается,
как высоченная гора.

Смеюсь. Сжимаю вожжи крепко.
Я пьян от запахов травы.
Вверх на скирду взглянул —
и кепка
слетела мигом с головы.

Вновь кепку водрузил на голову,
вновь волоку к скирде копну.
От зноя, устали и голода
клонит ко сну.

...Ночь.
В доме пахнет супом вкусно,
и лампа на столе горит.
И мама что-то говорит
и, улыбаясь, смотрит грустно.

3.

Я горд.
Я несказанно рад.

В душе кипенье смелости.
В руках — хрустящий аттестат
зрелости.

Да, десять светлых школьных лет
ушли. И не вернутся.
Друзей моих счастливей нет —
они поют, смеются.

Я рад и несколько растерян.
Кем стать? Какой идти тропой?
Одно лишь знаю:
всей душой
земле я материнской верен.

Июнь.
Листовой оделся вновь
лес, шумный и зеленый.
Я встретил в первый раз любовь,
от счастья изумленный.

Прекрасна ты, пора любви!
Мы молоды, красивы.
Водоворотами в крови
бурлят к добру порывы.

...Вот солнце скрылось за горой.
Густеет ночь прохладная.
Меня под кедром, над рекой,
ждет радость ненаглядная.

Ждет Чодураа.
К чему вопросы?
Она всех девушек умней.
Глаза, как звезды.
Чудо-косы
безлунной полночи черней.

Она добра, гостеприимна
и маме нравится моей.
Как хорошо,
когда взаимно
мы любим, вместе с юных дней!

Но что случилось нынче с нею?
Взор — словно бритвы лезвие.
И я испуганно бледнею
и молча слушаю ее.

— Меня не ценишь и не любишь,
раз не собрался в институт.
Любимый, ты себя погубишь,
в глуши себя скрошишь тут!

Нет, говорят, огня без дыму
и счастья здесь, в деревне, нет.
Что, на печи ренил всю зиму
валиться, как пленивший дед?

Позор! Не будем мы друзьями...
Погибнешь ты наверняка...
И забурлила между нами
размолвки мутная река.

Не думал, что меня обидит
любимая когда-нибудь.
Мне думалось:
поймет, увидит,
что, мучаясь, ищу свой путь.

Я оглушен ее словами.
Ушла...
Кусты в лесу черны...
Двумя крутыми берегами
мы с нею разъединены.

Тьма, как обугленная вата.
Река — гремучая змея...
Любимая ли виновата
иль виноват
в размолвке я?

И я в себе замкнулся гордо.
А в сердце боль —
как дальше жить?
Читал, писал, решал кроссворды
и даже стал порой курить.

Вздохнул я горько и устало,
глядел в окно на лес с тоской.
И только мама понимала
меня.
Шептала:
— Мальчик мой!

Родной, не надо падать духом.
Ты отдых заслужил вполне.

И маслом мазала краюху,
ее совала в руку мне.

— Ешь! Не горюй! — Мне подбородок
приподняла.—
Ах, мой пострел!
Ты только с виду тих и кроток,
а сердцем ты горяч и смел!

Коль любит, то поймет...
Серьезно,
сын, говорю. Я не шучу.
Коль захотел, живи в колхозе.
Тебе работа по плечу!

Напишет Чодураа.
Вернется.
А ты труда отведай вкус.
Бдалъ не ускакут,—
мать смеется,—
ни Чодураа, сынок, ни вуз.

Год поработаешь, а там
все станет, слышь, тебе виднее.
Сейчас в деревне ты нужнее
себе и мне, и землякам.

4.

Однажды в утреннюю пору,
умывшись ключевой водой,
пошел в колхозную контору
я по тропинке полевой.

Шуршали мокрые колосья,
всплывало солнце впереди.
Ни лени, ни тоски, ни злости
не ощущаю я в груди.
Так хорошо,
легко идти!

Хочу я быть полезным людям,
полезным быть своей стране.
Они оценят и полюбят,
помогут жить на свете мне.

Вздохнул колхозный председатель,
с грустинкой посмотрев в окно:

— Ты вовремя пришел, приятель.
Тока готовим под зерно.

Работай! Мудро говорится,
что человека красит труд.
А год пройдет —
пойдешь учиться,
клянусь горами, в институт!

Как не работать, если просят?
Иду с лошатою на ток,
спешу встречать хозяйку — осень
и хлеба золотой поток...

Не любят кони у сарая
древать —
не та у них судьба.
Комбайнов колесница стальная
пошла в атаку на хлеба.

И в небе, чистом и высоком,
клубится пыль, как облака.
Пшеница хлынула потоком
на ток, как горная река.

Рубашка потом пропиталась.
В ушах с утра и гул, и звон.
Лишь поздним вечером
усталость
бросает, словно в омут, в сон.

Сплю на току.
В пыли, в росе
я на рассвете просыпаюсь
и с головою окунуюсь
в работу жаркую, как все.

5.

Я стал подручным Очур-оола.
Зерноочистка ЭС-103
громит с зарп и до зари...
Отныне ток мне — дом и школа.

Мне повезло:
он работяга.
В нем я учителя нашел.
Как бессловесная коняга,
в работу впряженя Очур-оол.

За пятидневку вымпел алый
вручили первому ему.
Он: «Зазнаваться ни к чему!
Усек? Ведь ты неглупый малый?»

И подражать старался я
его привычкам и приемам.
Казался он давно знакомым:
таких не уважать нельзя!

Но раз у паренъка-соседа
мотор заглох...
И паренек
не спал, бедняга, до рассвета,—
поломку отыскать не мог.

Он к Очур-оолу:
— Вы простите —
от дела отрываю вас.
Вы мастер знатный... Помогите!
Теперь так дорог каждый час!

Но Очур-оол ему в ответ:
— За помощь не заплатят денег.
Зря ничего не буду делать.
Йщи механика, сосед.

Смотрел парнишка грустно, слезно.
— Пропшу вас! — повторял опять.
А Очур-оол ему серьезно:
— Не хнычь! Не буду помогать.

И я поникнул головой.
Сомнения жужжат, как мухи:
— Что, Очур-оол плохой?
— Плохой!
— А может, он не в духе?
— В духе!

Зря на него сосед рассчитывал...
А я его считал учителем!

Он к ночи выглядел усталым.
Я молча помогал ему.
В разгар уборки вымпел алый
не отдали мы никому.

Корреспонденты из Кызыла
нагрянули на ток гурьбой.
Газета мир оповестила:
— На жатве Очур-оол — герой!

Он усмехнулся:
— Шума много.
Как говорят, из ничего.
И я подумал: «Слишком строго
нельзя мне осуждать его».

6.

Дни, словно птички косяки,
спешишт в заоблачные дали.
Мои сельчане-земляки
два плана государству дали.
Страда окончена.

В тумане
восходит солнце по утрам.
На полевом притихшем стане
артисты из Кызыла стали
давать концерты реже нам.

Тиши в поле.
Ветерок морозный
вздымает пыль степных дорог.
Не затихает лишь колхозный,
шпеницею пропахший ток.

Встречаем песней утро раннее
мы на току...
Грядет весна.
О ней мы думаем заранее,
уже готовим семена.

7.

Вослед цветастому закату
ползет смолой густая тьма.
Я, опираясь о лопату,
стою у хлебного холма.

Прохладой из-за гор дохнуло.
Один я на току сейчас.
Звезда из облачка мигнула,
как Чодуры веселый глаз.

Запел баян.
Мотив так сладок,
певуч, как в роднике вода.
Порхнули девушки туда,
как стая пестрых куропаток.

И я взволнован...
Я, мечтатель,
направил к музыке шаги.
Но вдруг услышал: — Эй, приятель!
Постой! А ну-ка, помоги!

Я оглянулся. Тень качается...
— Скорее! — голос груб и строг.
Верзила на плечо пытается,
ругаясь, положить мешок.

Вор или нет? Чего он ищет?
Я к незнакомцу подошел.
— Ты не узнал меня, дружище? —
смеется хрипло Очур-оол. —

Пшеничка сладче шоколада
для поросят и кур, друзок.
Им жрать зимой досыта надо...
Ну, помоги поднять мешок!

Я вспомнил: в зной и в непогоду
работали мы эти дни,
и не одну с зерном подводу
он получил на трудодни.

— Так это ж семена отборные!
В них столько вложено труда!
— Твои слова, братишко, вздорные!
Не ной зазря... Иди сюда!

Ты был глупышкой-пионером,
теперь ты умного умней.
Колхоз наш стал миллионером.
Не будет он, поверь, бедней
из-за мешка простой пшеницы...

Обзаведешься ты семьей
и перестанешь, друг, гордиться,
согласен будешь сам со мной.
Не жулик я, не вор какой-то.
А впрочем... Впрочем, все равно...

Я из мешка его спокойно
на кучу высыпал зерно.
Внезапно молнией лиловой
блеснул огонь в глазах моих.
Свалил меня удар свинцовый.
— Ты вор! — я крикнул и затих.

Я, видно, потерял сознанье.
А озверевший Очур-оол
мешок насыпал вновь и с бранью
в деревню по тропе пошел.

У клуба стоя мой услыхали...
Метались крики: — Срам! Позор!
— Мы Очур-оола, друг, поймали!
— Наказан будет строго вор!

Недолго пролежал в больнице,
набрался там я новых сил.
А вор?
Из-за мешка пшеницы
вор за решетку угодил.

8.

Да, юность проплыла без весел
и скрылась в дымчатой дали.
И двадцать восемь бурных весен
я встретил на груди земли.

Борьбой и радостью богаты
мгновенья отщумевших дней.
Горжусь я, что в семье своей
родным зовут меня араты.

Спокойно,
стоя на своем,
приемлю я судьбы удары.
Я строил школы и кошары,
был пахарем и свинарем.

Окончил вуз.
Со мной диплом,
как символ знаний и победы...
Друзья, с дороги не свернем,
осилим трудности и беды!

Границами исполосован,
в дыму пожарищ, шар земной.

Он пахнет теплотой колосьев,
железом, кровью и травой.

Нет, не смогу я возгордиться:
мне труд и радость по плечу.
Хочу с планетой породниться,
дать мир и песни ей хочу!

* * *

— Сынок, милей всего свобода
и мир...
Их надо защищать!
Живи, родимый, для народа! —
меня часто повторяла мать.

...Вот и дым над старою избушкой
из-за сотен рек, морей и нив,
как березку пад лесной опушкой,
видеть мне дано,
пока я жив...

Ондар ОХЕМЧИК
Я—КАМЕНЩИК

Я — каменищик веселый.
Я — молодость сама.
И хвалят новоселы
всегда мои дома.

И стройки в зной, в морозы,
в бураны и туман
ввысь рвутся, как утесы
заоблачных Саян.

Я слышу смех и песни,
душой им вторить рад.
Я лезу в поднебесье —
отважный тур мне брат.

Смотрю на солнце смело
и на виду у гор
на кирпичи умело,
легко кладу раствор.

И облачко порою
клубится возле ног:

все выше над землею
мелькает мастерок.

Мой путь к победам светел.
От радости пою.
Ведь я на стройке встретил
судьбу — любовь свою.

Душа тревог не знает.
Преград мне в жизни нет.
И солнце посыпает
меня пламенный привет.

В КАРА-ДАШЕ

Где, отвечайте мне, живут
рабочие-герои наши,
где так заливисто поют
под вечер песни?
В Кара-Даше!

Где чудо-девушки живут,
что всех прелестнее и краше,
что любят песни, шутки, труд
и край тувинский?
В Кара-Даше!

Где парни-молодцы живут,
что в праздники, как вихри, пляшут,
а в будни на-гора дают
асбест прекрасный?
В Кара-Даше!

Где русский парень удалой
с тувинкой дружбою украшен?
Где мы живем семьей одной?
На комбинате!
В Кара-Даше!

ЕСТЬ ГОРОД

Есть город — оп пестрой голубки.
Там предки, ставя первый дом,
в тени передавали трубки
друг другу с горьким табаком.

Есть город, радугой сверкающий,
у двух братавшихся рек.

Он, словно молодой, шагающий
упрямо в горы, человек.

Есть город, где поют влюбленные,
огни сияют Ильича,
где корпуса встают бетонные,
растут дома из кирпича.

Есть город, как хомус напевный,
в кольце тайгой покрытых гор.
Ведет он с ними задушевный
и бесконечный разговор.

Есть город, где изба сутулится,
храня в душе мой детский крик,
и солнце мечется по улицам,
как жеребенок-озорник.

Его, друзья, забуду разве я?
Отдам свой ум, все буйство сил
ему... Стоит он в центре Азии —
Кызыл.

Владимир СЕРЕН-ООЛ
МОНОЛОГ СОЛНЦА

Земляне, миллионы лет
дарю вам свет, дожди и ветер.
Я и тогда струило свет,
когда вас не было на свете.

Не жаль мне золота лучей:
горя вовсю,—
не вподнакала,
для бедняков и богачей
я одинаково сияло.

Ко мне протягивают руки,
молясь и плача,
в трудный час.
Я облегчаю ваши муки,
жалею, как умею, вас.

Я слышу:
стонете и охаете,
ко мне несется детский плач.
Жалею вашу Землю — крохотную
и беззащитную, как мяч.

Земляне, вы не злы, не глупы.
К чему ж вам гибнуть на войне?
Коль на Земле огонь и трупы,—
невесело и больно мне.

...Жизнь и священна, и нетленна.
Земля в росе, как в серебре.
За мир, за счастье в Октябре
боролся ваш землянин — Ленин.

Сейчас любовь свою безмерную
несу к нему я в Мавзолей,
ведь он открыл дорогу верную
к любви и миру для людей.

Но все же вспыхивают войны,
в дыму над вами небеса.
Так поднимайте голоса
за мир,
счастливый и спокойный!

Боритесь, люди, а не охайте,
чтоб стихли стоны, детский плач.
И берегите Землю — крохотную
живую,
круглую,
как мяч!

ЦВЕТОК

Мой сын и я, и солнце на аллее.
В саду заросшем свищут соловьи.
Вдруг сын сказал:
— Смотри, цветок алеет!
Какой красивый!
Папочка, сорви.

Головкой алой к солнцу порываясь,
он излучал и свет, и торжество.
И сын,
недоуменно улыбаясь,
смотрел то на меня,
то на него.

Когда к цветку я зашагал, в аллее
все так же заливались соловьи,
но крикнул сын,
краснея и бледнея:
— Не надо, папочка!
Пожалуйста, не рви!

ВОСЬМИСТИШИЯ

* * *

Гнездо на тальнике не тронь:
птенцы пищат в нем, подрастая.
Гнездо, как детская ладонь,
у птиц любовь к нему большая.

Уподобляю я Туву
гнезду вольнополюбивой птицы.
Любовь к земле, где я живу,
не знает меры и границы.

* * *

Болел. Все думали: «Конец!»
В бреду метался без сознанья.
Курил и кашлял мой отец,
и сдерживала мать рыдания.

Очнулся: ни тоски, ни боли,
жизнь трепетна и горяча,
и в окнах небо: голубое,
как очи русского врача.

* * *

О, детства светлая пора!
О, радости и мужи!
Немало сделали добра
на свете наши руки.

Стою (дождь льет, как из ведра),
укрыт кедровой хвоей.
Горжусь, что в детстве у двора
был кедр посажен мною.

* * *

О, сколько сверстников в стране —
веселого и мудрого народа!
Не хватит на беседу мне
со всеми с ними и полгода.

Но память строгая и здравая,
твердит, подсчитывая нас:
«Когда бы не война кровавая,
vas больше было б в сотни раз!»

* * *

Оиять в горах цветут багульники
в кустах обугленно-сухих.
Мы в юности,— вот богохульники!—
срывали для красавиц их.

Теперь мы, жизнью умудренные,
не рвем в горах цветов живых.
Другие юноши влюбленные
бросают в окна милым их.

* * *

Мы в детстве все нетерпеливы,
и опыт не дается нам:
то лезем в заросли крапивы,
то рвемся в горы, к облакам...

О, несмысленыш! Мой ребенок!
Но гордо я скажу о нем,
что станет глупый жеребенок
красавцем — мудрым рысаюм!

* * *

Когда гляжу на колокольчики,
я вижу звезд полночный рой,
черемух тень на подоконнике,
где целовались мы с тобой.

Цветы упрямymi корнями
рвут скалы у отрогов гор.
Не оттого ль любовь с годами
горит все ярче, как костер?!

* * *

Цветы различны. Это радует.
Вот желтый, белый, голубой.
Они сияют, словно радуга.
По вкусу выбрай любой.

О, смуглые и белокожие,
не надо плакать и грустить.
Что нам цветы? Вы нам дороже.
Мы не устанем вас любить.

* * *

«Мы лучше всех!— цветы в лугах шептали,—
Мы всех милей, мы всех пестрей!»
Когда б вы девушек-тувинок увидали,
сказали б, что они милей.

«Мы крепче всех!— сказали горы гордо.—
С грозою мы вступали в бой!»
Да, вы крепки, мои родные горы,
но все же крепче вас любовь!

* * *

С утра белесые туманы
полощутся, как паруса,
и упывают в небеса,
упав росою на Саяны.

Сжимают думы мне виски
и рвутся, полные отваги,
как иноходцы-рысаки,
на чистые листы бумаги.

* * *

Есть сила. Не подводит память...
Я рано вышел в трудный путь.
Коль спотыкался я и падал,
то падал я земле на грудь.

Земля меня отправит к звездам
и вновь прижмет к груди своей.
Она дала мне свет и воздух,—
всего себя отдам я ей!

Куулар ЧЕРЛИК-ООЛ

МОЙ КОНЬ

Моя любовь иль нрав веселый
несут тебя?..
Конь, поспешай!
Летит, минуя речки, села,
мой белолобый Кара-Дай.

Сверкает солнце с неба ясного,
леса мелькают в стороне.

Летишиь быстрей степного ястреба,
чтоб угодить, конечно, мне.

Так хорошо с тобой,
так славно!..
Не бью тебя я зло кнутом.
Не оттого ль легко и плавно
идешь ты в гору на подъем?..

Мелькают панини, километры.
Сорвало кенку с головы.
Лети, мой конь, резвею ветра,
не потревожив сна травы!

Ты и хозяин знамениты:
чабанский труд —
почетный труд.
Бьют по камням твои копыта,
как будто песню мне поют.

Вон ярко крыши изб пестреют
за темным лесом, над рекой...
Еще рывок!
Еще быстрей!
Конь знает:
мы спешим домой.

ЖДУ ВАС, ДОКТОР

Вы, как ива в косынечке алой,
снитесь осенью мне.
Прошлым летом
вы часто в аале
появлялись на белом коне.

Милый доктор, на вызов явитесь!..
Кедр пылает костром у ворот...
Отложите дела!
Отзовитесь!
Сердце вас,
как спасителя,
ждет.

Вы в халате,— он снега белее,
вы с косой — будто полночь, черна...

Милый доктор,
я сильно болею,
помощь мне,
словно воздух,
нужна.

Так тоскливы осенние дали:
ни зеленой листвы, ни травы...
Все приехали.
Все прискакали.
Отчего ж не приехали вы?

Кто сказал, что нам доктор не нужен?..
Все в аале здоровы сейчас.
Только мне — верьте слову —
все хуже,
только я
погибаю
без вас.

Оседлайте коня и примчтесь!..
Подведу я вас к кедру-костру
и скажу:
— Доктор, вы не сердитесь,
что, любя вас,
вовек
не умру.



Максим ГЕТТУЕВ,
народный поэт Кабардино-Балкарской АССР
СОЛНЦЕ

О Солнце —
луч нерукотворный,
сверкнувший в первозданной мгле,
звуканье утреннего горна,
источник жизни на Земле!
Оно росой поит дубраву,
растит пшеницу,
входит в дом.
Мы все прекрасное по праву
издревле солнечным зовем.
Мы без него прожить не в силах,
с ним испокон,
во все года,
поэты сравнивали милых
и будут сравнивать всегда.
Оно — тепло и свет Всепленной,
оно вблизи,
оно вокруг —
наш покровитель неприменимый,
волшебник добрый,
верный друг.
Природой данного закона
века нарушить не смогли:
все те же,
как во время оно,
орбиты Солнца и Земли.
Но дух пытливого познанья

за годом год,
за часом час
одолевает расстоянья
и к Солнцу приближает нас.
И хоть на славу мы не падки,
но все ж гордимся мы в душе,
что многие его загадки
людьми разгаданы уже.
А между тем
все так же ново
и сказочно оно встает,
незримой кистью в цвет багровый
окрашивая небосвод.
И дарит нам свое участье,
в дорогу дальнюю маня,
и силы новые,
и счастье
земного трудового дня.
Живой росой поит дубраву,
растит пшеницу,
входит в дом...
Мы все прекрасное по праву
издревле солнечным зовем.

Олаф ГУТМАНИС

С Т И Х И О Т У В Е

(С латышского)

АЛДЫН-КЫС

Я слышал: ты живешь за той горой,
куда хотели многие подняться.
Я верил: ты живешь за той рекой,
к которой, с жаждой, многие стремятся —
ты, Алдын-кыс!

И ты идешь сейчас навстречу мне,
как лиственница в пламени осеннем,
и вот твое мелькает отраженье
в ручье прозрачном, в радужной волне —
ты, Алдын-кыс?

Прости: мой поцелуй приносит смерть
твоим подружкам — белочкам таежным,
но посуди, иначе — как возможно
коснуться мне мечты моей посметь,
о Алдын-кыс!

Мне сердце колет ночь лучами звезд,
мечусь в бреду... Костер мой угасает...
Но кто меня ласкает и спасает,
кто влагу жизни мне к губам поднес —
ты, Алдын-кыс?

Нечаянный пришелец, я уйду
сказать иной земле, в иное время,
как ты прекрасна, как любима всеми,
как холодна, похожа на звезду —
ты, Алдын-кыс...

* * *

Я виел себя в кедр,
в коричневый дождь
его спелых орехов.
Я вплел себя в плоть его
мирною вехой —
кольцом годовым
в глубине его недр.

Кора моя
ранена когтем медвежьим —
густеющей кровью
сочится смола,
сквозь хвою на ране,
болезненно-свежей,
она фиолетово зацвела.

Вот шустрая белка
взлетает к вершине —
дробинки
впиваются в тело мое...
Я их принимаю.
Я знаю: отныне
я — дерево жизни,
я — жизнь для нее.

В лишайниках скрой ее,
в белобородых,
ружье у охотника
дрогнет в руке... —
Я слушаю стрекот
советчиц-кедровок,
пою, проклинаю...
Я вплел себя в кедр.

Юрий ЩЕРБАК
У ПАМЯТНИКА ЩЕТИНКИНУ
В МИНУСИНСКЕ

Из бронзы сапоги, бинокль, папаха.
Но мнится: сделает он шаг —
и побежит, дрожа от страха,
срывая с плеч ноготы, враг.

И залпы загремят по городу,
и степь задышит горячо,
и Минусинск положит голову
ему с улыбкой на плечо.

РИСУНКИ НА КАМНЯХ

Владыки неба и земли,
что стать великими старались,
в небытие в свой час ушли...
Рисунки на камнях остались.

Кто создавал их? Скотовод,
охотник, пахарь или жница?
Мой друг, великий творец-народ.
Хочу народу поклониться!

* * *

Конь носился в степи черной тучей,
из ноздрей его — пламя и дым.
Но табунщик с арканом могучей:
рухнул копь на колени пред ним.

Отвергал я всех женщин упрямо...
Ослепив азиатской красотой,
ты в глаза посмотрела мне прямо...
На колени упал пред тобой.

Все, что прежде считал я обманом,
славословлю сейчас.
Ты прости, что сравню я с арканом
ночь твоих чуть зауженных глаз.

Слово — молодым



Галина ПРИНЦЕВА

* * *

Хор греческой трагедии гремит.
Богов восславит,
низость заклеймит.
И действие, и пенье монолитны.
Актеры чинно попирают плиты,
спокойны маски иль искажены —
все в хороводе стройном сведены.
Грехопаденье пль священнодейство —
но хор царит и дивно движет действие.
Конец настанет, грянет грозный рок —
и хор восстанет, чтобы дать урок.
Как ни крути, оценки несомненны
(молчи, демагогическая медь!).
Согласны с ними зрители и сцена,
и у потомков им не устареть.

А вот с тобой, далекий ближний мой,
мы не поем — кричим наперебой,
давным-давно утратив стройность хора.
Ведь голос — хора всякой опора.
Опора, да. Но наши голоса
попробовать свести на полчаса —
что будет здесь? И где единство мненья?
Священнодейство — иль грехопаденье?
Карать — кого?
И чествовать — кого?
Мы знаем, что не знаем ничего.

Шестнадцатилетней
кызылской школьницеей
впервые принесла
свои стихи на консуль-
тацию старшим това-
рищам Галина Прин-
цева. Уже через год
она была участницей
Читинского семинара-
совещания молодых ли-
тераторов. Сейчас Га-
лина Ивановна — кандидат
филологических
наук, преподаватель
Кызылского государ-
ственного педагогичес-
кого института.

Не знаем даже, что без мощи хора
ничтожен гений первого актера.

Хор греческой трагедии гремит.
Богов — восславит,
низость — заклеймит.

Зоя ДОНГАК

СОНЕТ

Пурга ль от ярости звереет,
цветы ль пестреют на лугу —
тебя забыть я не могу.
Ведь память сердца не стареет.

Считай меня наивной дурочкой,
мол, я тебе не по плечу...
Играть и петь всю жизнь хочу
я для тебя тростинкой-дудочкой.

Тростинка я. А ты — скала.
О, как я радостна была
в те дни, мой первый, несравненный!

Мне не страшны ни гром, ни тишина.
Я счастлива: ведь ты горишь
в душе, как камень драгоценный.

Зоя Донгак, уроженка Дзун-Хемчикского района, работает в редакции газеты «Тыва-ныц аныктыры» и учится заочно в Литературном институте имени Горького в Москве. Молодая журналистка пишет стихи, занимается поэтическим переводом.

Марит ХАЙДЫП

СТАРЫЙ СНЕГ

Состарилась зима. Темнея,
сползает снег с предгорий вяло.
Земля, распарившись, скорее
с себя срывает одеяло.

Зачем печалиться, родная,
что снег, состарившись, растает?
Придет опять зима иная,
и молодым он снова станет.

Марит Хайдып — участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Он окончил Кызылский государственный педагогический институт. Пишет стихи, критические статьи, литературоведческие исследования творчества писателей Тувы.

Галина МУНЗУК

РЕКА МОЯ КАРГЫ

Из черных камушков речного дна
любила в детстве строить сайсанак.
Ласкалась я, как к маминым рукам,
к твоим, Каргы, веселым родникам.

Строй лиственниц волноят ветерки—
как бы узор нарядов дорогих.
А жизнь раздольна над рекой Каргы —
как вольное течение реки!

Любуюсь я тобой, моя Каргы.
Но путь мой долог к берегам другим.
Склонюсь к тебе, как на ветру цветы,
чтобы меня не забывала ты.

Владимир КОЛПАКОВ

ТРОПОЮ ДЕРСУ

М. М. Мунзуку,
народному артисту РСФСР
и Тувинской АССР

1.

Тайга,
дремучая тайга.
Завалы,
спящие снега.
То дождь, то град,
то сипь небес,
то светлый,
то угрюмый лес...

Тропинка вьется
между скал:
там человек
женьшень искал,
там звери
знойною порой
спешат,
идут на водопой.
В костер тропинка
уперлась
и у ключа

В далекой Монгун-
Тайге живет учитель-
ница Галина Мунзук.
Ее стихи, бесхитрост-
ные и трогательные
своей простотой, посвя-
щены родному краю,
волнеппям девичьего
сердца.

Владимир Колпаков—
военпослужащий. Он
вырос в горной Тодже,
в селе Ырбап. Школь-
ником начал писать
стихи. Основная тема
его творчества — род-
ная природа, бережное
отношение к ней. Мно-
гие стихи посвящены
людям труда — лесорубам,
плотовщикам,
охотникам Тоджи.

оборвалась.
Журчит
живительный родник...

Обняв берданку,
спит старик.
Светает.
Видит сны Дерсу...
Он дома:
у себя в лесу.

2.

Цветет в горах
альпийский луг.
И смотрит вдаль
Максим Мунзук.
Затих внезапно
шумный зал —
и даже, кажется,
привстал.
Забилось сердце:
— Узала!

И вот — тропа
нас повела:
вот в горы, к тучам,
подняла...
Веди же,
мудрый Узала!
Через болота,
сквозь снега...
Мы покорим тебя,
тайга!
Под проливным
веди дождем:
раз ты идешь —
и мы пройдем!

3.

Несется быстрая
река.
Плыут по небу
облака,
цепляясь
за вершины гор...
Вдали шумит
сосновый бор.

Осенний ветер
листья рвет:
тайга шумит,
тайга поет.
Забыты
беды и дела...
Тропа пас
в детство привела.

4.

Погас экран,
зажегся свет,—
в глазах тайга,
таежный след.
Под солнцем
ласковый родник,
тепло костра —
и ты, старик.
Пестрит в глазах
все тот же луг...

Спасибо Вам,
Дерсу — Мунзук.

Артык ХОВАЛЫГ **ЛИСТОК**

В орлином танце утром рано
слетают листья с тополей.
Так в путь далекий караваны
уходят с Родины моей.

Шуршанье листьев. Конский топот...
Да, лето красное прошло!
Задумался о чем-то тополь,
ему и зябко, и светло.

Я вижу, как ненастный ветер
листок швыряет над землей...
Хотел ли сам он на рассвете
покинуть тополь молодой?

Куда ему от ветра деться?
Вернуться к тополю нельзя...
Он хочет отдохнуть, согреться...
Листок к груди прижала я!

Артык Ховалыг, окончив институт, в Бажын-Алаакской сельской школе Даун-Хемчикского района не только стала учить детей родному языку и литературе, но и создала школьное литературное объединение. Сейчас Артык учится в Москве, в Центральной комсомольской школе.

...Казался сильным мне и мудрым,
был для меня — почти что бог.
Любовь прошла.
Холодным утром
летиши по ветру, как листок.

Куда тебе, родимый, деться?
Летиши, судьбу свою кляня...
Сумеешь где-нибудь согреться,
как грелся в сердце у меня?

В ночь тополя зазеленеют
листвою свежей по весне...
Быть может, и душа взлеет
листок зеленый снова мне?
* * *

Судьба, прошу, яви мне милость,
чтоб сердце колоколом билось,
чтоб слышали его вдали
все люди матери-Земли.

Судьба, прошу, яви мне милость,
чтоб горе всех друзей вместилось
в душе...
Отдам себя огню —
но горе я похороню!

Судьба, прошу, яви мне милость,
чтоб счастье солнцем засветилось
в душе...
Я правду говорю:
друзьям я счастье раздарю!

Виктор ПРУСАКОВ
СНЕГ В ЭРЗИНЕ

В Эрзин пришла зима
и навела уют:
снег выбелил дома,
белеют шапки юрт.
Куда девалась пыль,
стоявшая столбом?
Умерила свой пыл
под снежным серебром.

Корова, не спеша,
пасется за селом —
сгребает снег, шурша,
копытом, как веслом!

Виктор Прусаков —
артист. Он объехал всю
Сибирь. Около трех
лет работает Виктор
Кириллович в Тувинской
государственной филармонии. Гастроли
по республике, встречи с ее людьми,
красота тувинской природы дали ему материа-
л для новых стихов.

Довольно замычит,
играя языком,—
мир пьет ее сыгыт
со снежным молоком!

Паездник на коне:
не рысь — спокойный шаг.
а сзади на ремне
ныряет в снег шанак*.

Седые валуны
павиели над троной,
как будто табуны
пришли на снегоной.

И караганик-еж
свои шины убрал:
от снега стал щохож
на мраморный коралл.

Девчонка Кара-кыс
щебечет о своем,
а снег несется вниз
серебряным ручьем!

Ах, девушка-краса,
не хмурь ты бровь-дугу:
горят твои глаза,
что угольки в снегу!

Эмма ЦАЛЛАГОВА

ПРОМЕТЕЙ

Было страшным проклятье богов...

Но, по каменным темным пещерам
пронося первобытный огонь,
Прометей не молил о прощенье.

Он смотрел на притихших людей.
слушал шум опадающих листьев.
Прометей! Прометей! Прометей!
Ты за это поплатишься жизнью.
Только все это будет потом,
а пока, позабыв это «будет»,
как над странным и диким цветком,
над огнем наклоняются люди

Шестой год преподаёт русскую литературу в школах Тувы Эмма Цаллагова. Осетинка по национальности, она окончила Кавказский государственный университет, продолжает заочно учиться в Литературном институте имени Горького. В настоящее время Эмма Борисовна — завуч Берт-Дагской средней школы Тес-Хемского района.

* Шанак — сани.

и, телами коснувшись тепла,
на колени бросают одежду...

Под неистовый крик торжества
на земле поселилась надежда.

Боги пили вино. Меж собой
говорили о каре, пьянея...

Но вставали над грозной судьбой
золотые глаза Прометея
по науке любви и добра,
тех простых человеческих истин...

В затухающий пламень костра
положил он закатные листья.

ВЕСНА НА ТОПОЛИНОЙ УЛИЦЕ

Блестящие — как бусины на нитку —
прозрачный май нанизывает дни.
Весенний свет! Прими мою улыбку
и в благодарность плечи обними.

Я слышу: вновь зерно ложится в почву;
держу в своих ладонях каждый миг.
И, как живые, шевелятся почки
на улице с называнием — Теректиг.
И плещутся, покачиваясь, мысли,
как в той воде, палитой в два ведра,
что девушка на синем коромысле
проносит мимо, будто два крыла.
Мне кажется: замшелого колодца
бревенчатые стены прорастут —
недаром солице — о, какое солнце! —
весь день стояло в небе на посту.

И я, покорная счастливейшим приметам,
в которых первый дождь сродни с добром,
по сводкам ровно через три рассвета
с крыльца на землю спрыгну босиком.
Щенок залает, глупый, лоноухий,
и ткнется носом в мокрые ступни...

Пусть гром сильней и дольше носит слухи,
ведь несомненно: добрые они.
Намокшее под первою грозою,

пронизанное радужной волной,
пусть счастливо пребудет все живое:
я с ним пребуду,
а оно — со мной.

* * *

Поэзии могучие истоки,
не дайте мне сжалиться и согреть.
Пред вами я стою, как на уроке,
пытаясь в строки жгучие собрать
и облака, грозящие лавиной
текущих вод, и постить сентябрь,
и скрип мостков, и тонкой паутиной
в кустарнике занутанную прядь.

А яркий бал осенних листвопадов
не уложился в сроки двух недель:
звенит листва, кружася до упаду,
и если проходить через метель,
всю золотую от потоков солнца,
то кажется: в счастливом я плену,
и маленькою озерца оконце
распахнуто в покой и тишину.
Над ним склонился жеребенок низко,
боясь ступить на воду от земли,
а с мягких губ, как маленькие искры,
со звоном капли в озеро текли.



Очерки

Варвара МЕЖОВА

СЕРЕБРЯНЫЕ СЛИТКИ

Об Игнатии Ивановиче Зубареве мне рассказала жительница Кызыла Лидия Григорьевна Зверева. Мы познакомились с ней, когда готовился юбилейный номер «Тувинской правды». Дело в том, что Лидия Григорьевна в начале второй половины двадцатых годов работала в редакции газеты «Красный пахарь» (так тогда называлась газета), и память ее хранит многие имена и события.

Передавая мне записи-воспоминания Зубарева, она сказала:

— В 1924 году он привез из Иркутской области в Кызыл на лошадях много слитков серебра — дар Советского государства молодой народной республике. Дорога была очень трудной. Сейчас Игнатьй Иванович живет в Чадане. Если будете там, найдите его, побеседуйте...

В Чадане, на улице Карла Маркса, стоит небольшой ухоженный домик под тесовой крышей. В палисаднике буйно разрослась черемуха, летом на клумбе пестреют цветы. В домике, как в добре старой сказке, живут старики со старушкой.

В этом домике и состоялось наше знакомство с Игнатием Ивановичем и его супругой Марией Романовной (в 1975 году они отметили золотую свадьбу). Меня проводят в комнату. На столе — горка писем, читаю обратные адреса: «ГДР», «Ленинград», «Кызыл»...

— Это от сыновей,— поясняет Романовна.— Пятеро их у нас...

— Ну, мать, ты уж сразу про сыновей,— добродушно заметил Игнатьй Иванович.— Поди, у товарища дела к нам важнее.

Я сказала о цели прихода. Старики задумался — уж очень неожиданная просьба. Да, в 1968 году он писал кое-какие вос-

поминания и по старому знакомству передал их Лидии Григорьевне, хотел, чтобы молодежь знала, как становилась на ноги пародная республика и как помогала ей даже в самые трудные годы Страна Советов.

Вопреки моему ожиданию, Игнатий Иванович начал свой рассказ не с того, как добирался в 1924 году в Туву, а со своего детства и юности. Не раз голос его дрожал, на глаза навертывались слезы, он их стыдливо смахивал, ненадолго умолкал и снова говорил...

...Жизнь человека, прожившего долгие годы, чем-то схожа с объемной книгой, где только в конце осталось еще немногих чистых страниц. Время от времени он перелистывает эту «книгу» и в памяти встают живые и яркие события. Иногда кажется: то памятное событие было совсем недавно, и ему не за семьдесят, а каких-нибудь 18 или 20 лет, время, когда человек мужает, формируется характер...

У Игнатья Ивановича Зубарева было тяжелое сиротское детство. Ему едва сравнялось восемь лет, когда умерла его мать (отца он вообще не помнит). В том же 1909 году дядя привез его из Вятской в Иркутскую губернию и бросил на станции Слюдянке. Единственное, что дал — котомку. И пошел сирота милостыню собирать, или, как тогда говорили, по миру.

Так мальчик скитался больше года, почевал — где придется. Однажды в заезжей он встретил богатого крестьянина из села Тунка, и тот взял его в пастухи. Игнатий и этому был рад — опостылела бездомная жизнь. До 20 лет прожил он в батраках, а потом устроился в Иркутске на работу в Центросоюз: стал перегонять скот из Монголии в Советский Союз.

Однажды — это было летом 1924 года — его вызвал к себе представитель Центросоюза в селе Тунка Алексей Васильевич Бурдуков:

— Предстоит тебе, Игнатий, дальняя и трудная дорога: пойдешь в Урянхай обоз с машинами. И еще есть оттуда заказ на серебро. Особо береги его, — дорогой металл.

Про Урянхай, или по-новому Танин-Туву, Игнатий Иванович слыхал не раз от монголов, но где точно находится эта страна, не знал. Вместе с Бурдуковым наметили маршрут: от села Тунки (сейчас оно относится к Бурятской АССР) подводы пойдут по берегу Иркута, затем пересекают границу с Монгoliей, идут по берегу озера Хубсугул. К границе Тувы должны были подойти вблизи Самагалтая, затем — Шуурмакский перевал и, наконец, Кызыл.

Снарядили 160 подвод. На каждой телеге — по несколько ящиков с разобранными жнейками и сенокосилками. На две подводы положили ящики со слитками серебра. О них знал только Зубарев. До границы ехали на лошадях, в Монголии наняли погонщиков с быками. Араты охотно согласились по-

мочь. К сожалению, спустя несколько дней они неожиданно забрали быков и разбрелись по юртам (видимо, какой-то недоброжелатель их подбил на это).

— Двадцать дней сидел я возле подвод, боялся их оставить, но надо же было что-то предпринимать,— говорит Игнатий Иванович.— Наконец, решился: поехал к ихнему управителю и стал с ним договариваться (я немногого говорил по-монгольски). Он сначала артачился, потом все же согласился, собрал погонщиков, и мы без особых происшествий добрались до границы Тувы. Здесь нас встретил представитель Кызыла Петров и сказал, что дорога через Самагалтай опасна — напирают банды. Придется пробираться через Тере-Холь.

Петров дал Зубареву охрану из 12 человек. В их числе были Солдатов (отец Лидии Григорьевны Зверевой), Черевозчиков, Ерохов, братья Очаковские и еще несколько человек. Шли в обход основной дороги, правда, Шуурмакского перевала все же не миновали. И вот уже — Кызыл-Арыг, Балгазын, Краснояровка, где жили братья Очаковские.

В Кызыле посланца Страны Советов встретили приветливо: машины были нужны, их ждали. А серебро Игнатий Иванович сдал в Тувинценкооп.

Так закончился маршрут дружбы, продолжавшийся два с половиной месяца.

— Было это 50 с лишним лет назад,— говорит Игнатий Иванович,— но до сих пор дорога эта длиною в многие сотни километров помнится мне до мелочей. И я всегда горжусь, что вот мне, простому рабочему Центросоюза, бывшему батраку, доверили такое ответственное дело. Шестеро сыновей выросли у меня, и всем я внушал это большее чувство ответственности за дело, которое поручает тебе общество. Самый главный судья человека — его совесть. Двадцать лет назад трагически погиб наш сын Константин, военный летчик. Но двух других ребят это не выбило из колен — они тоже выбрали военные специальности: Николай — майор, Алексей учится в военно-инженерной академии.

Интересуюсь, как сложилась дальнейшая жизнь Игната Ивановича Зубарева.

— В Туве Иркутский Центросоюз закупил тысячу голов овец, и я погнал их,— вспоминает Зубарев.— Немного отдохнул в Тунке, принял 400 породистых овцеваток и погнал их в Туву. В одном месте пришлось переправляться через Малый Енисей. Но все обошлось благополучно. Меня за этот перегон в Кызыле премировали и предложили остаться работать в Тувинценкоопе, в Кызыл-Арыге, где была промысловая артель по выделке кожсыря. Я согласился. Мы принимали от населения овчины и выделявали их. В том же 1925 году женился, служил в Красной Армии в Иркутске. В 1929 году вернулся в Туву, стал работать снова в Тувинценкоопе, с 1932 года жи-

вем в Чадане. Всю войну и еще два года служил в войсках НКВД, в Красноярском крае. После войны снова работал в системе потребкооперации, и вот теперь — на пенсии.

У каждого человека есть уголок земли, который ему особенно дорог. Для Игнатья Ивановича — это город Чадан, близкий ему каждой улицей, каждым домом. Здесь выросли его сыновья, здесь теперь растут его внуки.

Идет он по своему Чадану, и каждый встречный, старый и малый, здоровается с ним. Игнатьй Иванович не перестает любоваться родным городом. Перед ним уже не прежний маленький поселок с домишками, вытянувшимися в одну улицу, а современный районный центр, залиятый яркими электрическими огнями, в котором 40 улиц и более десяти тысяч населения. Заполняют улицы звоном голосов три тысячи детей, для них здесь музыкальная и общеобразовательные школы, профтехучилище. Дом культуры, библиотека, кинотеатр, несколько промышленных и бытовых предприятий и много магазинов — все это есть в Чадане.

В городе и районе, насчитывающем шесть совхозов и три колхоза, вырос большой отряд специалистов и квалифицированных рабочих из коренной национальности. Да и республике Чадан дал немало специалистов, ученых, партийных и государственных деятелей, постоянно пополняет ряды рабочего класса. Игнатьй Иванович любит побеседовать с молодежью, рассказать ей о прошлом города. Но еще охотнее он сам слушает ее. Как и всех чаданцев, его радуют успехи родного города. Как-то он слушал выступление председателя горисполкома Валентины Комбуевны Сарыглар. Вдохновенно говорила она о перспективах развития Чадана, и радость и гордость охватывали ветерана: значит, не зря вынес он все лишения, — есть в расцвете Советской Тувы доля труда и его, простого русского человека.

Степан СУХОРОСЛОВ

ДОРОГА НА УШ-БЕЛДИР

Целебные источники Уш-Белдира были известны жителям Тувы очень давно. Строительство же курорта началось лишь в 1933 году. Первопроходцы, русские и тувинцы, добирались туда только зимой, по льду Енисея. Другой дороги не было.

Зимой того памятного года мне и нескольким моим товарищам из Пий-Хема и Каа-Хема довелось преодолевать этот трудный ледовый путь. А пробирались мы на Уш-Белдир, чтобы начать строительство первого лечебного корпуса.

Перед отъездом из Кызыла начальник строительства курорта Григорий Маркович Тулин проверил, все ли необходимое мы с Игнатьем Григорьевичем Осиповым взяли. Мы показали

свой плотницкий инструмент, продукты, фураж для лошадей. Купили еще палатку и железную печь.

В начале января мы вчетвером — Тулин с сыном, Осипов и я — выехали на пяти подводах из Кызыла. По дороге, в одной малоенисейской деревне, взяли еще Василия Солдатенко с подводой и поехали дальше. Григорий Маркович, закаленный сибиряк и вечный странник, закутавшись в козлину доху, безмятежно дремал, а мы, подгоняемые крепким морозом, бежали за подводами.

Поздно вечером приехали в Медведевку (теперь это село называется Кок-Хаак). Тулин сказал, что здесь и в Знаменке (Сарыг-Сене) задержимся на день для вербовки рабочих. Несколько человек согласились ехать с нами на стройку: каждый на своей подводе, харчи тоже свои. Немногословный Григорий Маркович на этот раз позволил себе произнести речь:

— Смотрите, мужики, обдумайте все хорошенько. Мы первые прокладываем эту дорогу, а она не из легких: торосистый лед Енисея, пороги не объедешь — берега скалистые, придется замораживать лед. Жилья на пути нет. Еще раз повторяю: вербуйте только желающих и, само собой понятно, людей крепких, чтобы выдюжили и одолели все трудности.

Тут подошли трое мужиков, стали просить записать их. Но они были сильно навеселе и первым делом поинтересовались заработкаами, стали даже подсчитывать будущие барышни. Это нам не понравилось: курочку не поймали, а оципали, — думают найти калачи на березах! Тулин сказал им, дескать, пусть приезжают позже, в марте, если не раздумают. Два старика — дед Малышев да дед Мамонтов — стали слезно просить Тулина взять и их, отменные-де, охотники, будут всех кормить дичью да рыбой... Тулин их увещевал:

— Поймите, деды, мы едем туда не рыбачить и не охотиться, а строить курорт, и не мне говорить вам, какая будет дорога, вы это сами без меня знаете. Вот проложим путь, тогда и поедете. А пока готовьте снасти.

Рано утром выехали из Медведевки. По дороге двигалось девять подвод. Выглянувшее из тумана солнце не грело — мороз трещал, к тому же по реке тянул резкий хиус. Проехали Даниловку, впереди — Бельбей, там будем к вечеру, заночуем. Я сижу в своих санях и думаю: «Позади нас остаются деревни, люди, а потом ничего этого не будет. Мы прокладываем дорогу в необжитый, пустынный край, мы — первые. А потом, когда построим курорт, — многие люди приедут туда лечиться и, может, помянут нас добрым словом...» От этой гордой мысли мне стало как-то по-особенному тепло. И потом, всю длинную, трудную дорогу сознание, что мы первые, что это надо людям, согревало нас.

Вот и зимовье Бельбей. Через него проходили обозы, следующие на золотые прииски. Здесь и на этот раз почевало

много ямщиков. Они разглядывали наши подводы и удивлялись, что на каждой сидел человек, тогда как обычно один ямщик имел по пять подвод. Мы сказали им, куда и зачем едем, они удивились, что нас не страшит такой путь.

Ночь на зимовье была беспокойной, так как одни уезжали, другие приезжали, но все же отдохнули мы хорошо и еще до рассвета тронулись в путь. До поселка Шуй — 20 километров, по дорога по льду реки была не из лучших, и мы ехали медленно. Правда, мороз смягчился, так как с севера реку защищали горы.

Шли пешком. Я говорю Тулину: «Плохо, что у нас нет проводника, ведь первый раз идем». На что он ответил:

— На Инзелес живет охотник Терентий Микин и братья Рукавицыны, они знают дорогу. На лыжах доходили до Северного Аржана. Другое дело — застанем ли их дома, они же охотники. Тогда действительно нам придется туда.

В Шье остановились у Кузьмы Юркова. Он сказал, что Рукавицыны ушли в тайгу соболевать и когда вернутся — неизвестно.

— А где твой тестя, Терентий Микин? — спросил Тулин.

— Тоже, поди, в тайге, — ответил он. — А до Инзелея 85 километров. Три дня потратите, а его, может, и дома нет.

— Может, ты, Кузьма, пойдешь к нам в проводники?

Юрков замахал руками:

— Что вы, ребята, не могу, дорога мне неизвестная, понасыпаше знаю, что страшные пороги, не пройдешь...

Тулин его перебил:

— Мы это тоже знаем. А все-таки просим тебя, Кузьма, помочь. Ты эти места знаешь...

Жена Юркова сказала:

— Может, поможешь людям, Кузя, жалко их бросать, пропадут ведь.

Сошлись на том, что, возможно, на Инзелес застанем Терентия Микина. Юрков сказал, чтобы мы выезжали пока без него, а он сберется, возьмет овса и зеленки и догонит.

Идем с Тулиным за подводой. Он жалеет, что не застали Рукавицыных, дескать, эти бывалые ребята из любой передряги нас бы вытащили. Но что теперь поделаешь: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не поворачивать же назад оглобли. Я говорю, что у нас такие ребята-орлы, все крепкие сибиряки, не пропадем, проблема.

Приехали на маленькую заимку, всего в несколько домиков, Унжей. Григорий Маркович заворачивает лошадь к одному из домов: у него тут по Малому Енисею в каждой деревне знакомые. Оказывается, он уже здесь бывал, нащупывал дорогу на Уш-Белдир. Вечером в избу набрались люди, интерес-

совались условиями работы на Северном Аркане, но с нами ехать не решились — вот проложат дорогу, тогда они, пожалуй, попытают счастья.

Ночью повалил снег, не перестал он и утром. Дорога была убродная, но ехать надо. Едем по реке. Снег такой густой, что задних подвод не видно. Мужики предлагают поменять местами лошадей — задних пустить вперед, а передние пусть по торной дороге пройдут. Решали через каждые два километра менять, но передние все равно были мокрые, от них валил пар. К нашей радости и мороз стал помягче. Когда выходили, было не меньше сорока градусов, а здесь — не больше десяти. Жаль только лошадей — им-то не легче. Мужики ругают снег, и откуда такой взялся — валит и валит. Все ждали, когда из этой мглы появится поселок Мосты, и он вдруг выплынул. Все обрадовались, разместились по избам, сушили одежду, отдыхали, кормили лошадей. А потом, усталые и изможденные, повалились спать. Тулин смеялся, глядя на нас: «Это еще цветочки, а ягодки впереди».

К утру снег перестал, а вскоре даже солнце показалось. Все обрадовались, но неподолго: лошади и мы сами брели по колено в снегу. Интересно, как будет догонять нас Юрков? Одному-то тяжелее пробиваться. Тулин заметил, что лошади у него сильные, упитанные и дорогу хорошо знают — не сбываются с пути.

К обеду деревья, подступавшие к дороге, зашумели, с них посыпался снег — начинался буран. Успокаивало лишь то, что ветер дул нам в спину, помогая идти. Вот он уже смел со льда снег, и наши сани легко, словно под парусами, покатились вперед. Мы попадали на подводы и помчались. Правда, местами на льду были наметены сугробы, и тогда лопатами расчищали дорогу. Потом ветер утих и ехать стало труднее. Усиливался мороз. Все беспокоились — успеем ли до ночи добраться до Инзеля. Часто меняли лошадей местами, потому что первые быстро выбивались из сил.

Кто-то заметил впереди дымок. Все обрадовались, даже закричали «ура!». Вскоре на пригорке показался домик, из него вышел хозяин — это был Терентий Микин, — и мы сразу воспрянули духом. Я обратил внимание на его длинную русую бороду, самотканый шабур, бродни, самодельную шапку-ушанку. На вид ему было не более сорока лет.

Лошадей распрыгли внизу, под берегом, хозяин пригласил всех в избу, где мы с трудом разместились. За ужином Тулин стал уговаривать Терентия быть нашим проводником. Расписывал ему про будущий курорт и что без его помощи нам хана. Микин внимательно слушал, потом заговорил:

— Мы с Рукавицыным были на Аркане, ходили туда на лыжах, припасы и капканы тащили за собой на санках. А вот

с обозом туда ходить не приходилось, я, однако, на это не решусь.

Тулин сказал:

— Слушай, Терентий, твой зять с нами поедет, завтра будет здесь.

— Что же ты мне сразу-то не сказал! — воскликнул Микин. — Ежели Кузьма пойдет, то и я готов. Кузьма дороги не знает, пропадете вместе с ним. Понято будете рисковать-то. Ишь какие героя нашлись!..

— Спасибо тебе, Терентий, — растрогался Тулин. — Я знал, что ты поможешь. Ребят подобрал хороших — сильных, смелых, с ними не пронадем.

После ужина еще долго разговаривали. Микин сказал, что отсюда до Уш-Белдигра не меньше ста километров, но они покажутся длинными, потому что придется каждый отрезок пути брать с боя. Йилья большие до самого Аржана не будет. Все это нам уже было известно от Тулина. Мы раскинули на полу свои дохи и уснули мертвым сном.

Встали, как всегда, рано. Закупили у хозяина фуражка, продуктов, погрузили все это на его две подводы. Стали поджидать Кузьму, беспокоились.

— Ничего с ним не случится, — заверил нас его тесть, — он лихой мужик, а кони у него самые лучшие во всем верховье.

И действительно, к вечеру вдали показались три подводы, на последней восседал Кузьма Юрков, а передние лошади шли сами, пробивая дорогу. Да, кони и вправду были хороши. Куда нашим до них! Особенно выделялись два гнедых красавца, казалось, на них совсем не отразилась длинная дорога.

Это был наш последний почлег в теплой избе. Теперь мы не увидим дома до тех пор, пока его не построим сами. Придется даже в эти лютые морозы жить в палатке.

Еще при луне тронулись в путь. Заскрипели полозья, зафыркали копы. Идем за подводами, а их теперь уже стало четырнадцать. Переговариваемся. Обходим первый встретившийся на нашем пути высокий торос. Снег застывший, глубокий. Приходится каждый раз работать лопатами. А вот торос еще большие, довольно широкий, и объехать негде. Берем топоры, лопаты — прорубаем, расчищаем. А Микин и Тулин уже ушли далеко вперед — ищут проходы в торосах, но их почти нет. Теперь команды поступают, как правило, от Терентия Микина, и мы слушаемся его беспрекословно. Довольны, что идем с проводником, даже усталости не чувствуем. Но торосы не дают нам покоя. Целые бастионы наворочал батюшка Енисей. Иногда лошади поднимались на них, а потом опускались, словно в бездну. А мы все рубим и рубим эти бастионы, и сильная лошадь Юркова первой протаптывает путь.

Неожиданно въезжаем в ущелье. На льду нет ни торосов, ни снега, едем как по стеклу. Лошади бегут легко и проворно, не чувствуя тяжести поклажи. Но передышка была недолгой. Зеркальная дорога скоро кончилась, начались опять торосы, а за ними и первый порог. Вода, устремляясь вперед, ударяясь о камни, бурлила и грохотала, брызги ее разлетались в разные стороны. Мы стояли перед водопадом в немом изумлении...

На наше счастье, между порогом и скалой оказалось небольшое пространство, и мы его благополучно миновали. За порогом торосов не было, поехали по твердому насту. С обеих сторон к берегу подступали высоченные скалы, и казалось, мыдвигаемся по каменному мешку. Скрип полозьев и наши голоса эхом отзывались в скалах, и нам было радостно от того, что мы разбудили этот дикий край. Потом кто-то сказал:

— Славно отдохнули мужики. А теперь послушайте, что там впереди грохочет.

И тут все услышали шум, а потом и пар показался. Сомнений не было — это снова порог. Подходим ближе, ищем проход возле скалы, но, увы, на этот раз счастье не улыбнулось нам. Енисей с ревом бился о гладкую скалу, как будто предупреждая: здесь ничего делать вам, люди, здесь я хозяин.

У другого берега висела огромная льдина, прикатая к скале, готовая сорваться в любую минуту. Микин и Тулин поступали палками по льдине, потом поднялись на нее, походили по ней, позвали нас. Осторожно подходим. Вода шумит и бушует, они нам что-то кричат, а мы не слышим. Потом все вернулись к подводам и стали обсуждать, что делать дальше. Микин сказал, что глыба крепко примерзла к скале и можно попробовать провести лошадь с санями. Сделали на льдине засечки, чтобы сани не катились в пропасть, и Микин повел первую лошадь. Мы затаили дыханье. С чем можно сравнить это состояние? Я не мог его уподобить даже самому рискованному цирковому номеру, потому что там артист готовится к нему годами, а здесь — просто отчаянный шаг...

Терентий же был поразительно спокоен. Одну за другой провел он по льдине всех наших лошадей, а мы и без них шли над бушующим водопадом со страхом. Я даже не помню, как и прошел это место. Нам не верилось, что мы миновали и этот порог, но факт был налицо: мы долго стояли по другой сторону порога и уже было тронулись в путь, как вдруг льдина с грохотом упала в водопад, где ее начало крошить на мелкие куски. Тулин сказал:

— Нет, мужики, больше нам так рисковать нельзя. Теперь все опасные места будем сначала промораживать, а уж потом по ним переправляться.

Мороз трептал, загонял нас в дохи, но мы уже на него не злились — ведь теперь он наш союзник, он поможет нам

строить ледяные мосты. Двинулся наш обоз дальше, впереди — проводники с шестами. Сколько времени — не знаем, потому что солнце скрыто огромными скалами. Где будем почевать — пока не знаем. Проводники указали нам держаться ближе к левому берегу, так как справа была польшия.

Прошли мы так километра три, не больше, как вдруг впереди снова увидели клубы пара. Терентий крикнул нам, что впереди опасность: валом идет наледь, прохода нигде нет, надо быстрее поворачивать назад. Мы быстро повернули лошадей и направили их по своему же следу. Вскоре подвернули к берегу, к большому выступу скалы и стали на него взбираться. Лошади проваливались в глубокий снег, мы их торопили, нервничали, потому что наледь падвигалась. Полозьям мешали камни. Лошади, да и мы сами, выбивались из последних сил, но все же взобрались. Пришли в себя. Огляделись. Оказывается, это даже не выступ скалы, а просто бугор камней, засыпанных снегом. Нет здесь ни деревца, ни палки, чтобы разжечь костер. Правда, когда начали разгребать снег, то обнаружили немного сырого валежника.

В этом месте мы и решили заночевать. Мимо нас с шумом неслась волна за волной — наледь, но мы уже считали себя в безопасности. Тулин развернул большую палатку, натянули ее на оглобли, поставили железную печку, нарубили валежника, но он, сырой, совсем не хотел гореть, а только шипел. Даже чаю не могли вскипятить. Грызэм мерзлые калачи, достали другие харчишки. А лечь нельзя — снег под нами тает, сырой. Микин предложил всем снять валенки и надеть бродни, потому что дальше может тоже быть наледь — промочим ноги, а это уж самое последнее дело.

Так до утра и не прилегли, дремали, сидя на корточках. А валежник все шипел в печке, и тепла от нее не было. Чай так и не вскипел. Вышли из палатки, смотрим — мороз сковал наледь. Стали снова колоть дровишки на мелкие щепки, чтобы хоть чай вскипятить. Миков и Тулин проверили лед, но он еще трещал — ехать по нему было нельзя. Надо ждать.

Чай мы все же вскиптали, подогрели запасы, крепко по-завтракали. Повеселились. Убрали палатку, скололи лед с полозьев, заменили обертки к оглоблям, потому что те обледенели. Все сложили. Тем временем и лед стал крепче. Запрягли лошадей и поехали с промежутками между подводами, чтобы тяжесть на лед была меньше.

Километров через пять снова подъехали к порогу, но он был менее страшен, не такой бурный. У берега был довольно прочный лед, и мы провели по нему каждый свою лошадь. Дальше был ровный лед. Мы с удовольствием сели в сани и поехали.

Солнце уже клонилось к закату, когда перед нами вырос остров на середине Енисея. Терентий сказал, что он назы-

вается Зародом и что до него от Инзеляя 30 километров. Значит, мы проехали пока лишь третью часть пути.

На острове Зарод мы наметили поставить зимовье, так как здесь есть лес. Выбрали место для ночлега, убрали валуны и валежник, поставили палатку, печку, натаскали сухих дров, на пол настлали еловых веток — почнем по-царски. Возле палатки разложили огромный костер, сварили ужин и потом долго еще сидели у огня. Терентий рассказывал разные притчи об этом Зароде. Оказывается, когда-то на острове жили сектанты, прятались от людей. Летом доступ сюда был вообще невозможен.

Переночевали мы хорошо, утром даже вставать не хотелось, но Григорий Маркович не давал залеживаться. Еще до рассвета тронулись в путь. Впереди, как и накануне, шли Микин и Тулин или Микин с зятем. После обеда за поворотом ущелья оказалась еще не окрепшая наледь. Лошади проваливались. Объезда нет. Ждать, когда замерзнет наледь — много времени пройдет. Ночевать — дров нет. По берегам лишь скалы с небольшими уступами, которые мы тут же облизали, обнаружив в их щелях дикий зимний лук. Попробовали — вкус отменный, давай мы его рвать — пригодится, насобирали целый мешок.

Проводники же тем временем искали, где можно пробраться через наледь. Терентий сказал, придя к подводам:

— Есть там мелкое место, хоть и провалимся, так ничего, по колено воды.

Расстояние было небольшое, метров двести, но пришлось нелегко. Лед неизвестно трещал, лошади боялись на него ступить, били копытами, но ехать-то все равно надо. Несколько раз проваливались и лошади, и мы. Наконец, миновали это проклятое место, но останавливаться ни на минуту нельзя — все были до колен мокрые.

На обед остановились прямо на льду, под высокой скалой. Развели костер, вскипятили чай, сняли сосульки льда с лошадей. Перемерзшие веревочные завертки рвались, пришлось их заменять.

Во второй половине дня на нашем пути снова встал порог, над ним вились густые клубы пара. Проводники вернулись из разведки печальные, так как пути для обоза не было. Лишь на краю порога, у скалы пристыла льдина шириной чуть больше метра. Посмотреть на нее пошли все, но даже приблизиться к ней было страшно — вода, разбиваясь об огромные валуны, ревела, словно раненый зверь. Кто-то из мужиков сказал:

— Одному, без лошади здесь пройти можно, да и то у кого крепкое сердце.

— Не хныкать, ребята, — бодро заговорил Тулин. — Выше голову — и за дело!

Микин, а за ним и Тулин, взяли топоры и начали делать на льдине засечки, чтобы сани не раскатывались. Мы сначала смотрели на них с недоумением, потом тоже взялись за топоры. Когда закончили, Терентий сказал:

— Кузьма, веди свою лошадь, да смотри держись впритирку к скале. Обожди, я привяжу к саням веревку — будем с Марковичем держать.

Лошадь Кузьмы пошла смело, не обращая внимания на шум порога.

Так перевели всех лошадей, кроме моей. Она была молода и не хотела даже приближаться к перешейку. Тогда мы привязали веревку к поводу и стали тянуть лошадь, а сани поддерживали сзади. Осмелев, она пошла сама. И снова оглядываемся на порог. Мужики переговариваются:

— Скажи, и тут проскочили.

— Прямо чудом.

— Неужели еще будут пороги?

— Будут, будут, — «успокоил» их Терентий. Только по первоначалу через наледь переберемся, вон она, голубушка, идет навстречу.

В самом деле, двигаясь по ущелью и переговариваясь, мы и не заметили ее. А тут еще по «трубе» дует ледяной ветер, пробирает до костей. Хочется есть, и мы грызем мерзлые калачи. На наше счастье наледь шла только серединой реки, и мы имели возможность обойти ее стороной. Иногда приходилось пересекать наледь, чтобы ехать по другой стороне. Снова лошади вымокли, сани обледенели, каждый воз стал вдвое тяжелее.

Впереди показался свет — кончалось ущелье. Спешим. Пока не стемнело, надо найти почлег. На левом берегу показался березняк. Стали взбираться туда, но снег был настолько глубокий, что сначала пришлось пробивать в нем дорогу. Потом втащили туда обледеневшие подводы, впряженные в каждую из пар лошадей.

Не прошло и часа, как березовый валежник затрещал. Снова мы выплыли победителями стихии, и от сознания этого на душе стало легко и радостно. Поужинали горячим, и усталости, как не бывало. Опять нас потянуло на «философию». Василий говорит:

— И чего ради мы терпим такие лишения? Что нам не сиделось дома, в тепле, возле своих женок, а?

— Так уж, видно, человек устроен — все ему надо узнать, во все вникнуть, испытать самому, — откликается мудрый Терентий.

Все эти дни я не переставал удивляться и восхищаться его выдержке и бесконечным выдумкам. Постоянно был в боевой готовности и наш комиссар Григорий Маркович Тулин. И думалось: да есть ли на свете такая сила, которую бы не одолел

наш русский человек. Это удивление перед сильными духом я пронес через всю свою долгую жизнь. Не раз встречался лицом к лицу со смертью, видел ее оскол, но всегда верил, что жизнь сильнее. Та, первая ледовая закалка осталась во мне навсегда.

Пока мы готовили утром завтрак, Тулии и Микин вернулись из разведки, и опять невеселье — впереди огромный порог, какого, говорят, мы еще и не видели. Все пошли смотреть. Порог действительно был знатный: грохочет, бьется о скалу, как сумасшедший. Правда, у одного берега он был потише, и здесь решили намораживать мост.

— Ну, мужики, за дело,— крикнул Тулии.— Рубите лес, таскайте его к скале, может, вон те льдины удастся прибить сюда же — все пригодится. Бой нам предстоит хороший.

И работа закипела. Разбились на две бригады — одна рубила и возила лес, другая морозила. Я был во второй. Со мной работали Юрков и Осипов. Лес связывали веревками и подтаскивали к скале. Радовало нас то, что мороз был отменный, не меньше сорока градусов, поэтому быстро смерзались мокрые лесины вперемежку с кустарником.

Пока одна бригада обедала, вторая заледенелый мост поливала водой, и он становился еще крепче. К вечеру переезд был готов. Развели костер, начали сушиться: все были обледенелые. И снова смотрели на дело своих рук, и не верилось, что это сооружение — наше. По привычке я взял блокнот и коротко все записал. Стоянку назвали Березовой, обозначили ее на нашем маршруте.

За ночь рукотворный мост сковало морозом, и мы благополучно через него перебрались. Микин сказал, что теперь все опасные пороги позади, через день-два мы будем на месте. Мороз трещит, и мы уже не идем, а бежим за возами. В тот день нам попала еще одна преграда — у левого берега небольшой перекат, возле него — открытая глубокая яма, а с правой стороны огромная льдина, откололвшаяся от скалы. Выхода не было: осторожно перебрались по этой льдине. Подбадривало лишь одно — близко Аржан. Еще раз переночевали в лесу, в устье речки Кодрат, и пошли, теперь уже напрямик к Уш-Белдиру. Потом увидели впереди невысокую гору.

— Возле нее и Аржан,— сказал Микин. И мы снова грязнули «ура!»

Вот и долгожданный Уш-Белдири. Нам не терпелось поскорее посмотреть источники, но Григорий Маркович распорядился, чтобы сначала распягли лошадей, задали им корму, поставили палатки, а уж потом можно удовлетворить любопытство. Застучали топоры. Весело переговариваясь, мы спешили поставить палатки, так как надвигался вечер. Соорудили костер, затопили в палатках печи, подготовили ужин, а уж возы разбирать не стали — все повалились от усталости. Но все

равно уснули не сразу, стали подсчитывать, сколько же суток мы добирались, оказалось — пятнадцать!

Утром Григорий Маркович поблагодарил нас за то, что мы оправдали доверие, которое нам было оказано, даже назвал наш труд подвигом. Мы не возражали, хотя и не совсем четко представляли, что это такое — подвиг.

Впереди у нас был год плотницких работ. Мы точили топоры.

■ ■ ■

Мария ХАДАХАНЭ

ВОЛШЕБНИК ЦИРКА

Есть на карте Тувы певучее название Хондергей — там осталось детство. В юрте Сата Базыр-оола росло 15 сыновей и дочерей. Младшего из мальчиков звали Оскал-оолом.

Там склонялась над работой стройная, красивая, кудрявая мать — Малзырыкчы ее звали. Шьет ли она, отминает ли кожи, готовит ли еду — все, бывало, напевает тихие песни, а детишки, прижавшись друг к другу под овчинным одеялом, слушают... Хозяйство невелико — по овечке на каждого, да еще верблюды. Мальчишки и девчонки по очереди пасли этот немногочисленный скот, семья кочевала — то в Улан-Булак, то в Борбак-Арыг или Чап-Терек. Весной все рылись в земле в поисках шончалая, и всего на свете вкусней казалась тогда эта хлебенка, сочная и хрустящая. По вечерам, собрав скот в загоне, играли в прятки, в белую палочку, в «хромую старуху». Кто-нибудь постарше пугал малышню «хайыраканом» — медведем. Игры вспоминаются, но больше работать приходилось: отцу помогали весной сеять ячмень, летом поливать, прокапывая канавы и пуская воду на поле, осенью — убирать урожай. Запах жареного проса — любимое воспоминание детства.

Умерла мать. Только и осталось в памяти десятилетнего Оскал-оола, что ее тихие песни да сказка об Оскус-ооле — как раз о сироте! Отец и прежде был немногословен, а тут и вовсе смолк — слова не выпросишь. Сам стал вести хозяйство, любую женскую работу научился делать: верблюдиц и овец доить, чинить одежду, готовить еду. Подросли дочери — подрядился с караваном верблюдов то соль возить из Овюра, а то муку из Чадала. С нехитрыми подарками возвращался, скромно, но все же рассказывал о дорожных встречах. Иногда пускался гостить по юртам, но почевать всегда к детям возвращался: не оставлять же одних. Детей любил сильно, хотя внешне это проявлялось редко. Честности их учил, трудолюбию, чистоплотности. У него ведь еще и приемные дети, кроме родных, были: прославленный ныне доброволец, павший героем на фронте Вели-

кой Отечественной войны Сат Бурзекей вырос в семье Базыра. Забегая вперед, скажу, что в военные годы Базыр Сат вырастил для фронта добрых выносливых коней.

Но это все было потом. А пока — любопытные ребяташки лазят по горам и пещерам, бегают в Чаданское хурэ в дни цама — буддийского религиозного праздника. Какой же там невообразимый грохот и гул от многочисленных тарелок, барабанов и дудок! Разыгрывается мистерия с тапцами, страшными масками, плясками Белого старика. Воздух кажется густым от запаха различных благовоний — среди них ребяташки различают все-таки родной горный можжевельник — артыш. Оскол-оол нравится ритм, движение пестрой толпы. Сам он гибок и ловок: с детства в седле — так каждого настущонка тренирует сама жизнь.

Время на месте не стоит, вечно трава не зеленеет — так говорит пословица. Поздно, подростком уже, но познал Оскол-оол грамоту в ликбезе — сперва в Хондергее, потом в Чаданской школе. Сидел парнишка на длинной лавке верхом и во все глаза смотрел на доску, удивляясь, как из непонятных закорючек пробивается смысл. Летом оставили парня при школе для хозяйственных работ: лошадей насти. Работал на совесть, ну, за то и заслужил неслыханное по тем временам в его родных местах поощрение — в пионерский лагерь поехал!

Потом ему предстоит не раз перелетать через океаны, видеть Индию, Америку, Австралию... Но это — потом, а сейчас представьте себе, что чувствовал шестнадцатилетний сын арата, впервые покидавший родные места. Проехал по степным просторам Тувы. Увидел маленькую столицу. На берегу Енисея на открытой зеленою поляне белели ряды палаток. Пионеры, как муравьи, сбегались к мачте по звуку горна. Впервые здесь он увидел кино.

Но это еще не все чудеса! Из Красноярска в Туву (по случаю 15-летия народной революции) прилетел первый самолет. Ребяташки так и облепили взлетную площадку. А из кабины вышел русый голубоглазый летчик в шлеме и предложил прокатиться. Аж дух захватило от таких слов! А потом — в лагерь приехали артисты цирка! Восторгу ребят не было предела. Следом за представлением здесь же начала работать комиссия: отбирать на учебу в цирковое училище. Кто самый ловкий? Оскол-оол и еще двое ребят.

Цирк из Москвы раскинул свой купол, похожий на огромную юрту, на Тонмас-Суге близ Кызыла. Толпы зрителей осаждали его, и среди них — в который раз! — проворный Оскол-оол. Чего только не делали артисты! Ходили по проволоке, кувыркались, кажется, даже взлетали под самый купол. Сердце замирало: неужто не смогу так?

Счастливо повернулась судьба сироты. Но душа болела: и так целый год не был в родной юрте, не видел милые лица

братьев и сестер. Как они там — Товут, Ланза, Барбаний, Сендер, Карбыш, Ойдан-оол? Что скажет отец? Старый Базыр-оол словно почуял неладное: собрал узелок гостиных и поехал в Чадац, в школу. Там директор сказал ему: сына твоего посыпают на учебу в Москву. Опустились руки, сгорбилась спина, загоревал Сат: дадайым, как далеко, через сколько гор и рек! Три года ждать...

Осенью, по Успинскому тракту, на грузовой машине отправился Оскал-оол в Москву за судьбой. На белках синел снег, величественно подступала тайга к самой дороге, разматывавшейся бесконечной лентой. Впервые увидел юноша железную дорогу, паровоз, сверкающие огни ночных городов. Сколько их будет потом, скромных и крикливых, родных и чужих!.. Ехал вместе со студентами КУТВа. Долгим был путь: запас сухарей и сахара был на исходе, когда подъезжали к Москве.

Ямское поле. Нет, это не поле, а улица, и она надолго стала родной. Здесь находилось училище циркового искусства. Акробатика, гимнастика, жонглирование, эквилибр, особенностями сценического движения — чего только не изучали там! А начинать пришлось, как всюду — с русского языка. Трудно давалась цирковая наука. Упражнения на брусьях и кольцах, а особенно лазание по канату долго стоили тувинскому юноше. Сколько раз срывался, сдирал кожу с ладоней, падал с высоты! Весь в синяках ходил, однокашники шутили над его «тяжелыми костями». Двое земляков Оскал-оола затосковали по дому, «заболели» и уехали, а он упорно учился. Учителями его были теперь В. В. Захарьин, Ю. М. Польди, Т. Н. Палаш, К. И. Филатова.

Два года спали на одной кровати и носили одно пальто на двоих с Ильей Кызыл-оолом, тогда студентом Ветеринарной академии. Потом — общежитие в Кунцеве, комната на 15 человек. Учились вместе с Оскал-оолом Артемьев, Белоусов, братья Французовы, известные впоследствии цирковые артисты. Были и узбеки, и киргизы, и так радовало, что их речь напоминает родную, тувинскую!..

Он много читал. Много ходил по Москве. Бывал в театрах, музеях, но чаще всего — в цирке на Цветном бульваре. Дважды, Первого мая и Седьмого ноября, проходил по Красной площади мимо Мавзолея В. И. Ленина. Новое имя — Владимир — получил в Москве.

Прошли три года. И вот выпускной экзамен: жонглирование с мячом, булавой и кольцами, популярный танец «Чечетка» на проволоке. Учителя могли гордиться своим питомцем.

Первого июля 1939 года он выступает в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, в цирке-шапито. На афише указано: «Только два раза». Работал четко, грамотно. Зрители вежливо хлопали. Громче всех, конечно, «болельщики», студенты из Тувы, сидевшие в первом ряду:

К. Бальчий-оол, С. Сонаам, Н. Конгар, верный друг Илья Кызыл-оол. С ними был и посол ТНР Намчак. Потом друзья помогали упаковывать реквизит — огромный сундук с надписью: «САТ ОСКАЛ-ООЛ». Долго он хранился у сестры артиста. Галины Кумаяк, в шутку называвшей его «сундуком с историей».

В Туву ехал, волнуясь: цирка там нет, предстояло начинать на пустом месте, в составе концертной бригады. Но с первым выступлением ему повезло: Москва снова послала в республику за Саянами цирковую бригаду. Это не было простым совпадением: советские учителя болели за своего первенца-тувинца.

Его дебют в здании летнего кинотеатра в Кызылском парке стал легендой. Мальчишки всюду сопровождали своего кумира, а ему самому-то было девятнадцать! Объехал с выступлениями все западные и южные хощуны. Больше всего волновался в Чадане: как примут родные? Отец сидел с невозмутимым лицом. Не понять, нравится ему или нет. И только потому, как он достал трубку, закурил и мельком глянул сыну в глаза, тот догадался: все хорошо, не посрамил чести отца. От толпы зрителей, между тем, отделился дотошный старичок с редкой козлиной бородкой и потребовал показать ему сапоги канатоходца: наверное, на них есть клей и вообще дело нечисто... После внимательного осмотра педоверчивый старик: только руками развел:

— Прости, сынок. Видно, и вправду ты ловкий парень. Я речку по бревну перехожу, и то голова кружится, а ты — по невидимой проволоке! Охай! — и восхищенно заокал языком.

Так пришла к Оскал-оолу слава «парня с волнистыми ногами», посмотреть на которого приезжали люди с самых дальних стоянок.

Шла война. До цирка ли, казалось бы? Все для фронта! Было даже принято решение распустить маленькую цирковую группу. Но вмешательством секретаря ЦК ТНРП это поспешное решение было отменено. Более того: Оскал-оолу предложили набрать способных ребят и учить их цирковому искусству. При театре-студии открылось пятое отделение — цирковое, у Оскал-оола появились первые ученики: Хензиг-оол, Очур, Хуурак. Примерно в те же годы встретился он с молодой певицей Дунзенмой Оюн, она стала его женой, спутницей во всех странствиях, освоив мастерство цирковой артистки.

Оказывается, искусство цирка очень даже пригодилось в военные годы! С агитбригадами Оскал-оол объездил всю Туву. После выступлений — митинги, сбор подарков для Красной Армии. Молодые артисты без конца совершенствовали, отшлифовывали свою программу.

Тува добровольно вошла в состав Советского Союза. Оскал-

оол впервые выехал с гастролями по городам Сибири. Полгода стажерства и репетиций, новое оснащение номера (проход через кольцо, движущаяся лестница) — и он с успехом выступает в Омске. Потом — города Урала и Поволжья... В 1947 году Оскал-оол становится лауреатом Четвертого творческого конкурса артистов цирка. Первая премия и диплом Комитета по делам искусств СССР. На выступления Владимира Оскал-оола и девяти его учеников с одобрением отклинулись «Правда», «Комсомольская правда».

Он снова стал кочевником — уже как артист. В стране более 50 стационарных цирков и десятки передвижных — шапито. Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Челябинск, Комсомольск, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, столицы союзных республик — вот карта гастролей. Пришло признание: в газетах рецензенты неоднократно отмечали возросшее мастерство цирковой труппы под руководством Владимира Базыр-ооловича Оскал-оола.

Приведем наиболее характерные отзывы прессы:

«Пленяет зрителей тонкость и высокая техника исполнения. В приемах артиста — никакого напряжения, и притом, скромность и простота в манерах» («Правда», 1947 год).

«Предельно точно, четко, в стремительном темпе («Советское искусство»).

«...Здесь все основано на мотивах жизни и быта тувинского народа. В деревянной ступе толкнут зерно, минут и теребят кошму, идет национальная борьба, которая начинается изображением полета орла, показана народная игра с палками «саввааш», использованы предметы домашнего обихода для ряда трюков.» (Рецензент В. Шабанов, Кемерово).

На использование тувинских национальных традиций Оскал-оола умело направил цирковой режиссер Б. А. Шахет. Несколько деталей, взятых из быта тувинцев — курение трубки, обработка кошмы — создали своеобразное красочное звучание номера. Приходилось быть и художником, и реквизитором, делать собственные эскизы костюмов. Помогали тувинские артисты. Так, долго Оскал-оол выступал со ступкой, сделанной Н. Олзей-оолом. С тех самых пор в его номере всегда звучит тувинская музыка в обработке А. Н. Аксенова.

Еще одна выдержка из рецензии:

«Используя большую ступку, как сидение, В. Оскал-оол держит сложный баланс: на лбу на двухметровом шесте вращается большой таз, другой маленький таз вертится на изогнутой палочке, зажатой зубами, на руках и одной ноге крутятся три кольца, а в руках он держит две палочки, на которых вертятся еще два маленьких таза. Затем следует трудный, но блестящий по мастерству, красивый и эффектный финал прекрасного номера.» (Л. Прокопенко, «Советский цирк»).

Таким я впервые и увидела Оскал-оола, когда в 1952 году,

его группа гастролировала в Иркутске, где я в то время училась. Кого бы ни встретила — все говорили: «Приехали твои земляки!»

Через три года Оскал-оол был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, позднее, в связи с 50-летием советского цирка — народного артиста РСФСР.

Между тем подрастили дети — Валентина, Майя, Юрий. В вечных странствиях — пока родителям не дали постоянной квартиры в Москве — сменили до полусотни школ. Двое стали цирковыми артистами. Третья — заместитель министра культуры Тувинской АССР.

Годы расцвета творчества. Первая поездка за рубеж. Оскал-оол вспоминает, как стремилась его группа в дружественные страны Азии, только что освободившиеся от гнета империалистов. Ведь судьбы этих народов сходны с судьбой тувинского народа, веками также влашившего ярмо кабалы! В Дели, Бомбее, Мадрасе, Калькутте за два месяца на представлениях побывало свыше миллиона зрителей, однажды присутствовали даже Джавахарлал Неру и Индира Ганди. Не менее радушны были встречи в Бирме.

Гастроли в Венгрии, ГДР, Монголии, Болгарии, Франции, Австралии, Англии, Голландии, США... В Австралии были четыре с половиной месяца. Обслужили более миллиона зрителей. Наблюдали жизньaborигенов, беспространно тяжелую. Снова думалось: такой могла быть судьба и тувинского народа... Близко подружились с рабочими сцены, униформистами, электриками, билетерами. Давали шефские концерты для детей, больных полиомиэлитом. Встречались со студентами, с членами общества «Австралия — СССР». Посетили Перт, Аделаиду, Мельбурн, Сидней, Брисбен. Конечно, не прошли мимо и экзотики удивительного материка: видели кенгуру и коала, акул и громадных черепах. Но каждый вечер их выступления сопровождались музыкой Дунаевского, мелодией песни Соловьевского «Подмосковные вечера», родными тувинскими напевами — и каждый вечер звучал Гимн Советского Союза.

В начале семидесятых годов — гастроли в США. Советский цирк по праву признан лучшим в мире. В Америку выехали на гастроли 168 его артистов, среди них прославленные мастера О. Попов, В. Филатов, братья Тугановы. В Нью-Йорке и Филадельфии ежедневно собиралось по 10—12 тысяч зрителей. Свободного времени почти не оставалось, но все же артисты успели посетить американский балет на льду, кинотеатры, музеи. Поразило унизительное отношение к неграм, а еще — низкая заработная плата рабочим в цирке, боязнь простых людей заболеть и остаться без работы.

Тувинцев часто спрашивали там: как вы добились такого успеха? В. Б. Оскал-оол принимался тогда рассказывать о Советской Туве, о прошлом и настоящем, обычаях и традициях

народа. Поэтичность этих рассказов трудно было передавать переводчикам: он как будто переносился на Родину, в золотую тувинскую осень, на чабанскую стоянку высоко в горах...

Он видел сотни городов: любовался Версалем и Лувром, гулял в Лондоне по Трафальгар-сквер, был в доме Рембрандта... Прекрасен ночной Париж, чудесен Дели в час заката, неповторима экзотика восточноазиатских городов. Но ничего нет дороже и лучше сибирской тайги, вольных просторов Тувы, где сверкает чистой струей неугомонный Хемчик.

Самая высокая награда для него — когда в конце представления зрители, там, в далеких чужих странах, встают и кричат « bravо » советскому цирку.

Я видела его не только на арене. Красивый, высоколобый, всегда элегантный, он встречался мне в правлении Союза писателей Тувинской АССР, на юбилее первого тувинца — кандидата наук И. Т. Кызыл-оола. Каждый год, чаще осенью, приезжает он в родную Туву. Встречается со школьниками, студентами, самозабвенно пропагандирует цирковое искусство. Кстати, тувинские студенты, обучающиеся в Москве, и сейчас — как в дни молодости Оскал-оола — первые гости его выступлений.

Он любит молодежь. Состав труппы за 37 лет много раз обновлялся. И всегда новых артистов Оскал-оол учит работать без равнодушия и штампа, чтобы каждый номер выглядел как только что рожденная импровизация. Зачем зрителю знать, сколько за этой видимой легкостью постоянного упорного труда и учебы? Но недаром внимательный взгляд темных глаз Владимира Базыр-боловича не только приветлив, — есть в нем что-то свое, потаенное — погруженность в мысли, настойчивость и сосредоточенность...

Любит Владимир Оскал-оол гулять по тихим старым улицам Москвы, в районе своего дома на Дербеневской набережной; читает книги о цирке (и написал свою); изредка ходит в Центральный Дом работников искусств; чаще — в Большой театр (невестка, Надежда Красная — певица). Любит смотреть выступления гимнастов. Ведет дневник-табель работы. Конечно, возится и со внуками — их пятеро: Маадыр, Долаана, Айлан, Саяна, Вова. Кем они будут? Дети — заслуженные артисты Тувинской АССР Майя Лозовик и Юрий Оскал-оол — служат советскому цирку так же преданно, как отец. А жена, Дунзенмаа Сувановна! Не только своим детям — всем молодым тувинским цирковым артистам стала она матерью, всех кормила, одевала, укладывала в многочисленные дороги реквизит. Переймут ли эту преданность, эту любовь к цирку внуки?

Но не только цирк он любит. Собирает книги о Туве, внимательно следит за исторической и этнографической литературой, читает политические мемуары. О Туве расспрашивали его космонавты Андриан Николаев и Валентина Терешкова — и

Оскал-оолу было что ответить. Кавалер ордена Ленина, депутат Верховного Совета Тувинской АССР, он очень дорожит честью артиста, представляющего Советскую Туву. Мечтает, чтобы в тувинской цирковой труппе появились новые жанры — как радовался, когда начали дрессировать сарлыков! С гордостью вспоминает выступление в Кремлевском театре перед делегатами партийного съезда и как бы заново переживает его. И в то же время успех не вскружил ему голову: «Законченного артиста не бывает», — любимая фраза Оскал-оола.

Цирковой артист — кумир мальчишек. Оскал-оол — артист, депутат, коммунист — гордость народа. Но он сам больше всего гордится тем, что каждым выступлением без слов рассказывает о родном народе. Не случайно в книге дружеских шаржей Шмидта и Благова «Вокруг манежа» сказано о Владимире Оскал-ооле кратко и точно:

Самобытным мастерством
покоряет публику.
Видим в номере одном
целую республику!



Рассказы о природе

Олег ГАВРИЛОВ

ЛЕСНОЙ ДНЕВНИК

ВОЛШЕБНАЯ СВИРЕЛЬ

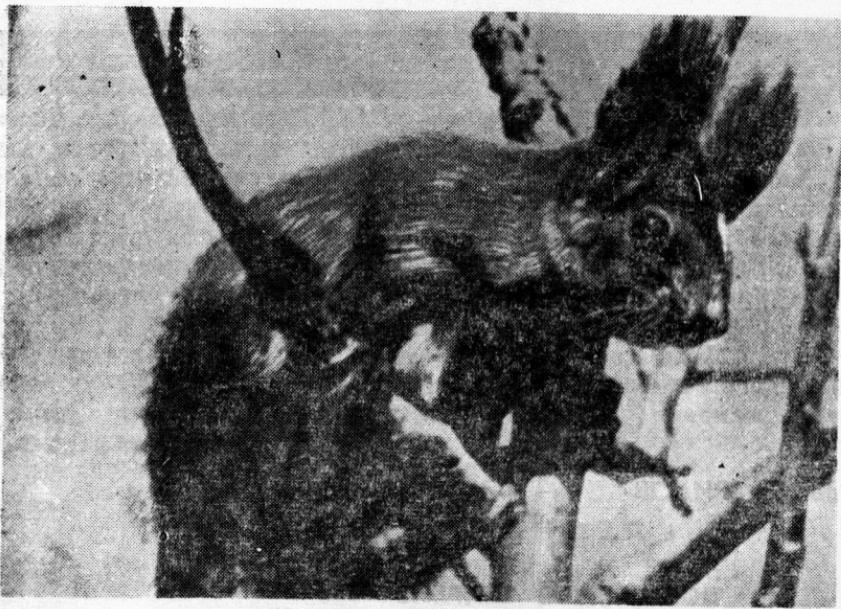
Весна в природе — утро года. День уже сравнялся с ночью и продолжает прибывать. Все раньше занимаются ясные холодные зори, все позднее начинает смеркаться. Солнце припекает сильнее, под его лучами сыреют, плавятся, опаивают снега. В долинах уже вытаивают поля, но высоко в горах снежный саван еще девственno чист. Но и здесь наблюдательный глаз найдет приметы весны. Они — в непрестанном гомоне птиц, в возбужденном поведении зверей, в шорохе снеговых пластов, срывающихся с хвойных лапок.

Весна — время великого кочевья пернатых. С появлением первых проталин мелкими стайками и сотенными табунами неудержимым потоком идут и идут птицы легионы. Курс их — строго на север, на родину, где они впервые увидели свет и вскоромила их щедрая земля.

БЕЛКИ ИГРАЮТ

В заснеженном распадке среди листвениц и елей — настоящая путаница беличьих следов. Они настолько густы, что порой некуда ногу поставить, чтобы не ступить на беличий отпечаток. Доведись такое увидеть охотнику осенью — озолотится. Но я не сильно обольщаю себя — белок в тайге мало. А любознательность не дает покоя, и начиная незаметно для себя подыскивать этому объяснение.

Может, здесь много корма? Ведь доводилось же мне видеть столько беличьих следов в начале зимы на стане заготовителей кедрового ореха. Там действительно была тьма белок, которые кормились в ворохах переработанных шишек. Но здесь



...В центре этой суматошной компании была скромная бусая самочка...

ничто не указывает на обилие корма: голые лиственницы и осины, кустики голубики с облетевшими листьями, ели с редкими ощетинившимися шишками.

Пригретые солнцем, чешуйки на шишках растопырились, под еловыми кронами на чистом снегу, если приглядеться, можно найти небольшие семечки с крыльышками. Ага, это уже ближе к истине! Семена из еловых шишек сейчас осыпаются, разносятся ветром, и белки спускаются с деревьев кормиться на землю. Сколько им нужно побегать в поисках разлетевшихся семян...

Рассуждаешь так, а лыжи сами несут тебя по занависившемуся снегу и приводят в сумрачную еловую чащу. Снег здесь рыхлый, проваливается под лыжами, а по нему крапинки — столько много еловых семян. Но беличьего следа нет ни одного. Это уже становится совсем загадочным, а чем непонятней явление, тем сильнее хочется найти ему объяснение.

Впрочем, разгадку долго искать не пришлось. Ее выдали сами белки. С громким урканьем и цоканьем они гонялись друг за другом в редком лесочке. В центре этой суматошной компании была скромная бусая самочка, вокруг которой водили хоровод пять рыжехвостых кавалеров с кокетливо изогнутыми кисточками на ушах. Они с такой быстротой носились по лиственницам, что чешуйки коры веером отлетали на снег.

Самочеке, похоже, это назойливое внимание начало надо-

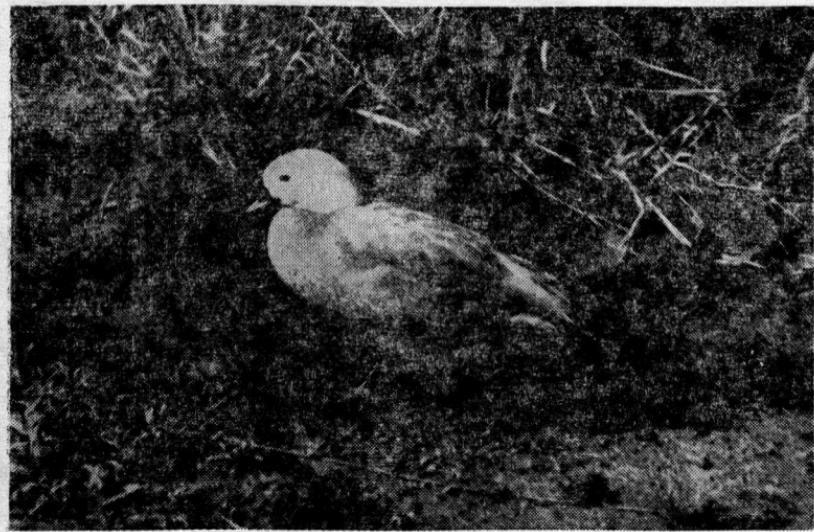
едать, и она делала попытки уйти. Но стоило ей в очередной раз спрыгнуть на снег, как вокруг нее начиналась настоящая карусель...

Белки играют... Это значит, что через месяц с небольшим в укромном дупле появятся пять-шесть голых бельчат. А всего белка успевает за год дать два или даже три помета.

ПЕРЬЯ НА ДОРОГЕ

В разных краях своя птица приносит на крыльях весну. В одних — грач, в других — скворец, большая синица, трясогузка, жаворонок, в Заполярье — пурпурка. В Туве, на мой взгляд, эта честь принадлежит огарю — крупной рыжей утке с аккуратной бежевой головкой и черным кольцом вокруг шеи. Кругом еще лежат снега, еще берут свое по ночам крутые мартовские морозы, а на вытаивших дорогах появляются первые парочки огарей.

...Мы ехали на «газике» по тандинским увалам. Шофер торопился, и грязь косыми струями летела из-под колес. Я увлекся разговором с попутчиком и не глядел на дорогу. Поэтому взлет огарей был для меня неожиданным. Словно языки пламени, метнулись напуганные машиной птицы, контрастно выделяясь на фоне снежных гор. Описав над дорогой полукруг, они снова сели у большой лужи. Чувствовалось, что утки утомлены дальним перелетом и отвыкли от людей за зиму настолько, что стали мало их бояться.



...Чувствовалось, что утки утомлены дальним перелетом и отвыкли от людей за зиму настолько, что стали мало их бояться...

Мы долго наблюдали за птицами, которые в блаженной истоме грелись под солнечными лучами. И лишь когда пытались подъехать к ним поближе, они нехотя перелетели на соседнюю лужу.

...Обратно мы возвращались через несколько часов. Огарей на дороге уже не было. И так как мы упорно искали их, то не могли не заметить рыжих перьев на снегу. Выбитые дробью, они напоминали пятна крови. Какой-то бессердечный человек с ружьем воспользовался доверчивостью птиц...

НОЧНОЙ ПРОЛЕТ

В пойме Ююка среди десятков и сотен мелких озерков, стариц, протоков, заросших рогозом и тростником,— настоящее царство водоплавающей дичи. Но в эту поездку мне явно не везло. Озера были пустынны, и только холодный северный ветер с сухим шорохом трепал побуревшие прошлогодние камыши. По небу быстро бежали рваные тучи, туман серой ватой затягивал окрестные хребты. Мне не пришлось даже доставать из футляра принадлежности для фотоохоты, потому что вездесущих чибисов — и тех не было видно на сырой луговине.

На следующий день стали намечаться признаки перемены погоды. Прекратилось надоедливое гудение ветра, очистился на западе небосклон. Вечером похолодало, и на небосклоне од-



...О появлении шилохвостей заранее можно узнать по серебристым трелям — эти утки никогда не молчат в полете...



...Пролетающих гоголей никогда не спутаешь с любыми другими утками — настолько характерен, чист и мелодичен звон, издаваемый их крыльями...

на за другой стали вспыхивать яркие, словно начищенные звезды. И тут чуткую тишину поймы нарушили слабые скрипящие звуки.

— Кр-р-ри-и, кри-и-и, кри-и-и,— неслось из темной высоты поднебесья. Постепенно крики становились отчетливей и громче, и вот уже можно было различить, что это кричат буроголовые чайки. Невидимые, они мотались над поймой, и крики их нарастали прибоем.

Появление чаек послужило как будто сигналом для других птиц. Вначале послышались стонущие, звучащие, как оборванные струны, голоса лысух. Металлическими каплями эти звуки падали с высоты и множились в долине. Через некоторое время стало казаться, что стонут сами камыши. «Тюнь, тюнь, тю-ю-юнь», — звякали лысухи на озерцах и речушках. Порой было слышно, как с шипением раздавалась вода при посадке все новых табунков этих осторожных птиц.

Затем как будто весь воздух над поймой заполнился шорохом крыльев. Одни за другим шли в темноте табунки неторопливых крякв, стремительных чирков и чернетей, легокрылых шилохвостов. Только тренированное ухо могло разобраться в лавинеочных звуков. Кряквы тонко посвистывали крыльями, звякали селезни, утки торопливыми «ка-ка-ка» переговаривались в полете.

О появлении шилохвостов заранее можно было узнать по серебристым трелям — эти утки никогда не молчат в полете.



...После долгих дней ненастя очистилось небо, и по звездным ориентирам старые вожаки повели пролетные караваны...

Изредка все звуки покрывались свистящим звоном, который издавали стайки гоголей. По этому звуку пролетающих гоголей никогда не спутаешь с любыми другими утками — настолько характерен, чист и мелодичен звон, издаваемый их крыльями.

Я слушал голоса пролетных птиц и хотел понять, почему их валовый пролет начался именно этой ночью. Ответ напрашивался один. После долгих дней ненастя очистилось небо, и по звездным ориентирам старые вожаки повели пролетные караваны.

Ученых существует много гипотез, объясняющих суть такого сложного явления, как ориентирование птиц при перелетах. Мне же хочется верить, что они находят дорогу к дому по звездам.

ПОЛОСАТЫЕ ДРАЧУНЫ

По рассказам бывалых охотников, манок на бурундуков изготавливать несложно. Вот и взял я позеленевшую медную гильзу шестнадцатого калибра, пропилил в двух сантиметрах от среза дульца податливый металл, воткнул в дульце усеченную деревянную втулку — и обманка готова. Осталось только приклеить к полоске фотопленки кусочек пробки, вырезанной по величине отверстия манка, и примотать ниткой это приспособление



...Звук манка действовал на бурундуков, как мелодия флейты сказочного музыканта...

к гильзе. И вот в комнате призываю квохчет бурунучиха: трум-трум-трумм...

В ближайшее воскресенье выбираюсь за город и, забросив за плечи рюкзак, бреду по чернолесью, проваливаясь в рыхлом зернистом снегу. На небольшой вырубке, где оттаяла земля, усаживаюсь на пень и достаю из кармана свой громоздкий манок. Откровенно говоря, приспособление это не внушает доверия, да и лес кругом не подает признаков жизни. Даже вездесущие птицы куда-то пропали, и лишь музыкальное журчание недалекого ручья будит тишину утра.

Слабо веря в свою возможность выманить из лесной чащи скрытного зверька, я тщательно обтираю манок полой куртки и подношу к губам. «Трум-трум-трумм», — глухие звуки плывут в лес и теряются в мелодичном позванивании воды на камнях.

Когда мне ответил бурундук, я так и не понял. Просто показалось сначала, что это бормочет ручей. Но вот звуки стали отчетливей, и светло-серый зверек с черными полосками на спине стелющимися перебежками по валежинам стал быстро приближаться ко мне. Не добежав до моих ног двух метров, он усился на пенек, поднял торчком распущенный хвост. Затем зверек стал прихорашиваться, быстро-быстро водя лапками по мордочке. Окончив туалет, бурундук уставился на меня и застыл в трагической позе отчаяния.

Я еще несколько раз дунул в манок, и бурундучишка ожидался, стал суетливо бегать по пню, царапая кору коготками, ответил серией мелодичных трюкающих звуков. А потом эти звуки, не переставая, начали доноситься со всех сторон. И вот на вырубке появился еще один бурундук, затем второй, третий, четвертый...

Один из пришельцев обладал довольно неуживчивым характером, и поэтому на полянке скоро закипела свара. Зверюшки с писком гонялись друг да другом, порой свиваясь в клубок, пробуя на шкурках соперников остроту резцов. Помятые и покусанные неудачники спасались бегством на ветки, но долго не выдерживали там и опять вступали в драку. В пылу схватки зверьки потеряли всякую осторожность и бегали по моим резиновым сапогам.

Вдоволь насмотревшись на это зрелище, я поднялся и гулко затопал по земле. Бурундуки стрельнули по кустам и застали. Я приделал к прутику петлю из тонкой медной проволочки и начал сдергивать зверьков с веток. Они нисколько не боялись моей неуклюжей снасти, порой сами надергивали петлю на голову, чтобы не мельтешила перед глазами.

Я отобрал самого крупного, неповрежденного в драке бурундука и посадил его в рюкзак, а остальным пленникам предоставил свободу. Отшагав с полкилометра от вырубки, снова достал манок. Несколько призывных звуков — и опять на полянке знакомая картина. Звук манка действовал на бурундуков, как мелодия флейты сказочного музыканта. При желании я сам мог бы увести за собой стаю этих хмельных от любви зверюшек подобно гаммельнскому крысолову.

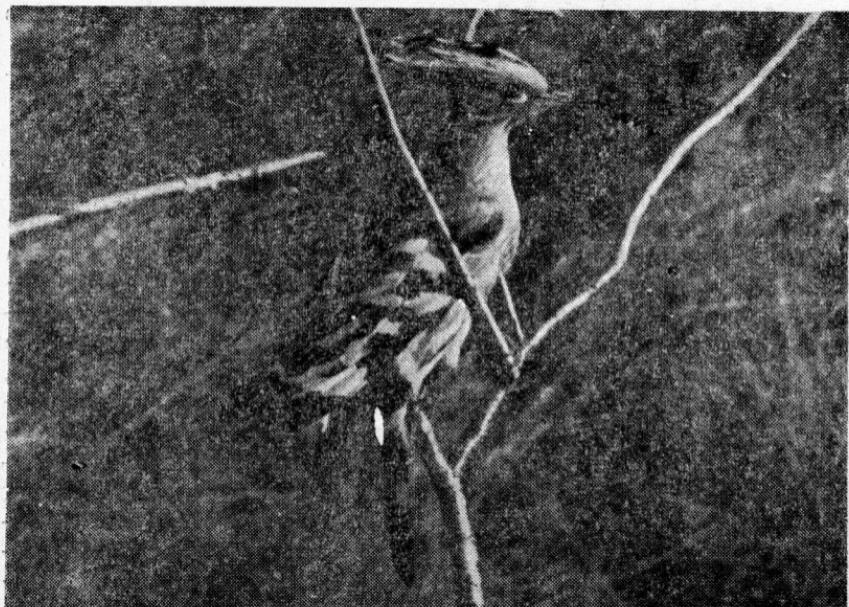
ПТИЧЬИ ПОВАДКИ

Летом охотнику путь в лес и на болото закрыт, а человек с фоторужьем может подаваться, куда душа пожелает. Нужно помнить только одно правило: не тревожить птиц и зверей, занятых выкармливанием потомства, чтобы не принести им вреда. К тому же надо уметь маскироваться, и тогда можно приоткрыть многие тайны животных.

ТУВИНСКИЙ ПОПУГАЙ

Сначала меня привлекли необычные, никогда ранее не слышанные звуки. «Уп-уп-уп-уп, уп-уп-уп», — глухо кричало неизвестное существо где-то неподалеку от кошары. Я пошел на «уханье» и спутнул яркую, пестро окрашенную птицу, которая в полете удивительно напоминала расцветкой и медленными взмахами крыльев гигантскую бабочку.

Отлетев недалеко, удод сел на куст караганиника, опустил к земле свой изогнутый книзу клюв и начал играть хохолком, то



...Отлетев недалеко, удод сел на куст караганника, опустил к земле свой изогнутый книзу клюв и начал играть хохолком, то складывая, то распуская его наподобие веера...

складывая, то распуская его наподобие веера. Размером удод чуть больше скворца, с длинным хвостом, на спине его, как на матросской тельняшке, широкие белые полосы. Эта красивая птица всем своим видом удивительно напоминает попугая.

Я перестал приближаться к удоду, и скоро он успокоился и занялся своими обычными делами. Почистив перья, удод слетел на землю и начал бегать на своих коротких лапках в поисках пищи. Время от времени он шарил длинным клювом в траве, выискивая насекомых. В бинокль я увидел, как удод изловчился и поймал крупного саранчука. И тут я невольно обратил внимание на странное поведение птицы. Помяв клювом добычу, удод резким движением головы подбросил ее вверх, потом поймал на лету и, давясь, проглотил. Я успел заметить, что саранчук при падении был направлен головой точно в глотку.

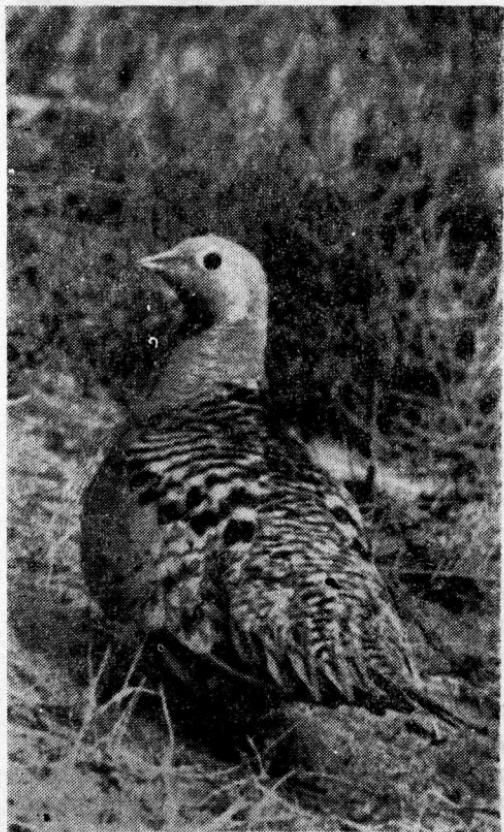
Я долго любовался этой птицей, не слишком часто встречающейся среди наших полей и перелесков. Наведываясь в знакомое место, я выяснил, что удод раньше других перелетных птиц появляется у нас — в конце марта или начале апреля, но гнездо устраивает поздно — в разгар лета. А яйца насиживает чуть ли не быстрее всех других птиц — две с половиной недели. Пара моих знакомых выводила потомство под

крышней кошары, но мне доводилось находить гнезда удодов и в дуплах деревьев, расщелинах скал, под камнями.

Эта птица приносит большую пользу, уничтожая много насекомых, особенно кузнечиков и саранчи.

МОНГОЛЬСКАЯ ГОСТЬЯ

Этих вечных странников слышно издалека. Смотришь на пустынное небо, в котором не видно ни точки, и вдруг до слуха доносятся энергичные трели: «урль-урль-трю-трю». Быстро шаришь по горизонту глазами и замечаешь, как небосвод перечеркивают стремительно летящие птицы, ни на минуту не прекращающие свои мелодичные крики в полете. Каплевидные, с серпообразно изогнутыми крыльями, длинным заостренным хвостом, эти птицы словно созданы для полета. По черному брюшку и характерным крикам в этих птицах нетрудно признать пустынных рябков, которых еще называют саджами.



...По черному брюшку и характерным крикам в этих птицах нетрудно признать пустынных рябков, которых еще называют саджами...

Проезжая утрами мимо единственного на всю степь источника, я постоянно вспугивал стайки рябков. Птицы стремительно скрывались вдали, не позволяя себя получше рассмотреть. Тогда я не вытерпел и в ближайший выходной соорудил у источника укрытие из прошлогодних кустов перекати-поля. У воды я установил сеть, которая падала на землю при рывке шнура.

В складок я забрался еще затемно и, прикрывшись плащ-палаткой, приготовился терпеливо ждать. Но как только начало светать, на меня набросились полчища комаров. Огромные рыжие кровососы зудели над ухом,

лезли под палатку, немилосердно жалили незащищенные места. Воюя с ними, я прозевал прилет саджей. Услышал их только тогда, когда над головой раздался порох крыльев. Стая без облета сыпнула на истоптанную овцами землю, и сразу птицы заспешили к воде. Пили они не как большинство пернатых, а по-голубиному, глотками, не отрываясь от воды. Когда их зобы заметно раздулись, саджи разом сорвались с места. Одна из них головой угодила в ячью сеть и затрепыхалась на земле.

Через минуту она уже была в моих руках. Рассматривая птицу, я сразу же обратил внимание, что у нее, в отличие от других, на ногах не пять, а всего три пальца. Причем они срослись так, что жесткая подошва, опущенная сверху ните-видными перышками, удивительно напоминала сусличью лапку. Я сравнил наброды саджи у источника со следами сусликов, и должен сказать, что нашел в них мало различия. Такое строение лапок рябка можно объяснить тем, что они защищены от ожогов раскаленным песком в пустынях, являющихся местом его обитания. За эти лапки саджу называют также копыткой.

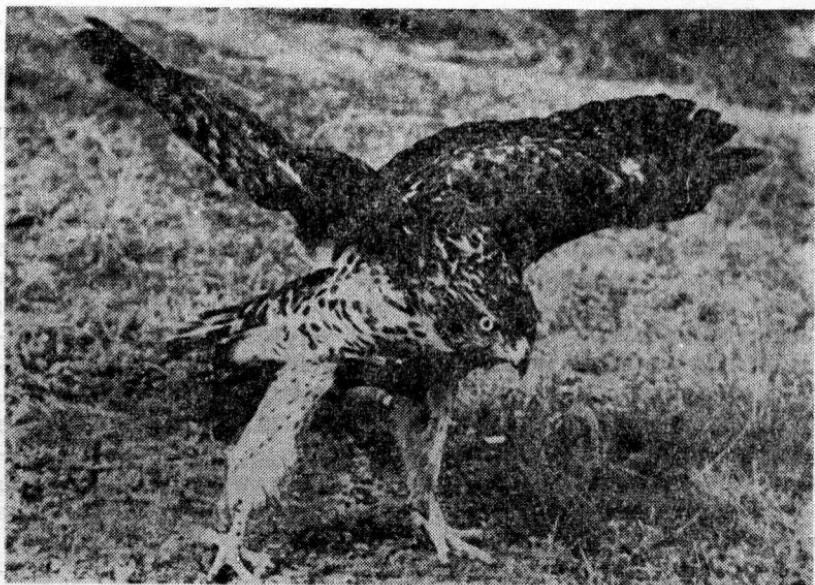
Интересно, что саджа на юге Сибири бывает не всегда, массовые пролеты ее чередуются через два-три года. Тогда степь буквально звенит от криков этих птиц. В годы массового прилета копытки выводят у нас птенцов, а осенью, сбиваясь в огромные стаи, откочевывают в пустыни Монголии. В отдельные годы за лет пустынных рябков отмечают в туманной Англии и холодной Норвегии, у нас на Севере они встречаются порой у Архангельска. Причины таких миграций точно не выяснены, можно только предположить, что они наступают после периода массового размножения.

ХИТРЫЙ ЯСТРЕБ

В том, что ястреб-тетеревятник очень ловкий и смелый хищник, мне приходилось убеждаться неоднократно. Но наглостью крупного самца, перья которого словно поседели от старости, я был буквально поражен.

Впервые я увидел его в пойме Малого Енисея, у неширокого, но длинного, извилистого озерка, которое осталось от весеннего разлива. Мы спускались на машине с крутого взлобка в речную пойму, густо заросшую подлеском из черносмородинника, шиповника и крушинки. Неожиданно, почти от самой дороги, резко хлопая крыльями, поднялся иссиня-черный косяч и, играя белым подбоем подкрылков и подхвостья, косо начал набирать высоту.

В этот момент между тополей мелькнула серая тень. Часто махая короткими и тупыми, словно обрубленными крыльями, ястреб-тетеревятник устремился в погоню. Черныш увеличил скорость, но полет ястреба был намного быстрей, и через не-



...Природа создала этого хищника не зря. Отлавливая больных, ослабевших и просто неосторожных птиц, собирая подранков, ястреб способствует процветанию птичьего рода в качестве безошибочного и действенного фактора естественного отбора...

сколько секунд все кончилось. Тетеревятник зашел сверху и в воздухе оседлал свою жертву. После резкого удара крючковатого клюва черныш камнем повалился в кусты вместе с ястребом, который не выпускал его из когтей.

Меня в этой быстротечной лесной драме поразило то, что косач — птица сильная и осторожная — не сделал видимых попыток к спасению: не изменил направления полета, не нырнул в густые заросли кустов. Скорее всего, он был захвачен врасплох внезапным и дерзким нападением хищника, или воля его была парализована страхом и ожиданием неизбежного конца.

Позднее мне неоднократно приходилось охотиться с фотоаппаратом у этого озерка, которое часто посещали утки, и почти каждый раз я встречал здесь старого тетеревятника. Однако он был настолько осторожен, что его никак не удавалось застать врасплох. Не скажу, что фотоохота была здесь удачной для меня, ястребу же его нападения неизменно приносили успех. Причем, как удалось скоро установить, удачно охотиться пернатому хищнику помогал ни кто иной, а именно я. Хитрая птица давно разобралась в моих действиях и использовала меня в качестве загонщика. И в самом деле, действия ястреба были настолько осмыслинны, что их нельзя было расценить иначе.

Завидев меня издали, ястреб немедленно занимал пост на верхушке засохшего тополя, который стоял у крутого изгиба озерка. Дальше все шло, как на репетиции, по заранее расписанному плану, только роль удачливого охотника мне доставалась редко. Заметив уток, я долго и с великим старанием скрадывал их в надежде приблизиться на верный фотовыстрел. Однако низкая трава на берегу маскировала плохо, и утки быстро замечали мои попытки подкрасться. Они вытягивали шеи, сплывались, а затем срывались всем табуном.

Отряхивая грязь с колен и живота, я провожал глазами утицу стаю. Вот она приближается к повороту, сейчас скроется из виду. В это время горизонт наискосок пересекала серая тень, и облачко перьев плыло по воздуху. Ястреб в засаде не терял времени даром. Расчет хищника был настолько точен, а внезапность нападения из засады так ошеломляла, что он никогда не оставался без добычи.

Вначале я долго пытался подкараулить и застрелить ястреба, но он словно знал смертоносную силу ружья и никогда не допускал к себе на выстрел. Потом я одумался: пожалуй, это был бы не совсем честный поступок с моей стороны к более удачливому сопернику. Кроме того, если вдуматься, природа создала этого ловкого хищника не зря. Отлавливая больных, ослабевших и просто нерасторопных птиц, собирая подранков, ястреб способствует процветанию птичьего рода в качестве безошибочного и действенного фактора естественного отбора.

ГРАБИТЕЛИ

Выбирая на болоте место засады для охоты с фотоаппаратом, я паткнулся на разоренное гнездо кряквы. Все восемь зеленоватых яиц были расколоты и пусты, пуховая подстилка залита запекшимся желтком. Я начал отыскивать следы разорителя птичьих гнезд и вскоре опять обнаружил битую скорлупу. На этот раз нападению подверглось гнездо свиязи. «Почерк» грабителя все тот же: яйца разбиты и выпиты на месте, причем ни одного целого не осталось.

Я расширил зону поиска и после недолгих блужданий вспугнул с кочки болотного луния. Он лениво поднялся с насиженного места и, еле шевеля крыльями, поплыл над камышами. Там, где только что сидел лунь, опять лежала горка битой яичной скорлупы.

Я многое мог быстереть от этого хищника, но только не то, что он на корню уничтожил несколько будущих утиных выводков, ради которых даже охотники весной ограничивают свою спортивную страсть. Поэтому в следующую поездку я захватил ружье и разрешение на отстрел грабителя. Искать луня долго не пришлось. Не успел я спрятаться в зарослях прошлогоднего камыша, как он скользящим полетом прибли-



...После этого случая я стал внимательно приглядываться к поведению болотных луней...

стадо, заехал верхом на коне в кочкарник и вспугнул нескользко уток, сидящих на гнездах. И сейчас же в воздухе появились болотные луни, которые до этого сидели на засохших кустах тальника. Не приходилось сомневаться, что глазастые хищники засекли утиные кладки, оставленные утками в попыхах и не прикрытые пухом. И хотя луни не делали попыток разграбить гнезда в присутствии человека, можно было с большой долей вероятности предположить, что они непременно это сделают, как только болото опустеет.

Дальнейшие наблюдения подтвердили правильность моей догадки. Пастух угнал стадо, и вскоре луни приземлились на болото. В бинокль было видно, как они пешком расхаживают между кочек, вспугивают уток и расправляются с кладками. Конечно, их можно было отогнать, но, пожалуй, это было бы бесполезным занятием — все равно рано или поздно луни разорили бы обнаруженные гнезда.

зился к месту засады. После выстрела луня пронзительно заверещал и свалился в кочки. Я быстро отыскал хищника и удивился его жадности: зоб луны был раздут, из клюва вытекала густая желтоватая жидкость. Не составляло большого труда убедиться, что это было содержимое утиных яиц.

После этого случая я стал внимательно приглядываться к поведению болотных луней, надеясь понять, как им удается обнаруживать утиные гнезда, хорошо замаскированные в кочках и густой траве. И вскоре пришел к выводу, что виновником гибели весенних кладок является... человек.

Вот пастух пригнал стадо коров. Животные утолили жажду из речки и разбрелись по луговине. Пастух, собирая

Точно так же поступают и вороны. Стоит появиться на болоте человеку или крупному животному, как они сразу занимают наблюдательные посты на высоких деревьях. Вот утка слетела с гнезда, и вороны чрезвычайно точно замечают место, откуда поднялась птица. Затем, когда человек удаляется, стая нахальных воровок выживает утку из гнезда, разбивает и выпивает яйца.

Под деревьями, где черпют воропы гнезда, всегда можно найти кучки битой яичной скорлупы и почти целые, но пустые яйца с аккуратными дырочками. Я никак не мог взять в толк, как ухитряется ворона пронести в клюве гладкое и скользкое яйцо, которое в нем не помещается. И вот однажды в бишокль удалось увидеть, как воровка поднялась от гнезда. У ее клюва, словно приклеенное, висело... яйцо. Догадка пришла не сразу, причем я попачалу не поверил в нее — настолько неожиданными и оригинальными оказались воропы повадки. Оказывается, торопясь скрыться от гнезда, ворона прокалывает скорлупу и зажимает яйцо под клювом. Так его, действительно, можно унести на любое расстояние. Впрочем, яйца помельче вороны просто захватывают клювом и уносят к своему гнезду.

А вывод из всех этих наблюдений один: не бродите весной по болотам в тот момент, когда птицы сидят на гнездах. Вы, возможно, и не причините природе вреда своими прямыми действиями, но станете косвенными виновниками гибели птичьих кладок. Ведь пернатые грабители не дремлют!

КРАЕШКОМ ГЛАЗА

Капризна осенняя погода. То ударит крепким ночным морозом, закует землю, что та звенит, то улыбнется ясным погожим деньком, и все вокруг становится тихим, умиротворенным. Иногда сутками над горами идет сухой, колючий снег, одевая вершины белым саваном, а порой вдруг потеплеет, и пойдет мелкий, нудный, словом, настоящий осенний дождь.

Не сидится дома в эту пору, так и тянет взглянуть хоть краешком глаза на природу. Выберешься из четырех стен, и обязательно что-нибудь интересное увидишь.

ВОДНЫЕ ЛЫЖИ

Денек занимался погожий, но утки летали плохо. Местная дичь после морозов откочевала южнее, а северная еще не подошла. Я без выстрела просидел в шалашике из камыша несколько часов на зорьке, когда мороз донимает особенно крепко, а после того, как утро разгулялось и пропала последняя

надежда на успех, решил собрать с широкого плеса резиновые чучела, которые служили для приманки уток. Ломая веслами начавший подтаивать молодой ледок, я плыл по озеру на резиновой лодке, сматывал веревочки с грузилами, которые удерживали чучела, и бросал их под ноги.

Озеро было проточным, и на течении осталась широкая полоса чистой воды. Она была на удивление прозрачной: в глубине можно было различить не только каждый листочек подводных растений, но и отдельные жилочки на них. Холода загнали в зимние убежища всех водных животных — водомерок, гладышей, раков, вертячек, — и поэтому ничто не привлекало внимания на поверхности воды.

Я еще раз внимательно оглядел прибрежные камыши, горизонт, рассчитывая заметить запоздалый табунок уток, но вокруг было пустынно. С чувством сожаления начал выбирать грузик последнего чучела, и тут только заметил, что по воде с большой скоростью скользит какое-то насекомое. Оно двигалось прямолинейно, широко расставив членистые ноги, причем не работало ими. Не было заметно и вибрации крыльев, но, тем не менее, таинственное насекомое быстро перемещалось против течения.

И только когда таинственный незнакомец проплыл неподалеку от лодки, оставляя на воде расходящиеся усики, меня осенила догадка. Да ведь это паук-крестовик! Летел он на своей паутине, переселяясь на новые места, и приводнился на озере. Восемь точек опоры оказались в состоянии удерживать его на поверхностной пленке, и заскользил паук по воде, влекомый паутиной.

Ну чем тебе не водные лыжи!

НОЧНОЙ СТРОИТЕЛЬ

Посередине озера была небольшая кочка, которая лежала на пределе досягаемости ружейного выстрела и служила ориентиром для стрельбы. На другой день кочка увеличилась в размерах. Я думал, что начала спадать вода, но уровень ее, отмеченный кружочками льда на камышинах, оставался прежним.

Заинтересованный, я подплыл к кочке и увидел, что за ночь на нее кто-то натаскал мха и стеблей подводных растений. А на грязи остались трехпалые следы перепончатых лап, похожие на утиные. Вечером, когда стемнело, ночной строитель приплыл знакомиться. Сначала он плавал в отдалении, пересекая озеро под разными углами и оставляя за собой мерцающие дорожки. Я не стрелял, и он осмелел.

Некоторое время на поверхности озера не было водяных дорожек, а затем неподалеку от лодки плеснулась вода. Показалась узкая усатая морда, перед которой расходились волны,

маленькие любопытные глазки. Под водой угадывался длинный хвост, за которым закручивались быстрые бурунчики. Я шевельнулся, и ондатра исчезла с сильным всплеском, ударив хвостом по воде.

За ночь ондатра еще больше надстроила кочку, которая теперь грязно-зеленым бугром высилась над урезом воды. Поблизости в камышах я нашел еще одно жилище ондатр. Это солидное сооружение конусом, высотой в метр, сложенное из стеблей камыша, рогоза, тростника, мха и сцепленное болотной грязью, служило зверькам уже не один год. Рядом на корневой площадке лежала груда корней рогоза. Я очистил один, и оказалась белая сердцевина, заполненная сладковатым крахмалом.

Время идет к зиме!

Молодняк расселяется из родительских хаток, строит себе новые убежища. А расчетливые хозяева готовят запасы на длинное время зимовки.



...Я шевельнулся, и ондатра исчезла с сильным всплеском, ударив хвостом по воде...

ТУРНИР щитомордников

По этой дороге я проезжал довольно часто, но змей здесь видеть не приходилось. А ясным и теплым сентябрьским утром их встретилось сразу несколько штук. Что это были за змеи, определить я не мог, так как, напуганные шумом мотора, они уползали в траву, прежде чем удавалось затормозить и открыть дверцу кабины.

Перед самым подъемом на крутом перевале машина замедлила скорость, и мне издали удалось разглядеть несколько

шестрех лент, свернувшихся в придорожной пыли. Отогнав машину в сторону, я осторожно приблизился к змеям, вооруженный лишь фотоаппаратом и прутком караганника.

При звуках шагов змеи разом подняли головы и зашипели. Острые, раздвоенные на конце язычки высекали из пасти, мгновение трепетали в воздухе и моментально исчезали. Предупреждение было недвусмысленным, и я замер на месте. Через несколько секунд змеи, не слыша раздражающих звуков, постепенно успокоились.

Их было четыре. По ломанным белым кольцам на их туловищах, характерному рисунку на голове и темной заглазничной полосе в них нельзя было не узнать щитомордников — одних из самых опасных наших змей, которые по силе яда уступают лишь кобре и гюрзе. С своеобразная форма головы, напоминающая очертаниями древний геральдический щит, наверное, и дала название этому пресмыкающемуся.

Щитомордники явно наслаждались, грязясь под теплыми лучами солнца, не столь частого при переменчивой осенней погоде. Чтобы сделать кадр крупным планом, я попытался прутком сдвинуть змей поближе друг к другу. Потревоженные щитомордники пришли в возбуждение и долго не могли успокоиться. Самый крупный из них, достигающий семидесяти сантиметров в длину, которому не понравилось столь бесцеремонное вмешательство в его отдых, предпочел скрыться в траве. Два других остались лежать рядом, а еще один, хотя и не спешил удрать, упорно избегал компании и отползал в сторону.

Помощника не было, и поэтому мне пришлось довольствоваться кадрами лишь с двумя щитомордниками. Пока я несколько раз снял их с разных точек, наклоняясь к ним почти вплотную, возился с перезарядкой пленки, сменой светофильтров, скучое осеннее солнце начало пригревать совсем по-летнему. Змеи зашевелились оживленнее, чаще начали поднимать головы, шипеть. Затем, словно по какому-то сигналу, они переплелись хвостами, приподняв выпрямленные напряженные туловища вертикально над землей и наклонив друг к другу головы под прямым углом. В такой стойке они пробыли некоторое время, а потом начали раскачиваться, делая рывки в сторону противника.

Завороженный этим необычным танцем змей, я наблюдал за ними до тех пор, пока их движения из плавных, осторожных не превратились в резкие, порывистые. Впечатление было такое, что ветер свивает и треплет две яркие шелковые ленты.

Вспомнив о фотоаппарате, я начал ловить щитомордников в видоискатель, наклоняясь к ним все ближе и ближе, чтобы они полностью закрыли кадр. И тут прут, который я выставил перед собой в качестве защиты, дернулся в руке, будто от удара хлыста. И хотя я не выпускал змей из окошечка видо-

искателя, выпада этого не заметил — настолько он был молниеносным.

Ударившись о прут, который спас меня от знакомства с ядовитыми зубами пестрого красавца, щитомордник некоторое время шипел от боли, перегнувшись пополам, а затем с неимоверной быстротой исчез в траве вместе со своим соперником.

Известно, что змеи, которые обычно охотятся по почам, бывают активны и днем, когда после осенних и весенних заморозков пригревает солнце. И все же эта встреча приоткрыла кое-что новое. Выходит, брачные турниры щитомордники устраивают не только весной, как утверждают натуралисты, но и осенью.



...Помощника не было, и поэтому мне пришлось довольствоваться кадрами лишь с двумя щитомордниками...



Критика

Валерий ЛОКОНОВ

ВОЗМУЖАНИЕ ТАЛАНТА

Заметки о творчестве К.-Э. Кудажи

В монографии «Тувинская проза» критик М. Хадаханэ, говоря, в частности, о повести К.-Э. Кудажи «Тихий уголок», замечает, что произведение молодого писателя «радует отлично разработанным сюжетом, ёрными психологическими наблюдениями, остротой нравственных коллизий, романтикой любовных отношений».

Со дня выхода монографии прошло более семи лет, и за это время читатель смог убедиться в справедливости утверждения критика. К.-Э. Кудажи, вступивший в пору творческой зрелости, работает много и плодотворно не только как прозаик, но и как поэт и драматург. В плахах писателя многотомная эпопея «Улуг-Хем неугомонный», первые две книги которой уже пришли к нам.

Лучшие произведения К.-Э. Кудажи знакомы сегодня всесоюзному читателю: в издательстве «Советская Россия» вышли две его повести — «Возвращение» и «Анай-кыс».

Цель этой статьи — весьма скромная: показать характерные особенности творчества писателя на анализе его повестей «Возвращение» и «Анай-кыс» и Черного тома романа «Улуг-Хем неугомонный». (К сожалению, Красный том пока еще на русском языке не вышел).

Чем, прежде всего, интересна творческая манера прозаика К.-Э. Кудажи? Не претендую на роль первооткрывателя, я бы отметил увлекательность произведений писателя, один из компонентов того, что М. Хадаханэ называет «отлично разработанным сюжетом». Это не легкая развлекательность как разминка перед серьезным чтением, а занимательность как общая тональность всех прозаических произведений К.-Э. Кудажи.

Вспомним, как начинается «Возвращение». В пустынной, по-осеннему холодной степи пожилая аратка находит кем-то брошенного младен-

ца, которому будет суждено стать главным героем повести. Начало, прямо скажем, интригующее. Вообще для «Возвращения» характерна напряженно-таинственная атмосфера, связанная прежде всего с образами Шырбан-Кока и Мыйыс-Кулака.

События повести, происходившие в сельском хозяйстве Тувы в начале 50-х годов, стали для нас уже историей. Нет нужды говорить о тех грандиозных изменениях, что произошли в республике за добрую четверть века. Но такова сила большой литературы, что происходившее несколько лет назад продолжает волновать нас и сегодня.

И сегодня мы пристально следим за судьбой демобилизованного солдата Эреса Херела. Нелегко складывается эта судьба. Сначала смерть приемных родителей. Потом неожиданная измена любимой девушки, вышедшей замуж за Эресова друга Лапчара. Парень «сломался». Он хочет уехать куда-нибудь далеко, в «тихий уголок», чтобы проверить себя, забыться в работе, пресдолеть потерянность и одиночество. Не сумев до конца прояснить взаимоотношения Эреса и Аны-кыс,— неожиданное замужество последней выглядит, по крайней мере, странным,— автор в то же время верно угадывает психологическое состояние героя. Юношеские обиды горьки и драматичны. И порой кажется, что жизнь кончена и пора забиваться в тот самый «тихий уголок», где якобы скромно и мирно потекут твои горестные дни.

Но «тихий уголок» Агылыг оказался для Эреса далеко не тихим. И его мечтам — получить койку в общежитии, немудрящую мебель, постель, купить чайник и несколько стаканов — не суждено было сбыться. Прежде всего потому, что сама жизнь выводит его из того оцепенения, в которое он добровольно погрузился. Да и сам он далеко не тот, каким хотел казаться в глазах окружающих. И какой там «тихий уголок», когда всюду, изо всех щелей лезло на свет новое, неизведанное.

Эрес Херел — один из самых симпатичных героев К.-Э. Кудажи. Кажется, нет таких положительных человеческих качеств, которыми автор не наделил бы его. Он предельно искренен и честен в отношениях со своими друзьями Лапчаром и Аны-кыс, а ситуация, согласитесь, далеко не из легких и не каждый может выйти из нее с честью. Он благороден в любви: терпеливо ждет взаимности любимой Долааны. Правда, в первом варианте повести, называвшейся, кстати, «Тихий уголок», у Эреса была довольно откровенная связь с Бичининей. В новой редакции повести сделаны определенные сокращения, на мой взгляд, не всегда обязательные. Ибо сцена свидания Эреса и Бичининей никоим образом не принижала героя, наоборот, делала его характер жизненнее. Но это вопрос спорный, и, вероятно, у автора были причины вносить соответствующие купюры.

Впрочем, продолжим разговор о положительных качествах Эреса. Он принципиален с начальством, смел и бесстрашен в врагами (эпизоды с Шырбан-Коком, Мыйыс-Кулаком, Угаанзой).

Да, он душа коллектива, где бы ему ни приходилось работать, будь то колхоз или машинно-тракторная станция, зерноток или комплексная бригада. Такой герой был нужен, как, впрочем, всегда нужны вожаки, идущие чуть-чуть впереди коллектива.

Но вот в чем опасность в воплощении положительного характера. Боясь какой-либо негативной черточкой скомпрометировать героя, в данном случае, Эреса, К.-Э. Кудажи в чем-то лишает его жизненной достоверности. Много хорошо — тоже нехорошо. И оттого герой «Возвращения» при всей убедительности авторской характеристики кажется в какой-то мере сошедшим с рекламного плаката.

Опасность еще и в том, что односторонность в подходе к изображению главного героя неизменно ведет к стереотипу. Вот почему порой герой «Возвращения» и «Анай-кыс» удивительно напоминают друг друга.

Интересен характер председателя колхоза «Чодураа» Михаила Мижитовича Кончука. Из этой посылки, что чем-то должен дарга отличаться от рядовых колхозников, рождается следствие его необычности. У председателя «надменный, с хитрецой взгляд», «каменно-значительное лицо» при разговорах по телефону и одновременно простота в обращении с людьми. Председатель немного консервативен — по крайней мере ему не очень по душе «горячие» речи Эреса о колхозных беспорядках. Кончук чуточку демагогичен — любит говорить об ответственности каждого за порученное дело. Жизненность образа колхозного воожака несомненна.

Но, пожалуй, наиболее значительное достижение К.-Э. Кудажи в повести «Возвращение» — образ тетушки Тос-Танма. Вот уж воистину национальный характер, выписанный автором сочно, колоритно, с искренней любовью. Чудаковатая тетушка, искренняя и прямая, неутомимая работница, она не может смириться с тем, что добрая половина мужчин в колхозе просто-напросто лодырничает. Замечательна одна из главных массовых сцен повести — импровизированное собрание на току. (Заметим, кстати, что массовые сцены — одна из сильнейших сторон творческой манеры К.-Э. Кудажи: они всегда у писателя четки, выверены, сюжетно оправданы, и что самое главное — не скучны). Вот уж где развернулась тетушка Тос-Танма! Не боясь грозных взглядов председателя, она с простодушной прямотой говорит ему:

— Вот этим работничкам,— она обвела рукой сидящих мужчин,— не хочется ехать на далекий остров, где комары да работа тяжелая. Они привыкли выезжать на женщинах, вот и увишаются около вас, угодничивают, а вам это нравится. Им бы, вашим таргаларам, тьма-тьмущая, только бы чай распивать да табак свой вонючий курить!

Право, чтобы отважиться на такое, нужно быть тетушкой Тос-Танмой.

«Возвращение» — несомненная удача К.-Э. Кудажи. Писателю удалось убедительно показать процесс обновления тувинского села, за судьбами разных героев, порой диаметрально противоположных друг другу, увидеть торжество рождающегося колLECTивизма и крах несбыточных иллюзий (Мыйыс-Кулак). Нам интересно следить за рождением и развитием новых человеческих взаимоотношений, новых человеческих характеров (Угаанза).

На мой взгляд, новое название повести менее удачно. Ведь первое ее название — «Тихий уголок» — таило скрытую авторскую ironию, не теряя в то же время оттенка какой-то милой печали.

Художественное письмо К.-Э. Кудажи выдает в нем поэта. Впрочем, поэтичность, какая-то одухотворенность повествования, приподнятость — непременные компоненты творческой манеры К.-Э. Кудажи-прозаика.

«Анай-кыс» (бывший роман «Высокие облака») можно назвать второй книгой своеобразной дилогии «У подножия Саян». Эта повесть, по сути дела, продолжает сюжетные коллизии «Возвращения». Не беда, что действие происходит в другом колхозе, что на первый план выступают Анай-кыс и Лапчар, персонажи, бывшие в первой повести второстепенными. Главное — «старой» осталась тема: обновление тувинского села, продолжение процесса развития новых человеческих отношений.

Многопроблемность — вот что прежде всего останавливает внимание читателя в повести «Анай-кыс». Какие только вопросы не волнуют автора!

Трудно давалось коренному населению приобщение к новым отраслям хозяйства. Вот почему в передовом улуг-хемском колхозе «Шивилиг», «экономически крепком колхозе-ветеране, созданном еще до присоединения Тувинской республики к Союзу», «люди были расставлены так, чтобы каждый смог проявить свой опыт, знания. В животноводстве, например, преимущественно работали тувинцы. С самого рождения они привыкли ухаживать за скотом, привыкли к перекочевкам, знали «секреты» выращивания молодняка... В полеводстве, овощеводстве в основном были заняты русские». А дальше автор замечает: «Правда, это распределение в последнее время все чаще мешалось. Тувинцы начались выращивать овощи, охотно шли в полеводческие бригады».

Столь же трудно было расставаться с привычными обычаями, порой наносившими непоправимый вред хозяйству. Это тот случай, когда похорона близких превращаются в многодневные попойки.

Писателя одинаково волнуют судьбы героев, и перегибы в человеческих взаимоотношениях, и перемены, что ежедневно происходят в жизни тувинского села, в психологии людей.

Сколько нескрываемого сарказма в авторском отношении к комсомольскому вожаку Шериг-оолу! Юный чинуша никак не может взять в толк слова парторга Илюшкина, что «разговаривать с людьми надо, а не допрашивать». Никак не может понять (или не хочет?) Шериг-оол, что та основа, на которой строятся его отношения к людям — высокомерие, назидательность, бес tactность, — основа некрепкая. Ибо неуважительное отношение к человеку еще никогда не приносило добрых плодов. В обрисовке характера комсомольского тарги К.-Э. Кудажи показал себя как неплохой сатирик.

Наверное, можно говорить об определенной похожести повестей «Возвращение» и «Анай-кыс». Можно уже хотя бы потому, что некоторые эпизоды первой почти текстуально повторяются во второй. Я имею в виду историю странных взаимоотношений Эреса, Лапчара и Анай-кыс, которые и во второй повести, хотя и выяснены до конца, оставляют чувство какого-то недоумения. Но не будем столь строги к автору — жизнь подбрасывает нам иногда и не такие штуки. Гораздо важнее другое.

Это «другое» — в одинаковом подходе писателя к обрисовке харак-

теров некоторых героев. Ведь что бы мы ни говорили, председателя колхоза «Чодураа» Кончука («Возвращение») и его коллегу председателя колхоза «Шивилиг» Докур-оола («Анай-кыс») трудно отличить друг от друга. Нет, я отнюдь не собираюсь утверждать их полную идентичность. Просто, на мой взгляд, К.-Э. Кудажи не удалось в полной мере отойти от определенного стереотипа в изображении колхозных руководителей.

Вот ведь и Лапчар во многом, как уже говорилось, напоминает Эреса. И здесь, казалось, была наша боязнь встретиться со стереотипом молодого положительного героя. Но один лишь эпизод,— сомнение Лапчара в своем отцовстве, подогретое сплетнями,— раскрыл нам совершенно нового человека, неожиданного и в то же время такого естественного и удивительно жизненного.

Как бы продолжением романтического образа Долааны («Возвращение») явилась нам Анай-кыс. Казалось, жизнь открылась ей во всей своей привлекательности: она учится в столичном техникуме, у нее много друзей и подруг. И вдруг все рушится. Мало того, что отец забирает ее домой ухаживать за скотом (вот она, живучесть старых жизненных представлений!), девушку еще собираются выдать замуж за нелюбимого человека. Но не такова Анай-кыс: она сама находит свое счастье.

В свое время критики отмечали недостатки повести «Анай-кыс». Мне не хотелось бы повторяться, многие из претензий кажутся мне справедливыми. С другими согласиться я не могу. Автора упрекали в странности затеянного секретарем комитета комсомола Шериг-оолом персонального дела Анай-кыс и Лапчара. На мой взгляд, автор здесь прежде всего преследовал цель показать несостоятельность таргаларских притязаний молодого демагога. Сам характер Шериг-оола предлагал именно такой ход событий.

Перевод Лапчара из строителей в животноводы иные критики нашли авторским своеобразием. Опять же К.-Э. Кудажи поступает так, исходя из событий повести и характера председателя колхоза. И, право, автор тут совсем не виноват— сюжетно перевод этот оправдан.

Дилогия «У подножия Саян» в удачных переводах А. Буртынского и Т. Петелиной, по-моему, довольно успешно представила современную тувинскую литературу всемирному читателю.

О широте замысла К.-Э. Кудажи, решившего в многотомной эпопее «Улуг-Хем неугомонный» обратиться к многотрудной судьбе своего народа, критики уже писали. В частности, Ч. Серен-оол в статье «Плод зревшей мысли» («Улуг-Хем», № 15, 1975): «...серъезно потрудился автор над историческими архивными документами: цифровыми и фактическими данными, письмами, донесениями, сообщениями феодальных чиновников и духовных лиц».

Собственно, добросовестное изучение архивов, непременная необходимость при написании исторического произведения, еще не гарантия обязательного успеха в работе. Ведь автор пишет вещь художественную, и от его умения и способностей умно соединить реальность

и вымысел зависит положительное решение извечного вопроса: быть или не быть.

К.-Э. Кудажи обратился к жизни своего народа в эпоху едва ли для него не самую печальную. Именно в это время, а первый, Черный, том романа начинается 1905 годом и кончается 1914, «в Туве усиливается произвол и вмешательство в ее внутренние дела китайской администрации, усиливается грабеж народных масс феодалами, ростовщиками и торговцами¹. Но это была одновременно и эпоха пробуждения, когда под влиянием первой русской революции «сотни миллионов забитого, одичавшего в средневековом застое, населения проснулись к новой жизни и к борьбе за азбучные права человека, за демократию» (В. И. Ленин).

Таков исторический фон, на котором происходят события Черного тома эпопеи К.-Э. Кудажи «Улуг-Хем неугомонный».

В центре романа — судьба семьи арата Сульдема из рода барыкских кыргысов. «Жизнь жестока и беспощадна. Не каждый может противостоять ее суровым законам. Жизнь отбирает только крепких здоровьем и закаленных трудностями людей. И, словно в отместку ей, люди, изо всех сил борясь за свое существование, не становятся на колени перед неумолимым бегом времени, и не скоро покрываются сединой их головы». Эти слова автора романа можно в первую очередь отнести к Сульдему, самому, пожалуй, удачному образу «Улуг-Хема неугомонного».

Жизнь Сульдема и его многочисленной семьи действительно жестока и беспощадна. Вот ведь даже в тайге, где птицы и зверя, казалось, хватает на всех, бедный арат вынужден уступить убитого им козла правителью Мангыру чайзену. Потому что последний действует по праугу сильного, которому дозволено все. Сульдему же остается воспользоваться преимуществом бесправного — украсть для голодных ребятишек овцу из отары того же Мангыра чайзена. Вопреки голосу врожденной бедняцкой совести...

Вот так уже на первых страницах Черного тома сталкиваются честность нищего арата и алчность лютого правителя, два нравственных потенциала, которым суждено соприкасаться на протяжении всего первого тома.

Автор поведет Сульдема дорогой страшных и жестоких испытаний, на которой встретятся ему пытки и унижения, страх за судьбу своих близких и смиренное примирение с жизнью, добroе участие одних и беззастенчивая подлость других. И как награда за годы поруганного существования будет Сульдему встреча с русским семейством Черемисиных, когда он после тяжелого ранения в Кобдинском бою поселяется на годы в их семье, где приходит к нему сознание человеческого достоинства.

И хотя страницы романа, рассказывающие о пребывании Сульдема в семье Черемисиных, носят порой сентиментальный характер, переоценить их значение трудно. Ведь именно здесь, в простой русской семье, к тувинскому арату отнеслись как к равному, как к себе подоб-

¹ «История Тувы». Издательство «Наука». М., 1964 г., том I, с. 347.

ному. А растроганный арат, возвратившись домой, в благодарность за оказанное ему гостеприимство называет внучку Аней, именем женщины, спасшей ему жизнь...

Удались автору и образы детей старого Сульдема. Каждый из них интересен по-своему. И молчаливый табунщик Хойлаар-оол, и домовитый Соскар, и странный болтун и лентяй Саванды. Но более всего запоминается Буян, с которым у автора связаны вполне определенные планы. «**Буян изворотлив, как рысь, смел, как медведь, и мстителен, как волк**», — говорит о последнем сыне Сульдема предводитель конокрадов-кайгалов, этих народных мстителей, Когел. Тем более, что Буян раньше других начинает задумываться над жизненной несправедливостью: «**Но почему, размышлял он, живя у одной речушки, так по-разному ведут себя бай Барыка? Чего им не хватает?** Мангыр чайзен хвалится: «**Мы, кыргызы, сильны!**» Дангыр хунду уверяет: «**Ондары всех сильней!**» Калбак чалан твердит: «**Против монгушей никому не устоять!..**» Бедные люди — другие... Почему так почтительны они между собой, так дружны? Почеку не хвалятся друг перед другом!»

Разумеется, как справедливо замечает автор, «**Буяну было еще не-вдомек, какой силой могли бы стать такие люди, как Хаспажик, Банчык и Когел, объединившись они для общей борьбы против феодалов.** И самого Буяна увлекло пока общение с удальцами, лихие набеги на табуны богачей, вольные их разговоры, да и кайгалы мало задумывались, что они в действительности могут сделать для своего народа».

Все это так. Но время, торопившееся навстречу великим событиям, медленно, но упорно будило мысли, будоражило душу тувинских аратов. Не надо сбрасывать со счета и влияние на того же Буяна русских батраков Саши Губанова и Ивана Жуланова, которых сам он называл «настоящими друзьями, заступниками перед хозяином».

Менее искусен К.-Э. Кудажи в обрисовке эксплуататоров, будь то местные или пришлые — русские и китайцы.

Мангыра чайзена критики наделяли всеми отрицательными эпитетами. Жадный, хитрый, жестокий, развратный, завистливый, коварный и т. д. Но все это одного ряда определения, одна краска. Правда, мы можем вспомнить о его уме и чадолюбии, но и они основаны на фундаменте корысти и чиновничьей карьеры. Ведь даже женитьбу сына Мангыр чайзен использует прежде всего для своего продвижения по служебной лестнице.

Мангыр чайзен приходит в роман с уже сформировавшимся характером, и характер этот остается на протяжении всего романа статичным.

В этом отношении более интересен образ Хорека бошки. Всю жизнь завидовавший более знатному Мангыру чайзену, Хорек бошка наконец добивается своей цели. Прислав победу в Кобдинском бою своему таланту военачальника, он получил звание чайзена. «**У Мангыра чайзена голова шла кругом. В долине Барыка одним с ним воздухом той же реки стал дышать Хорек чайзен. В одной конуре двум собакам не жить — раздерутся.**» И подтверждения этих слов долго ждать не пришлось: праздник весеннего освящения Бай-Дага, горы-покровительницы барыкских кыргызов, закончился дракой и перебранкой чайзенов

Мангыра и Хорека. Последний сбросил личину угодливого исполнителя воли более знатного Мангыра чайзена. Отныне он такой же обладатель шапки с синим шариком. Только более изворотливый, более наглый, более жестокий.

Характер Семена Лукича Домогацких — не оригинальное изобретение писателя. Вышедший из низов ловкий и велеречивый хищник — традиционная фигура русской литературы.

Справедливы упреки критиков по поводу неоправданно схематичного изображения К.-Э. Кудажи манчжуро-китайских купцов. А ведь именно «разбойничья деятельность китайского торгового капитала окончательно подорвала и без того слабую экономику Тувы»,¹ породила массовое нищенство, привела, наконец, к исгнанию китайских торговцев из многих районов страны.

Разгром факторий ненавистных эксплуататоров показан писателем довольно наглядно и красочно, но вот конкретных носителей зла из шайки иноземных поработителей в романе К.-Э. Кудажи нет. Он больше рассказывает о них, и тогда страницы романа начинают напоминать репортаж.

Как всегда, хороши у К.-Э. Кудажи массовые сцены, исполненные писателем широко и впечатляюще. Сколько в них юмора (вспомним хотя бы шагаа, когда Саванды бросил вызов чайзену; или уже упоминавшийся нами праздник освящения Бай-Дага), восхищения народной отвагой, искреннего любования народными обычаями и традициями...

Не прошел К.-Э. Кудажи и мимо судьбы женщины. Но если трагедия дочери Сульдема Суузунмы подготовлена всем ходом повествования и смерть является логическим завершением безотрадного существования несчастной девушки, то самоубийство Анай-Кара в самый счастливый для нее день — день свадьбы с Буяном — кажется нам более эффектным жестом, нежели горькой необходимостью. Побудительная причина довольно сильна, но ведь и время, когда Мангыру чайзену можно было остаться безнаказанным, уже шло на убыль.

Несколько слов о языке романа. Перевод А. Китайника в целом неплох. Вызывают возражения лишь отдельные, как нам кажется, осовремененные выражения. В одном из донесений Санна мейрена правителью Даа хошуна читаем: «...в долине речки Торгалыг напали на нас около ста аратов во главе с чуждыми нам элементами(!)». Кайгал Хаспажик говорит «Слышал еще, спекулянта Ангыр Луудая убили». Или: «Что же тогда делать нам, гражданиам Танну-Тувы!» — удивленно спросил Хорек башка». Все это, думается, издержки перевода.

А вот обилие пословиц, поговорок, присказок, удачных эпитетов и сравнений,— это от автора. Не имея возможности сказать о многих, приведу лишь одно неожиданное сравнение: «Дым стлся таким плотным облаком,— хоть шубу на него клади». Хорошо!

В Черном томе эпопеи «Улуг-Хем неугомонный» К.-Э. Кудажи удалось убедительно и художественно достоверно показать жизнь, на-

¹ «История Тувы», «Наука», М., 1964 г., т. I, с. 348.

чатую стоном (А. П. Чехов), и постепенное, пока еще неосознанное стихийное пробуждение самосознания тувинского народа, его стремление к свободе, свету. «Дождался и Улуг-Хем своего часа. Пришла пора расправить плечи богатырю, раздвинуть берега, поиграть небывалой силой своей». Слова эти, взятые из лирического обрамления тома, предваряют те события, что ждут нас во втором, Красном томе.

Будем надеяться, что встреча эта будет столь же приятной.

Я далек от мысли, что мне удалось в полной мере раскрыть художественную манеру К.-Э. Кудажи. Ведь творчество писателя не ограничено рамками этих двух повестей и романа. Это лишь небольшая часть того, что написано К.-Э. Кудажи, и потому даже самый подробный разговор о «Возращении», «Анай-кыс», Черном томе «Улуг-Хема неугомонного» не будет полным разговором о всем творчестве писателя.

Лично мне прежде всего импонирует проза К.-Э. Кудажи. Мне интересно проследить эволюцию писателя от «У подножия Саян» до эпопеи «Улуг-Хем неугомонный». Сохранив лучшие качества первых повестей, в последнем романе К.-Э. Кудажи радует раскованностью письма, размахом мысли, смелостью композиции.

Зрелость — это пора и ответственности за то, что сделано тобой, и за то, что предстоит сделать. Будем надеяться, что именно эта ответственность явится залогом нашего свидания с новыми своеобразными произведениями К.-Э. Кудажи.

■ ■ ■

Тамара БАКАНОВИЧ

„ПОЗВОЛЬТЕ ВАМ СКАЗАТЬ...“

Знакомство со сборником стихов А. Емельянова «Упорство» — это не только встреча с новыми стихами. Когда прочтешь эту маленькую книжечку — приходит уверенность, что ты повстречался с интересным человеком, который поделился с тобой горестями и печалями, думами о жизни, радостями мимолетными и вечными, короче, распахнул свою душу — и ты благодарен ему за это доверие и искренность.

Не так уж часто бывает, что за произведением ясно видишь автора, как мы видим В. Шукшина, В. Расputина, В. Лихоносова в любом их произведении. Для этого, наверное, смелость нужна — не прятать душу, а всю ее вложить в судьбы своих героев, разговаривать о них не так как сторонний наблюдатель, а как близкий, родной человек, и горевать, и радоваться вместе с ними, и делить с читателем это горе и эту радость.

Вот это доверие к читателю, желание по-дружески поделиться с ним своими наблюдениями и своим жизненным опытом сразу заметно у А. Емельянова.

Светлый оптимизм пронизывает стихи Емельянова, даже самые грустные из них. Единственно глубокие конфликты у него — это вечные конфликты жизни и смерти, старости и нестареющей души, любви и равнодушия.

Поэтому самыми интересными являются именно те стихи, где разрешаются эти конфликты.

В стихотворении «Ревность» автор рассказывает нам о любви к женщине, ставшей, к сожалению, чужой женой. И так горько ощущать «чужих судеб соединенность и разобщенность близких душ...» И так горько звучит утверждение:

«И все же я один имею право
на ревность.
Я один из всех людей.
Из всех, кто с нею и дома и не дома
встречаются.
И так ревную к ним —
ко всем ее родным,
ко всем знакомым,
что дышат с нею воздухом одним».

И стремление к тому, чтобы душа человека была очищена от суеты, от господства вещей, так хорошо уложилось в эти строки:

«Как здесь много вещей!
Здесь душе никогда не согреться!
Не жилье,
а какой-то забытый вещами манеж.
Я не вижу тебя,
но как больно сжимается сердце:
среди многих вещей ты здесь —
даже не главная вещь».

Композиция стихотворения (намеренно или случайно) — это мозаика из обрывков воспоминаний, фактов, размышлений, и она как нельзя лучше передает душевное состояние героя.

Остается пожалеть об излишнем многословии, или, скорей, о недоруманности выражений в этом стихотворении, ординарности, тем более, что видишь способность автора к созданию таких емких, вбирающих в себя всю силу чувства выражений:

«Она мне больше, чем жена».

Очень сильно сказано, и, пожалуй, впервые именно так сказано. Эта фраза — эмоциональный центр всего стихотворения. Любовь истинная — и любовь-собственность — конфликт жизненный и глубоко правдивый.

Горячо и убедительно звучит стихотворение «Не примирюсь». Поэт не хочет принимать приходящей к нам с годами душевной усталости и равнодушия к злу:

«И сердце не то, чтоб устало
работать, любить, воевать,
но как-то привычнее стало,
как должно, все принимать.
В чем жило еще удивленье
зарей, человеком, звездой,

но пряталось и примиренье
с тупой и пустой суетой.
Не умерло в нем состраданье
и чьей-то беде, и вине,
но втайне мерцало желанье
остаться от них в стороне...»

Тоже один из вечных жизненных конфликтов человечности и инстинкта самосохранения. Для его постановки Емельянов нашел свежий, интересный поэтический прием: сердце существует в стихотворении само по себе, как бы независимо от человека, оно — главный герой стихотворения:

«...Какое врачебное средство
от главной болезни спасет,
когда закрывается сердце
броней от забот и невзгод?
Зачем оно, сердце такое?
От жизни моей в стороне,
ко всякому горю глухое,
всему, что люблю я, чужое,—
скажите, зачем оно мне?»

Этот дважды повторенный вопрос «Зачем оно мне?» да еще обращенный к читателю, «Скажите, зачем оно мне?» как нельзя лучше убеждает в нежелании автора соседствовать с таким равнодушным сердцем. И совсем не пустой декларацией звучит заключительная клятва поэта:

«Клянусь, что с подлостью подлых
не примирюсь,— клянусь!
Клянусь,
что с самим собою
не примирюсь,—
клянусь!»

Интерес к жизни, соприкосновение с ее тайнами и даже боль от любой разъединенности живых существ отчетливо проступает в стихотворении «Свидание».

Совершенно прозаическое явление — вылет непарного шелкопряда — вырастает в поэтическую картину: встреча бабочки с человеком.

«Странно подумать,
но этот пушистый комочек,
искоркой светлой скатившийся с темного неба,
кажется, сердце согрел теплотой непонятной.

Может быть, смутно предчувствуя скорую гибель,
жался ко мне он всем тельцем пушистым и терся,
словно котенок, о волосы и об одежду
и не хотел улетать».

Все, кажется, знакомо здесь с точки зрения оформления: и белый стих, и подобие греческого гекзаметра — и все-таки стихотворение не стандартное. Особенно этот неожиданный поворот к таинственному, когда автор видит глаза бабочки:

«В упор на меня,
холодно и безучастно,
как черные стекла, смотрели
чи-то глаза.
Ничего они не отражали.
Было в них что-то холодное и неземное,
словно с далеких миров,
из внеземного пространства,
село ко мне на плечо существо неземное».

Космическим холодом веет от этих строк, от этих размеренно-равнодушных, бесстрастных интонаций. И печальные раздумья о столь недопотой буйной пляске жизни мотыльков, а в общем-то, и человека, о невозможности общения — все это так верно подмечено, и так знакомо нам.

Идет ли речь о мотыльке, либо о человеке — и в том, и в другом случае автор развивает в читателе способность к сопереживанию, а это то самое качество, без которого невозможен человек.

С этой точки зрения его стихи несут в себе большой эмоциональный заряд, они направлены против тех, у кого в моде холодный интеллект, у кого интерес к собственной личности затмевает интерес к людям, желание узнавать их, соприкасаться душой.

Человеческое общение — самый большой дефицит нашего времени, участие в чужой судьбе, желание быть всегда с людьми — к этому зовет сборник «Упорство». Автор сажает нас в седло, везет на таежные фермы, вводит в чабанские юрты — и везде знакомит с новыми людьми, хорошими и разными. Это и директор совхоза, женщина-волжанка, полюбившая Туву, и шоферы, не боящиеся ни черта, ни бога, и девчонки с междугородной станции — все они интересны автору: не зря он признается:

«Мечтаю, как о лучшем празднике,
о встречах с новыми людьми».

Эти встречи бывают у него и деловыми, и одновременно очень сердечными. Вот он скачет вслед за парторгом колхоза, маленькой Сереной — и в этой скачке сливаются для него и военные воспоминания, и жажда жизни, и живое восприятие женской красоты, движения, радости. Все слилось в этих динамичных строчках:

«Как мы тогда скакали
сквозь мороз и усталость!
Белыми лепестками
мне снежинки казались.
Вот она оглянулась,
вот она улыбнулась,
и задохнулось сердце,
и душа распахнулась,
жаркая кровь по жилам
все ускоряет бег...

И сразу меняется ритм:

«Так вот жил бы да жил я,
и был бы всегда человек
с друзьями в дорожных тужурках
на милой моей земле...
Тоненькая фигурка
покачивалась в седле».

Этот переход к размышлению с еле заметной грустинкой вообще типичен для стихов Емельянова. Большинство его стихотворений представляют собою размышления о смысле жизни, о назначении человека, о молодости и старости, о настоящих людях.

Показательно в этом смысле его стихотворение «Чабан». Человек, продрогший и усталый, находит в чабанской юрте и тепло очага, и тепло человеческой души:

«...каждый входящий,
пусть даже совсем неизвестный,
не встретит хозяев чужой, выжидающий взгляд —
без лишних расспросов посадят на лучшее место
и всем, чем богаты, поделятся и угостят.
Кто знает, когда это стало законом,
привычкой?
Такие законы веками народ создает.
Он их называет «традиция» или «обычай».
Пока они живы, народ, их создавший, живет».

Хороша спокойная, умиротворяющая мелодия этих стихов. Эти торжественно-уважительные обобщения соседствуют с точными бытовыми зарисовками, которые делают обобщения особенно убедительными. Такова сцена с разломанной сигаретой, которую уважительно принял от гостя хозяин, «хоть рядом, на войлоке, пачка «Прибоя» лежала.

И как бы мимоходом, но так весомо — о степной тактичности, которой следует поучиться в чабанской юрте...

В этом стихотворении — один из самых удачных образов сборника — образ молчуна-караганника, символизирующий озябшую человеческую душу. Образ очень яркий.

«...Безмолвный, застывший
и скрюченный весь —
караганник —
ему никуда, никогда, ни к кому
не уйти.
Стоит, содрогаясь от ветра
всем скрюченным телом...»

Полную идеиную и логическую завершенность придает стихотворению вторичное упоминание о караганнике в finale:

«Упорно стоит на ветру,
содрогаясь всем телом,
молчун-караганник
с негаснущим жизни теплом».

Не всегда образы так легко даются автору. И тогда царствует скучная, монотонная описательность, как это мы видим в стихотворениях «Секретарь парткома», «Большевик», «Якутский тракт».

Слабыми в художественном отношении являются и такие стихотворения, как «Чернышевский», «На Бородинском поле». Общеизвестные факты изложены без попытки осмыслить или осветить их по-новому. И совсем уж неприкрытое морализирование, не облечено в образы, без тени искреннего чувства — в стихотворении «Тщеславие».

Не следовало бы повторять и чужих интонаций, как это случилось в стихотворении «Перевал».

Хотелось бы пожелать автору избавиться от многословия, от штампованных оборотов и явных небрежностей в языке. Досадны такие пропуски:

«...весь лошадиный род
рыдал как будто» (звучит пародийно).

«...и черный пласт на солнце светит
бесценным слитком золотым».

Автор, очевидно, имел в виду «золотой слиток», как драгоценный, но восприятие читателя настроено именно на цвет, а поскольку золото желтого цвета, черный пласт неожиданно оказывается желтым.

«А на душе тепла и света —
как будто заново живешь».

Эти строки спасет только правильная интонация, для зрительного восприятия возникает непонятная «душа тепла и света».

«Хоть седина не только
бьет в висок...»

Воспринимается буквально, а не в переносном смысле.

«А поле жатвы,
словно боя поле...»

Мы привыкли говорить «поле боя», эту строчку вслух вполне можно прочесть по аналогии «боле поя».

«Комсогр-девчонка веки насмолит,
на голове сто копен нагорожено».

Понятно, что это гипербола, но самая богатая фантазия не поможет вообразить на одной голове сто копен, тем более, что таких усаженных шишками причесок просто не бывает.

Хотелось бы пожелать автору более строгого отбора языкового материала, более чистой техники стиха и самостоятельных образных и ритмических решений, как это мы наблюдаем в его лучших стихах.

Пусть ему не изменяет свежесть чувств, живая непосредственность и интерес к хорошим людям.

Непримиримость и упорство — это, очевидно, не только заглавия его стихов, но и качества души, порукой тому послужат его собственные строки:

«Клянусь,
что с самим собою
не примирюсь,—
клянусь!»



Чиргал СЕРЕН-ООЛ

ОРИГИНАЛ И ПЕРЕВОД

Теория и практика переводов разноязычных произведений, несмотря на достигнутые успехи, остается сложной и актуальной проблемой.

Значение художественных переводов общеизвестно. Они служат взаимообогащению культур, развитию языков младописьменных народов и в целом — дальнейшему расцвету советской многонациональной литературы. Многообразный взаимный обмен братских народов художественными ценностями, в частности, посредством переводов, отражает торжество ленинской национальной политики. Особо важная роль в переводческой практике принадлежит русскому языку — языку международного общения. Вспомним А. М. Горького, страстного поборника того, «чтобы все лучшие книги, выходящие на языках народов СССР, переводились на русский, становились достоянием всесоюзного читателя».

Из широкого круга вопросов остановимся только на тех, которые, на наш взгляд, имеют самое непосредственное отношение к русско-тувинским художественным переводам.

Начнем с требований к переводам и переводчикам. Хорошо об этом сказал известный поэт Павел Антокольский (смотри «Литературную газету» за 11 августа 1976 года): «Чтобы создать произведение, равное по художественной ценности оригиналу, нужно... знать язык подлинника. Кроме того, необходимо знать и историческую эпоху, те события, о которых повествует переводимое произведение, а главное — надо понимать душу и суть самого автора». Вдумаемся в последние многозначительные, емкие слова — **понимать душу и суть самого автора!** За ними встает и мировоззрение писателя, и его художественное видение описываемых событий, и особенности его почерка, образно-языковой палитры и глубина творческого замысла, и, наконец, те чувства, которым была наполнена душа художника, когда он творил, и те, которые запечатлелись в рожденной книге...

Как видим, переводчику для того, чтобы воссоздать адекватный эквивалент, верно передающий читателю дух, смысл, самобытность, интонацию — все идеально-художественное существо иноязычного оригинала, — надо быть тоже творцом, тоже художником. Надо знать в совершенстве язык оригинала и язык перевода, конкретную среду, из которой вышел писатель и его герой, знать старые и новые обычаи, традиции, а стало быть, историю и литературу того народа, с языка которого осуществляется перевод.

Творческая лаборатория переводчика неполноценна без участия в ней автора оригинала. Правы те, кто ратует за их творческое содружество, за их взаимную высокую требовательность и ответственность, за идентичность (творческую тождественность) перевода оригиналу. «Переводчик,— по П. Антокольскому,— друг автора и в некотором роде соавтор». Взаимные тесные контакты, совместная работа содействуют росту их мастерства. Если переводчик не владеет языком оригинала, то неизменным требованиям является создание подстрочника самим авто-

ром. Никто другой не выполнит эту работу лучше его, а хороший подстрочник — необходимое условие, можно сказать, — залог успеха переводческой работы.

К сожалению, серых, посредственных переводов произведений всех литературных жанров еще немало, а ведь, как сказал Г. М. Марков. «низкое качество перевода нетерпимо, как нетерпим вообще брак в литературе». И не случайно VI съезд писателей СССР, обсудивший доклад М. Бажана «Процессы взаимообогащения литературу советских народов и проблемы художественного перевода», поручил Союзу писателей разработать и осуществить мероприятия по дальнейшему улучшению переводческой деятельности, подготовки кадров переводчиков, а также по развитию теории перевода. Большой размах и особо важное значение переводческой работы обязывает и наш Союз писателей Тувинской АССР, местных литературоведов и критиков внести свой вклад в решение этой актуальной проблемы. У нас еще редко появляются рецензии и обзоры переводов, не проводятся семинары переводчиков с участием авторов оригинальных произведений. По сути дела, еще нет обобщений накопленного положительного опыта художественных переводов — неотъемлемой составной части литературного процесса.

Не претендуя на воссоздание поучительной истории развития в Туве переводческого дела, хочется лишь напомнить, что у его истоков стояли зacinатели тувинской литературы С. Б. Пюрбю, С. А. Сарыг-оол, С. К. Тока, О. К. Саган-оол, Б. Д. Ховенмей. Вслед за ними в переводах включились писатели новых поколений. Их труд позволил тувинцам познать творения классиков русской и мировой литературы, лучшие произведения писателей народов нашей Родины. Переводы с русского языка на тувинский явились своего рода магистральным источником привнесения опыта более развитых литератур социалистического реализма, духовного обогащения тувинских писателей и читателей.

Отрадным является и тот знаменательный факт, что лучшие произведения тувинских писателей при братской помощи литераторов русской и других национальностей все чаще издаются массовым тиражом на языке межнационального общения, на языках советских и отчасти зарубежных народов. Своими лучшими образцами литература нашего народа знакомит всесоюзного читателя с тувинской проблематикой, с жизнью и борьбой тувинцев за коммунистические идеалы, вносит свой возрастающий вклад в развитие советской литературы.

В качестве одного из примеров, на котором можно проследить практику перевода крупных полотен, учесть ее успехи и творческие про-счеты, рассмотрим осуществленный А. Китайником перевод первого тома романа Кызыл-Эника Кудажи «Улуг-Хем неугомонный». Тувинский читатель с большим интересом и удовлетворением уже ознакомился с первыми двумя томами этого многопланового произведения. С интересом и вниманием встретили читатели и Черный том на русском языке. Об этом, в частности, говорит рецензия В. Локонова «Жизнь, начатая столом» («Тувинская правда»).

Как читатель, имевший возможность ознакомиться с оригиналом и переводом, сопоставить их, я могу высказать некоторые свои соображе-

ния. Вначале хочу дать общую оценку — перевод осуществлен в целом квалифицированно, творчески. В нем, при отсутствии дословности, буквализма, сохранены общий дух, содержание романа, замысел и творческая индивидуализация писателя. Именно поэтому при чтении произведения на русском языке зримо ощущаешь и верно выписанные картины народной жизни, и накал классовой борьбы в предреволюционной Туве, и богатство души, цельность характера героев, олицетворяющих собой закрепощенный, но свободолюбивый, непокоренный народ.

О творческом характере перевода говорит ряд правильно сделанных А. Китайником и самим автором отступлений от оригинала. Так, на наш взгляд, оправдана некоторая перестройка композиции романа. В переводе появились три новые главы (XV, XIX и XXIV), которые придали композиции романа большую стройность, органично вписались в художественную ткань произведения и помогли логически завершить сюжетную линию Суузунма — Ай Му. В оригинале не было завершенности образов этих персонажей и психологической мотивированности их сближения, взаимной любви. Там читателю только сообщалось, что дочь Сульдема Суузунма пошла батрачить к китайским купцам, а потом вернулась, будучи уже беременной — и все...

Этот пример убедительно показывает, насколько плодотворно творческое содружество автора и переводчика. Вместе с тем и в переводе возражение вызывает встреча Ай Му с семьей Сульдемов. Она неоправданно сурова и даже жестока, резко диссонирует с традиционным принципом гостеприимства. Хотелось бы, чтобы этот эпизод, несущий немаловажную психологическую нагрузку, был пересмотрен автором в плане выражения добросердечности простых людей феодальной Тузы в отношениях к иноплеменному, но тоже угнетенному и по натуре добруму человеку. Видимо, и переводчик не обратил внимания автора на этот нежелательный аспект визита Ай Му в аал Сульдема.

Далее отметим, что в переводе правомерно отпали излишне детальные описания мелких событий, сложные и трудно воспринимаемые фразы, многочисленные топонимы. Только в отдельных случаях можно сожалеть о сделанных сокращениях. Так, в начале главы (с. 62) опущены названия местечек, стойбищ (Сырые и Сухие Чээнеки, Буура, Берт-Даг и др.), которые придавали описанию конкретность, достоверность, и могли интересовать читателей, знающих этот район.

В оригинале читаем (с. 148), что Мангыр чайзен, отправив своих охотников и кайгалов в разные стороны, не сидел в аале, как раньше. Он совершил поездки в Шагонар, Чая-Холь, Чадан... В переводе же осталось только последнее предложение, так как об остальном говорилось ранее. На с. 232 переводчик резонно снял из беседы Когела с неумеющей считать девочкой место, где она на пальцах якобы показывает число «семнадцать», во что читателю трудно поверить.

В переводе сделаны и другие обоснованные сокращения; большинство из них отмечено оттоцием. Например, лаконичнее, более сжато описано расставание Сульдема с Черемисиными.

Приведем примеры, когда переводчик верно уточняет смысл отдельных фраз, приводит его в соответствие с контекстом: Сульдем, ранив

зверя, идет по тонкому, как нить следу крови, который отчетливо виден на снегу. За уступом он встречает Мангыра чайзена и его свиту, окруживших косулю. В диалоге с чайзеном (с. 12) Сульдем пытается доказать, что зверь пал от его пули: «Кровь этого зверя лилась всю дорогу. Тут она перестала бежать...» Все ясно — кровавый след косули от места, где его настигла пуля Сульдема, до падения (тут!) неопровержимо свидетельствует о правоте Сульдема. В оригинале иначе: «Кровь лилась до переваливания этой горки. Потом она, оказывается, перестала литься...» Как видим, во втором случае нет определенности места, где прекратился след крови, а это существенно.

На с. 309 перевода читаем: «Соскар по примеру своего Севээн-Оруса, тоже на огород переключился. И Хурбе, опять поселившийся рядом, с ним заодно». В оригинале иначе: «Аал Кежикмы тоже посеял хлеб, засадил огород с помощью Хурбе. Соскар посеял хлеб, засадил огород возле дома». Сопоставление приведенных текстов, думается, позволяет высказать суждение: переводчик более удачно передает замысел автора показать, что Соскар перенимает опыт огородничества у русского богатея и что начинание Соскара поддерживает Хурбе.

Теперь остановимся на примерах, подтверждающих неоправданные отступления перевода от духа и смысла оригинала. Вот как рисует наступление зимы Кызыл-Эник Кудажи: «Перед приближением зимних морозов Танну-Ола накрылась ослепительной белизны снегом, словно скатанным из шерсти белых ягнят войлочным одеялом». В переводе это место звучит иначе (с. 160): «Морозная зима накрыла вершины Танну-Ола снежно-белым покрывалом». Налицо утрата удачного образа и ослабление метафоричности.

Аналогичное встречаем и в ряде других мест. Так, на с. 18 говорит-ся, что молодые табунщики, как метелки гречихи, вымахали за лето. Сравнение неудачно уже тем, что старая Тува не знала гречихи. Думается, что авторский текст предпочтительнее («словно вылупившиеся мальки»).

В переводе имеются, к сожалению, и места смысловых искажений авторского текста. На с. 25 описывается похищение Сульдемом барана у Мангыра чайзена: «Он решился на все. Не из-за мести несправедливому правителю. Ради семьи, ради детей». В действительности же Сульдем совершает именно акт мести. Об этом ясно свидетельствует текст на предыдущей, 24 странице перевода: «Какой бессовестный человек Мангыр чайзен. Скота у него — в аале не вмещается... И все-таки забрал косулю, которую добыл бедный охотник». И ниже: «...На зло отвечу злом». Явное противоречие.

Двусмысленно звучит в контексте (с. 26) и введенная переводчиком фраза: «Дело обычное: был баран — стало мясо». Свежевать барана — дело, конечно, для арата привычное, но есть опасение, что читатель может подумать — уводить чужих баранов для Сульдема тоже привычно! На самом же деле, он совершил это впервые. Следует упомянуть и о просчете автора: не мотивизировано в этом эпизоде поведение Кежикмы, не сказавшей ни слова, когда ее муж вернулся домой с бараном.

Имеются и другие неточности, искажения смысла авторского текста

(сопоставьте с оригиналом с. 12, 41, 64 и др.). Непонятно, почему имя «Херик бошка» в переводе приобрело форму «Хорек бошка».

Не будь всех упомянутых выше огрешов, роман в переводе был бы еще достовернее и художественнее. В целом же, как говорилось, мы положительно оцениваем труд автора и переводчика. Опыт перевода романа «Улуг-Хем неугомонный» с его сильными сторонами и недостатками должен быть взят на творческий учет и литературоведами, и переводчиками, и, разумеется, творцами оригинальных произведений. Все-мерное сближение и повышение идеально-художественных достоинств, эстетической ценности оригинала и перевода, усиление их роли в дальнейшем совершенствовании мастерства художников слова — непреходящая задача, от решения которой во многом зависит дальнейший расцвет тувинской литературы и ее вклад в литературу общесоветскую.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

В. Ш. КОК-ООЛУ — 70 ЛЕТ



Первого марта 1906 года в степном Овюре родился Кок-оол, сын арата Шогжапа. Полуголодное детство прошло в скитаниях вместе с матерью-шаманкой, от которой он унаследовал незаурядную одаренность актера и фантазию, так необходимую писателю. Новая жизнь родной Тувы властно позвала юношу к себе. В начале 20-х годов он стал солдатом Народно-революционной армии ТНР, в армейской самодеятельности впервые выступил как актер и драматург-импровизатор. В 1928 году Кок-оол едет в Москву, поступает учиться в Коммунистический университет трудящихся Востока. Его актерское дарование замечено и здесь, и он переходит в ГИТИС.

Вся последующая жизнь его связана с тувинским театром.

Заслуженный артист РСФСР и народный артист Тувинской АССР, он сыграл в театре и кино более 50 ролей. С 1934 года начал писать пьесы. С тех пор, за четыре с лишним десятилетия, созданы одноактные пьесы: «Не забывайте о джуте», «Добрый день», «Чалым-Хаяя», многоактные драмы: «Хайыран-бот» и «Самбажык», вошедшие в сокровищницу тувинской национальной драматургии, а также комедия «Ах, красавица!», пьеса-сказка для детей «Алдын-Чечек» и в соавторстве с С. Б. Пюрбю — историко-революционная драма «Дружба».

В 1966 году издана на тувинском языке книга пьес В. Ш. Кок-оола «Самбажык», в 1976 году — «Избранные произведения».

Член Союза писателей СССР В. Ш. Кок-оол остается ведущим тувинским драматургом, помогает своим молодым со-братьям по искусству.

М. И. ПАХОМОВУ — 70 лет

5 декабря 1906 года на Алтае, в крестьянской семье, родился Михаил Пахомов. Вскоре его родители в поисках лучшей доли и



свободной земли переселились в Туву. Здесь, в Подхребте, как назывался тогда нынешний Тандинский район, отец Михаила Иван Пахомов, стал одним из сподвижников Сергея Кузьмича Кочетова, красным партизаном, и погиб в Тарлакшинском бою, отстаивая новую жизнь для тувинских аратов и русских поселенцев края.

Михаил был чоновцем, ревсомольским и комсомольским воожаком работников потребительской кооперации, возглавлял сельскую партийную ячейку. Окончил Высшую партийную школу в Москве. Стал профессиональным партийным работником — секретарем сельского райкома, затем — ответственным работником Тувинского обкома КПСС. С 1945 года Михаил Иванович начал пробовать силы в литературном труде. В 1960 году выходит его первая повесть «В предгорьях Танды», впоследствии переведенная на тувинский язык, затем — повесть «На распутье» (1966 год), первая книга повествования «Утро древнего края» (1972 год). Сейчас автор работает

над новым произведением, посвященным, как и все предыдущие, истории становления новой жизни в Туве, дружбе тувинского и русского народов.

Н. А. СЕРДОБОВУ — 60 ЛЕТ

9 мая 1916 года в городе Самаре, в рабочей семье, родился Николай Сердобов. С юных лет решил он стать учителем, но едва успел окончить в Москве педагогический институт, как грянула война. Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов Николай Алексеевич награжден орденами и медалями:

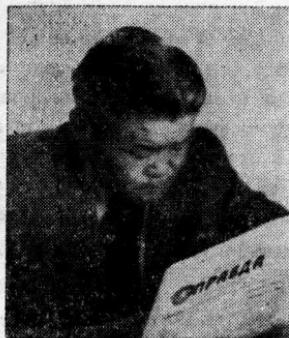


С 1946 года Николай Алексеевич Сердобов живет и работает в Советской Туве. Здесь он получил звание заслуженного учителя школы РСФСР, здесь защитил кандидатскую диссертацию, стал доктором исторических наук, на протяжении многих лет работая в Тувинском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории.

Здесь началась и литературная деятельность Н. А. Сердобова.

Первая скромная книжка «Добро и зло», вышедшая в Тувинском книжном издательстве в конце 50-х годов, включала в себя маленькую повесть, рассказы и очерки. Затем — два романа: «Цена жизни» — о Великой Отечественной войне — в 1962 году и «За хребтами Саянскими» — о молодых строителях комбината «Туваасбест» — в 1966 году. В настоящее время Николай Алексеевич работает над новым романом о Великой Отечественной войне.

С. К. САМБА-ЛЮНДУПУ — 60 ЛЕТ



31 декабря 1916 года в м. Коп-Соок (ныне — Бай-Тайгинский район) в семье бедного арата родился сын. Двенадцатилетним мальчиком его увез с собой в Москву приехавший в ТНР учный-этнограф из Советского Союза Маслов. Учил и воспитывал, как родного сына. Салчак Самба-Лундуп стал одним из первых тувинцев, получивших гуманитарное образование, рано проявил себя как поэт и публицист. Одним из первых стал он и членом Союза писателей в молодой республике.

Читатели Тувы знают С. К. Самба-Лундупа как старейшего журналиста и писателя, неутомимого работника газеты «Шын».

О. О. СУВАКПИТУ — 50 ЛЕТ

9 мая 1926 года в многодетной семье арата Саая Одербея родился седьмой сын — Сувакпит. Учеником Чаданской школы в 1942 году он впервые встретил «живых поэтов» — Степана Щипачева и Сергея Пюрбю. Эта встреча сыграла решающую роль в судьбе юноши. Когда через несколько лет в Туву приехал еще один советский поэт — Семен Гудзенко, — он уже переводил горячие стихи молодого Олега Сувакпита:

«Араты мы,
но прикажи Отчизна —
солдаты мы
под стягом коммунизма».



Олег Одербеевич окончил в Москве Центральную комсомольскую школу, затем, уже будучи членом Союза писателей СССР, — Высшие литературные курсы.

Много работал как журналист. Выпустил книги стихов и рассказов: «Песни радости», «Маленьким друзьям», «Дружба», «Встречи и происшествия», «Материнское сердце», «Старик-пешеход». Известен как детский писатель и переводчик. С 1971 года является председателем правления Союза писателей Тувинской АССР.

Ю. Ш. КЮНЗЕГЕШУ — 50 ЛЕТ

17 ноября 1927 года в высоко-горной Тодже родился сын арата-охотника Кюнзегеш. Семнадцатилетним юношей он впервые представил на суд старших товарищей свои поэтические опыты. Начиная с 1952 года, издано 9 сборников его стихов: «Степные мотивы», «Стихотворения» (1954 год, издательство «Советский писатель», на русском языке), «Знамя дружбы», «Песни младшего брата», «Цвета времен», «Сердце Саян» (на русском языке), «Чтобы поделиться радостью», «Орел, труд, любовь», «Встречай солнце», «Меч Багыра» (на русском языке).

Юрий Шайдакович Кюнзегеш обогатил тувинскую поэзию и



переводами на родной язык ряда произведений русской, советской и мировой классики. Многие стихи Пушкина, Некрасова, Байрона, поэмы Лермонтова «Демон», «Владимир Ильич Ленин» Маяковского, драма Шиллера «Коварство и любовь» стали известны тувинскому читателю и зрителю в его переводе.

Ю. Ш. Кюнзегеш окончил училищный институт в Абакане и Высшие литературные курсы в Москве. Член Союза писателей СССР. В течение многих лет он трудится на посту главного редактора Тувинского книжного издательства.

* * *

Правление Союза писателей Тувинской АССР сердечно поздравляет товарищей по перу и желает всем юбилярам доброго здоровья, большого счастья, новых творческих свершений на благо многонациональной советской литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ НАВСТРЕЧУ

Олег Сувакпит. Славлю. <i>Перевод С. Козловой</i>	3
Степан Сарыг-оол. Завет. <i>Перевод С. Козловой</i>	4
Виктор Сагаан-оол. Дорога. <i>Перевод С. Козловой</i>	5
Владимир Серен-оол. Есть такая партия! <i>Перевод С. Козловой</i>	6
Валерий Тутатчиков. Солдаты революции	7
Зоя Намзырай. Родной земле. <i>Перевод С. Козловой</i>	8
Александр Русский. Начало. <i>Повесть</i>	9
Анатолий Емельянов. Красные и белые. <i>Из повести в стихах</i>	49
Юрий Вотиков. Юность века. Из поэмы	60

ПРОЗА

Кызыл-Энчик Кудажи. Улуг-Хем неугомонный. Из первой книги <i>Красного тома</i> . <i>Перевод Ю. Щербака</i>	66
Олег Сувакпит. Бессмертие. <i>Рассказ. Перевод Ю. Щербака</i>	74
Николай Сердобов. Войной опаленные. Главы из романа.	84
Мариса Кепин-Лопсап. Книга жизни. Были мудрого охотника Бора-Хоо.	107
Вячеслав Бузыкаев. Хлебопашец Еремей. <i>Из повести «Владыки Улуг-Дага»</i> .	117

ПОЭЗИЯ

Степан Сарыг-оол. Времена года. <i>Перевод С. Козловой</i>	134
Многоцветье. <i>Перевод С. Козловой</i>	135
Благодаря матери. <i>Перевод С. Козловой</i>	136
Карама. <i>Перевод С. Козловой</i>	137
Молодение осени. <i>Перевод С. Козловой</i>	138
Сергей Пюробю. Читательница. <i>Перевод С. Козловой</i>	138
Юрий Кюнзегеш. Порог и мы. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	139
Чилийские мотивы. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	140
Олег Сувакпит. Дочь земли. <i>Перевод С. Козловой</i>	143
Салим Сюрюн-оол. Влюбленный в землю. <i>Перевод С. Козловой</i>	145
День рождения. <i>Перевод С. Козловой</i>	146
Кызыл-Энчик Кудажи. Гимн деревьям. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	146
Светлана Козлова. Дорожные разговоры.	151
Роль.	152
Памяти Алесхи Ондара.	153
Тетя Таня.	154
Радио	155
Монгуш Доржу. Родная долина. <i>Перевод В. Потемкиной</i>	157
Вспоминая дорогое имя. <i>Перевод В. Потемкиной</i>	158
Огненный цветок. Лирическая поэма. <i>Перевод В. Потемкиной</i>	158
Александр Даржай. Тропинка в мир. Поэма. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	162
Ондар Охемчик. Я — каменщик. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	174
В Карагаше. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	175
Есть город. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	175
Владимир Серен-оол. Монолог солнца. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	176
Цветок. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	177
Восьмистишия. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	178
Куулар Черлик-оол. Мой конь. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	180
Жду вас, доктор. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	181

ГОЛОСА ДРУЗЕЙ

Максим Геттуев. Солнце. <i>Перевод Я. Серпина</i>	183
Олаф Гутманис. Стихи о Туве. <i>Перевод С. Козловой</i>	184
Юрий Щербак. У памятника Щетинкину в Минусинске.	186
Рисунки на камнях.	186
«Конь носился в степи черной тучей...»	186

СЛОВО — МОЛОДЫМ

Галина Принцева. «Хор греческой трагедии гремит...»	187
Зоя Донгак. Сонет. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	188
Мария Хайдып. Старый снег. <i>Перевод С. Козловой</i>	188
Галина Мунзук. Река моя Карагы. <i>Перевод С. Козловой</i>	189
Владимир Колпаков. Тропою Дерсу	189
Артык Ховалыг. Листок. <i>Перевод Ю. Щербака</i>	191
«Судьба, прошу...». <i>Перевод Ю. Щербака</i>	192
Виктор Прусаков. Снег в Эрзине.	192
Эмма Цаллагова. Прометей.	193
Весна на Тополиной улице.	194
«Поэзии могучие истоки...»	195

ОЧЕРКИ

Варвара Межова. Серебряные слитки.	196
Степан Сухорослов. Дорога на Уш-Белдир. <i>Литературная обработка В. Межовой</i>	199
Мария Хадаханэ. Волшебник цирка.	209

РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ

Олег Гаврилов. Лесной дневник.	217
--	-----

КРИТИКА

Валерий Локонов. Возмужание таланта.	236
Тамара Баканович. «Позвольте вам сказать...»	244
Чиргал Серен-оол. Оригинал и перевод.	250
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ	255

УЛУГ-ХЕМ № 16

литературно-художественный альманах

Редакторы *Туцицына Т. Е., Бородина А. Д.* Художник *Кузнецов И. Я.*
Художественный редактор *Донгак В. У.* Технический редактор
Чернова А. А. Корректор *Конева Г. В.*

Сдано в набор 17/I 1977 г. Подписано к печати 18/IV 1977 г. Формат
60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 16,25. Уч.-изд. л. 16,4. Цена
1 руб. 23 коп. Тираж 2000 экз. Заказ № 261. ТС 00128. ТП 1977 г. Ту-
винское книжное издательство, г. Кызыл, Щетинкина и Кравченко, 57.
Типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли Совета Министров Тувинской АССР, г. Кызыл, Щетинкина и
Кравченко, 1.

1р. 23 коп.